„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“

ежемесячный философский и общественно-экономический журнал

Журнал выходит под редакцией: А. М. Деборина, А. А. Максимова, М. Н. Покровского, Я. Э. Стэна, А. К. Тимирязева, А. Я. Троицкого. Отв. редактор А. М. Деборин.

В журнале принимают участие:

[illegible] и др.

Адрес редакции: Москва, Тверская, 48. Тел. 4-84-21.

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

Не принятые рукописи не возвращаются.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 1

ЯНВАРЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА—1928

LIBRARY

171919

авлит № А—8080 Тираж 4.000

Тип. газеты „Правда". Москва, Тверская, 48.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

А. Деборин.—Ревизионизм под маской ортодоксии (продолжение) 5

В. Егоршин.—Диалектика у Ленина и народники 45

Ю. Стеклов.—Был ли Чернышевский утопистом? 72

Я. Берзтыс.—Очерки по теории советского хозяйства. Диалектика развития производительных сил 94

В. Позняков.—О законе ценности, хлебе и методологии 131

М. Лахтин.—Новые пути в психопатологии 153

Н. Гредескул.—Быть ли естествознанию механическим или стать диалектическим? . 173

Коренные вопросы диалектического материализма (отчет о диспуте в театре им. Мейерхольда; речи т.т. Карева, Дмитриева, Левита и Подволоцкого) 207

Критика и библиография.

Ф. Капелюш.—Kurt, Zimmermann. Das Krisenproblem in der neueren national-ökonomischen Theorie, 1927 227

З. Атлас.—„Die Kreditwirtschaft". Erster Teil. Vorträge von Fritz Beckmann, Karl Diehl, Bruno Kuske, Alfred Müller, Ioseph, Schumpeter 223

В. Позняков.—О законе убывающей доходности. Сб. статей английских, американских и немецких авторов 240

С. Гурвич.—И. Лапидус и К. Островитянов.—Политическая экономия в связи с теорией советского хозяйства. Ф. И. Михалевский.—Политическая экономия. Э. Я. Брегель и Р. М. Кабо.—Основы политической экономии 243

А. Р.—Н. Ванаг и С. Томсинский. Экономическое развитие России. Изд. 3-е, переработанное 250

Ревизионизм под маской ортодоксии.

(Продолжение [1]*).*

А. Деборин.

9. Марксизм и этика.

1.

В своих известных «Тезисах» о Фейербахе Маркс говорит, что в противоположность созерцательному материализму, сумевшему подняться лишь до созерцания отдельного человека в гражданском обществе, новый материализм становится на точку зрения человеческого общества, или человечества, живущего общественной жизнью [2]). Сущность человека — это не абстракт, свойственный отдельному лицу, и не «родовая» общность, а «совокупность всех общественных отношений».

Стало быть, переворот, совершенный Марксом в общественной науке, сводится прежде всего к тому, что при изучении общественных явлений следует исходить не из абстрактного, изолированного индивида и не из «родовой общности», устанавливающей лишь естественную связь между многими индивидами, а из обобществленного человечества, из человеческого общества, из человечества, живущего общественной жизнью.

Общество становится, таким образом, центральным понятием и об'ектом, в котором раскрываются все тайны человеческой жизни и деятельности. Но общество не представляет собою некую метафизическую и неизменную сущность. Маркс подходит к обществу с исторической точки зрения и рассматривает его в свете исторического развития. Каждая данная форма общества есть лишь преходящая общественная форма, которая сменяется новой общественной формой. Так как сущность человека и человеческой истории раскрывается в процессе развития общества, то эволюция общества составляет существенное содержание истории и человеческой жизни вообще. Общественное развитие определяется данной формой общественного процесса производства. Человеческий труд со-

---

[1]) См. «П. З. М.» №№ 9 и 12 за 1927 год.

[2]) См. тезисы Маркса о Фейербахе (Приложение к «Людвигу Фейербаху» Ф. Энгельса).

здает все содержание общественной жизни. Поэтому для Маркса и Энгельса нравственность, как и все идеологические формы являются продуктами общественной деятельности людей и определяются, в конечном счете, развитием производительных сил.

В то время как кантовский идеализм видит в нравственности нечто абсолютно самостоятельное, марксизм рассматривает нравственные явления как вторичные и зависимые от общественных отношений людей, от производственных отношений, от экономической структуры данного общества, формой проявления которой они являются. Нравственные воззрения людей вовсе не составляют нечто единое и однородное. Напротив того, «каждый класс, каждый род занятий имеет свою собственную мораль, которую он притом же нарушает всякий раз, когда это можно сделать безнаказанно», как выражается Энгельс.

Экономическая структура общества или «анатомия гражданского общества» определяет всю «физиономию» данного общественного строя. Поэтому нравственные воззрения людей подвержены процессу изменения в зависимости от изменения экономической структуры общества, не представляя собою ничего абсолютного, вечного и неизменного. Что нравственно для одной исторической эпохи, то может стать безнравственным для другой исторической эпохи. Мало того, различные общественные классы одной и той же эпохи имеют различные нравственные понятия и представления, в зависимости от их положения в обществе. «Те же самые люди,—говорит Маркс,—которые строят социальные отношения соответственно своему способу материального производства, производят также принципы, идеи и категории, соответственно своим общественным отношениям. Таким образом, эти идеи и категории столь же мало вечны, как и выражаемые ими отношения. Они представляют собою исторические и преходящие продукты».

Поскольку речь идет о правовых и нравственных нормах или принципах, то они также являются выражением определенных общественных отношений, играя служебную роль или в смысле освящения уже существующих отношений или же в смысле требования изменения этих отношений. Все правовые и нравственные воззрения господствующего класса данного общества направлены в общем и целом к сохранению и укреплению существующего общественного строя. Нас не должны обманывать громкие слова идеологов господствующего класса; за этими громкими фразами о якобы вечных об'ективных законах справедливости и права, о которых говорится с большим пафосом, скрываются в действительности материальные интересы этого класса. Поэтому, если мы хотим вскрыть подпочву нравственных воззрений, необходимо ответ искать в «реальной сущности» их, как выражается Маркс, т.-е. в отношениях производства, а не в юридическом или этическом их выражении. Юридические и этические формы являются в своем абстрактно-метафизическом выражении лишь

«маской», прикрывающей действительные отношения людей. Они представляются сознанию человека, как самостоятельные сущности, стоящие якобы над этими отношениями, но в действительности они только отражают эти отношения.

Современное буржуазное общество покоится целиком на эксплоатации огромного большинства человечества меньшинством. В основе эксплоатации лежит частная собственность на орудия и средства производства. Не надо быть даже марксистом для того, чтобы понять, что частная собственность составляет сущность религии, права и морали современного общества, что современная религия есть религия частной собственности и т. п. Стало быть, всякое явление, вступающее в противоречие, напр., с этикой частной собственности, господствующими классами отвергается, как безнравственное и несправедливое, как нечто ужасное и безбожное.

Бог буржуазии призван охранять ее собственность, ее интересы и карать «преступников», нарушающих права частной собственности. Бог, как и государство, равно как и «нравственные» законы, одинаково являются «ночными сторожами», охраняющими вход во владения буржуазии.

Необходимо отличать фактическую нравственность и ее «идеализацию», которая систематизирует и идеализирует практическую нравственность, возводит в законы, нормы, принципы то, что есть. Бытовые нравы—это настоящая, действительная, практическая нравственность. Нравы находятся в непосредственной связи и сращенности с отношениями людей в обществе, с данным общественным устройством, с отношениями классов и проч.

Теория же нравственности базируется на бытовых нравах, но возводит их в отвлеченные принципы, которые, в силу этой отвлеченности, кажутся совершенно оторванными от действительной жизни и противостоящими последней в качестве царства долженствования. На самом же деле они формулируют в отвлеченных и общеобязательных «нормах» то, что есть, что вытекает из действительных, реальных отношений людей. Фактическое поведение людей, определяемое их положением в обществе, возводится в отвлеченную норму поведения, якобы действительную для всех времен, народов и классов.

Этика, вообще говоря, есть не что иное, как учение о поведении или жизни людей соответственно идеалам, в которых формулируются определенные требования, вытекающие из общественного положения этих людей. Этика учит идеальному поведению или образу жизни индивидов и классов, определяемому их реальной жизнью. Все моральные системы составляют «идеализацию», т.-е. отвлеченную формулировку действительного поведения людей или образа их жизни в данном обществе на данной ступени их развития. Нет абсолютной противоположности между бытием и долженствованием, как этому учил Кант. Нет абсолютной про-

тивоположности между действительностью и идеалом. Напротив того, между ними существует органическая связь.

Плеханов, говоря об «идеале» Энгельса, пишет: «его идеал—это была та же действительность, но действительность завтрашнего дня, действительность, которая будет иметь место не потому, что Энгельс идеален, а потому, что свойства нынешней действительности таковы, что из нее, по ее собственным внутренним законам, должна развиться та действительность завтрашнего дня, которую можно назвать идеалом Энгельса».

Конечно, никому не возбраняется иметь и идеалы фантастические, не вытекающие из развития самой действительности, но, во-первых, такие идеалы никогда не могут стать действительностью, во-вторых, они не могут стать идеалами общественных классов, а остаются достоянием отдельных лиц. Впрочем, даже и фантастические идеалы строятся из элементов, взятых из реальной действительности. Но это между прочим.

Итак, с марксистской точки зрения идеал есть та же действительность, но в ее более развитом, развернутом виде, это—действительность завтрашнего дня, как говорит Плеханов, действительность на более высокой ступени ее развития. То, что должно быть, это—то, что есть, но еще не в полном, развитом виде. Бывают, разумеется, и идеалы реакционные. Реакционный идеал—это действительность вчерашнего дня. Если мы не фантазеры и не строим отвлеченных, метафизических идеалов в недрах «чистого разума», то очевидно, что только изучение об'ективной действительности, законов ее развития дает нам возможность формулировать наши «идеалы» и действовать в направлении их осуществления. Но тогда для нас становится ясным, что мир не распадается на два царства: царство бытия и долженствования, а составляет единое целое.

Становясь на точку зрения Канта, Аксельрод противопоставляет причинному об'яснению исторических и общественных явлений нравственную оценку, т.-е. категорию долженствования. Не говоря уже о том, что наш «марксист» ни единым словом не попытался конкретизировать понятие «нравственной оценки» (впрочем, это с ее точки зрения абсолютно и невозможно, потому что она стоит на почве чистейшего формализма), самое противопоставление категории нравственных оценок причинному об'яснению с методологической стороны должно быть признано в корне несостоятельным. Этот «подход» свидетельствует о чисто метафизическом и идеалистическом характере мышления нашего «марксиста». Ведь «должное» может быть только следствием познания необходимого. «Нравственное сознание массы, об'являющее несправедливым тот или другой экономический факт, как это было когда-то с рабством или с крепостным трудом,—говорит Энгельс,—доказывает, что данный факт уже отжил свое время, что появились новые экономические факты, в силу которых он становится невыносимым и должен рушиться».

Стало быть, нравственное сознание не противостоит действительности, как нечто потустороннее: нравственное сознание составляет часть самой действительности, являясь лишь выражением противоречивого процесса отмирания старого и нарождения нового. В недрах определенного общественного строя постоянно борются между собою новые тенденции со старым укладом. Столкновение между ними, борьба нового со старым, действительности завтрашнего дня с действительностью нынешнего дня порождает кажущийся конфликт между бытием и долженствованием. В действительности же нравственное сознание пролетариата, например, есть не что иное, как определенная идеологическая форма отрицания одних отживших экономических фактов и признания новых нарождающихся фактов, как говорит Энгельс. Таким образом, социально-экономический «идеал» «превращается» в нравственный идеал, иначе говоря, нравственность как определенная совокупность желаний и стремлений данного общественного класса является отражением в человеческом сознании социально-экономических противоречий об'ективной действительности.

Подобно всем мещанам, с ужасом вспоминающим, что человек, не верящий в бога, подобен животному и уже в силу одного этого неверия является «нечестивцем», способным на всякие преступления, так и наш несравненный Ортодокс полагает, что кто не признает кантовского категорического императива, тот тем самым существо «безнравственное» и принадлежит к числу дегенератов, придерживающихся принципа «все дозволено», как она выражается. Она не останавливается перед обвинением не признающих кантовского категорического императива в «животном безразличии», в «нравственном нигилизме», в «разнузданном бесшабашном индувидуализме героев Пшибышевского или нашего доморощенного, примитивного Санина».

2.

Отстаивая категорический императив, Аксельрод в то же время утверждает, что борется против него, чем вводит в заблуждение доверчивого читателя. Смешивая различные вопросы воедино, она думает, что если она подчеркивает социальное происхождение категорического императива, настаивая в то же время на его всеобщей значимости и общеобязательности, то тут имеется существенное отличие от Канта. Ничего подобного! По мнению Аксельрод выходит, что отличие кантианства от марксизма в области этики сводится к тому, что по учению Канта категорический императив сверхопытного происхождения, а по учению марксизма категорический императив есть продукт общественной жизни. Во всем же остальном никакой, мол, разницы нет: категорический императив по существу своему отличается всеобщей значимостью, общеобязательностью и об'ективностью. Но как раз суть-то вопроса заключается

не только в вопросе о происхождении категорического императива, но и в его «ценности», как любят выражаться кантианцы.

В статье «Ответ на «Наши разногласия» А. Деборина» Аксельрод снова повторяет, что во всех ее работах дана критика кантианства, именно—критика категорического императива. В чем же выразилась эта критика? В отрицании сверхопытного происхождения категорического императива. Приведем в доказательство правильности нашего утверждения ее собственные слова:

«Вот что говорится в статье об этике Канта,—пишет Аксельрод:—«Кантово учение о нравственности, изложенное, главным образом, в «Критике практического разума», представляет собою в своем целом прямую противоположность этике марксизма...». В чем же состоит эта «прямая противоположность»? «А за этим,—пишет наш автор,—следует разъяснение и критика категорического императива, указывается на то, что завершение кантовского нравственного закона имеет место в потустороннем интеллигибельном мире. А далее я показываю, каким образом, в противоположность кантовской концепции, нравственное долженствование выводится из общественных отношений; другими словами, что нравственный долг вытекает из социального бытия... Кант не видел того, что нет решительно никакой необходимости, ни теоретической, ни практической, предполагать источником нравственного сознания сверхопытный миропорядок» [1]).

Таким образом, прямая «противоположность» между кантианством и марксизмом состоит в том, что для Канта категорический императив имеет своим источником «сверхопытный миропорядок», а марксизм (в лице Аксельрод!), принимая категорический императив, не видит необходимости «в сверхопытном миропорядке». Так просто—а для нашего автора, любящего «тонкости», на самом деле все просто—разрешается нашим Ортодоксом этот вопрос. Разумеется, даже и по вопросу о происхождении категорического императива Аксельрод ничего не доказывает, а только «приказывает», т.-е. декретирует, но такова уже ее манера. По существу же вопроса надо сказать, что Кант гораздо последовательнее Аксельрод, когда он для обоснования категорического императива апеллирует к «сверхчувственному миропорядку». Кто принимает категорический императив, тот должен постулировать и сверхопытный миропорядок. Эту простую истину когда-то понимала и Аксельрод. Так в своих «Философских очерках» она писала: «Категорический императив тесно и неразрывно связан с познавательным априоризмом, совпадает с ним в последней инстанции, сливаясь воедино в мире ноуменов. Как теоретико-познавательный априоризм не в состоянии служить масштабом научного опыта, точно так же и абсолютный нравственный закон, категорический императив, не может быть критерием в этике» [2]).

[1]) «Красная Новь» 1927 г., кн. V, стр. 153

[2]) Аксельрод (Ортодокс), Философские очерки, стр. 115.

Ныне же Аксельрод стоит на почве именно абсолютного нравственного закона, который является, с ее точки зрения, «критерием в этике». Так что спор, как видит теперь читатель, сводится не только к вопросу о сверхопытном происхождении категорического императива. Дело в том, что марксизм отвергает как формализм, так и абсолютизм нравственного закона, иначе говоря: он отвергает категорический императив как таковой.

Характерно, что Аксельрод, отвергая на словах сверхопытное происхождение категорического императива, на деле постоянно скатывается к признанию «трансцендентального» его характера. Чего стоит хотя бы ее след. патетическое заявление:

«Что нравственное сознание свойственно человеческому роду—это факт бесспорный. Несомненно также для всякого, умеющего читать в собственной душе, что нравственный долг идет вразрез с нашими природными стихийными влечениями и что исполнение этого долга сопровождается часто тоном неудовольствия. Ясно и то, что нравственное долженствование носит повелительный характер...» [1]).

Вся эта мелодекламация отличается обилием громких слов и абсолютной убогостью содержания. Какой смысл имеет, напр., утверждение, что «нравственное сознание свойственно человеческому роду»? Разве это утверждение не явно кантианского, т.-е. идеалистического, происхождения? Ведь это утверждение равносильно другому утверждению, что человеческому роду присущи априорные формы познания. Абсолютный нравственный закон, категорический императив свойственен человеческому роду,—вот что утверждает аксельродовская «марксистская» этика. Мы «читаем» этот закон в собственной душе. Если абсолютный нравственный закон свойственен человеческому роду, то он существует в «душе» этого человеческого рода всегда и везде и ни в какой зависимости от конкретных, эмпирических условий действительности не находится. Так Аксельрод сама вынуждена в силу признания ею абсолютного нравственного закона апеллировать к сверхопытному миру.

Мы же, в противоположность Канту и его последовательнице Аксельрод, утверждаем, рискуя быть обвиненными нашим моралистом в безнравственности, дегенератстве, животном безразличии и проч., что человеческому роду нравственное сознание как таковое несвойственно, что нравственность является продуктом определенных общественных условий и изменяется вместе с изменением этих условий. Нравственность не является ни об'ективным свойством природы, ни об'ективным свойством сознания как такового. Кто становится на точку зрения нравственности как об'ективного свойства природы, тот возвращается к телеологическому и, в конечном счете, теологическому пониманию мира. Но не

[1]) См. сб. «Марксизм и этика», стр. 222.

в лучшем положении находится и тот, кто считает нравственность об'ективным свойством родового сознания.

Мы имели уже случай выше подвергнуть критике понятие общеобязательного, которое должно придать нравственному закону абсолютный характер. В этой связи не безынтересно остановиться хотя бы бегло на понятии об'ективного, которое постоянно употребляется некритически нашим философом. Аксельрод постоянно говорит об об'ективных нравственных законах, не давая себе труда выяснить конкретное содержание этого, как и других терминов. Под об'ективным Кантом понимается то, что общезначимо для всех суб'ектов. Аксельрод, говоря об об'ективных нравственных законах, отстаивает вместе с кантианцами ту чисто идеалистическую концепцию, согласно которой нравственный закон присущ всем существам, обладающим сознанием, т.-е. всем суб'ектам. Таким образом, нравственность, абсолютный нравственный закон является об'ективным свойством «трансцендентального» сознания и уж в силу этого и индивидуального сознания.

Поэтому Аксельрод и говорит: нравственное сознание свойственно человеческому роду. Но нравственность не является, как уже сказано, ни свойством природы, ни свойством родового сознания. Нравственность имеет дело с поступками людей, вытекающими из социальных побуждений. Социальные чувства, присущие в той или иной степени животным, ведущим стадную жизнь, на протяжении человеческой истории, преобразуются в социальные побуждения и социальные обязанности, налагаемые соответствующим коллективом на личность.

Человек есть общественное животное. Борьбу за существование он может вести только соединенными силами, т.-е. ордами, обществами, и потому вполне понятно, что, благодаря этой совместной жизни и борьбе, у человека развились социальные побуждения.

Человек вне общества жить не может, но и общество не может жить без известных социальных побуждений, которые связывают отдельных людей в одно целое. Эти социальные чувства, побуждения и обязанности суть об'ективные факты в смысле их действительного реального существования в людях. Но, с другой стороны, ясно, что эти социальные чувства и побуждения являются суб'ективным выражением об'ективных отношений людей между собою.

Все социальные инстинкты или чувства и покоящиеся на них нравственные законы, т.-е. социальные обязанности человека по отношению к коллективу, постепенно развились в историческом процессе общественной жизни. Нравственные поступки, т.-е. социальные обязанности, оказывались в борьбе за существование чрезвычайно важным средством приспособления данного коллектива к окружающей среде. Необходимость взаимопомощи и взаимной защиты порождает целесообразные побуждения, чув-

ства симпатии, самопожертвования, мужества, преданности целому и т. п. Нравственный долг есть не что иное, как осознанное социальное чувство, или осознанный социальный инстинкт. Отсюда и повелительный характер нравственного долга. Долг или совесть, это голос коллектива в индивидууме, это отражение интересов и стремлений коллектива в индивидуальном сознании, это «давление» коллектива на личность, которое принимает в сознании индивида форму «повеления», приказа, императива.

До сих пор мы еще ничего не сказали о нравственных нормах, о чем постоянно твердит Аксельрод. Она, вслед за кантианцами, повторяет сказку о присущих сознанию человеческого рода общеобязательных об'ективных нравственных нормах. Между тем, как нормы - то как раз чрезвычайно изменчивы и текучи. Аксельрод определяет нравственный закон как категорический императив, считая последний основным законом всякой морали. Между тем, как под нравственными нормами, как говорит справедливо К. Каутский, «следует понимать известные нравственные правила, существующие при определенной форме общества», а под нравственным чувством (или чувством долга) «стремление или побуждение подчинить свою личность благу общества, делать то, что содействует его успеху, даже в том случае, когда это урезывает или наносит ущерб личному благосостоянию».

Под нравственным чувством или чувством долга скрываются социальные стремления людей вообще. Таким образом, определенные нравственные «нормы» являются как по своей форме, так и по содержанию исключительно продуктом данной формы общества. А самые эти «нормы» составляют совокупность правил (а не законов), весьма шатких и изменчивых. Кто желает изучить и понять нравственные явления вообще, тот должен, разумеется, не «читать в своей душе», как это нам рекомендует Аксельрод, а заняться изучением организации данного общества, продуктом которого и являются нравственные воззрения и чувства людей этого общества. В классовом обществе нравственные нормы одного класса прямо противоположны нравственным нормам другого класса, поскольку их социальные стремления противоположны. В современном обществе господствующие классы считают справедливыми и нравственными те поступки и действия, которые связаны с уважением к законам, охраняющим права собственности. Все, что ведет к нарушению прав собственности, квалифицируется ими, как несправедливость и безнравственность. Но господствующие классы свои стремления и интересы облекают в такие чисто - формальные нравственные «заповеди», которые по виду способны охватить любое содержание. Только в исключительные исторические моменты эти классы находят в себе смелость говорить откровенно о своих действительных нравственных воззрениях. Ниже мы приведем некоторые любопытные иллюстрации, подтверждающие нашу мысль.

А сейчас нам необходимо обратиться еще раз к Аксельрод. На стр. 153 упомянутой выше статьи в «Красной Нови», Аксельрод сама говорит о категорическом императиве Канта, а на следующей, 154, странице она с невинным видом продолжает: «Но меня, повидимому, обвиняют в том, что я вообще признаю нравственный долг, как существующий факт. Но отрицание этого факта прямо противоречило бы действительности. Вот, например, простые и очевидные факты этого порядка из непосредственно окружающей нас действительности. Коминтерн говорит, например, в своих воззваниях, о долге русских рабочих помочь своим бастующим английским товарищам. ВКП требует выполнения долга от всех членов партии и исключает из партии за те или другие нарушения этого долга. Отрицать долг в этом именно смысле,—значит стоять не на марксистской точке зрения, а на ницшеанской, т.-е. явным образом буржуазной. Мы не ницшеанцы и не аморалисты, т.-е. идеологи буржуазии, проповедующие сверхчеловека».

Что можно иметь против такого безукоризненного в логическом отношении рассуждения, думает наверное читатель? Однако дело состоит здесь в том, что Аксельрод, во-первых, незаметно для читателя подменила категорический императив Канта, имеющий надклассовый или внеклассовый, т.-е. абсолютный, характер, классовым пониманием долга, т.-е. пролетарской моралью. Во-вторых, она нашу точку зрения выдала за свою, ибо мы же утверждаем, что в классовом обществе существует только классовая мораль в то время, как она противопоставляет классовой морали общеобязательный, т.-е. надклассовый, нравственный закон, категорический императив Канта. Это очень удобный способ полемики, дающий к тому же возможность дешево отделаться от противника выкриками насчет сверхчеловека и аморализма. Но дело-то в том, что наш «тонкий» философ не в состоянии связать концы с концами. На 153 стр. Аксельрод поучает нас: «Поступай так, чтобы всегда уважать человеческое достоинство как в твоем собственном лице, так и в лице всякого другого человека, и чтобы всегда относиться к личности как цели, а никогда только как к средству»; на следующей же странице говорится «о долге русских рабочих помочь своим бастующим английским товарищам». Как далеко должна итти эта помощь, чтобы не затронуть человеческого достоинства врагов английских рабочих—предпринимателей? Как далеко должна итти эта помощь, чтобы, не дай ты господи, не затронуть личности предпринимателя, которая должна являться для нас не только средством, но и целью? Ну, а что, если английские рабочие, не признающие кантовского категорического императива, начнут нарушать заповеди Канта и Аксельрод, касающейся неприкосновенности священной личности и отношения к ней, как цели? Если мы, кроме этого, вспомним, что согласно воззрения нашего Ортодокса, об'ективная нравственная норма осуществляется только в том случае, если

«акт продажи и покупки точно соответствует целям продавца и покупателя», то очевидно, что рабочие в своей «безнравственности» могут дойти до того, чтобы и не совсем или совсем не посчитаться с целями покупателя их рабочей силы...

Таких вопросов можно задать бесчисленное множество. Очевидно, что кантовские заповеди несовместимы с пролетарской моралью. Поэтому, если человек не хочет стать принципиальным эклектиком и вечно вилять, он должен выбрать одно из двух: либо порвать «связи» с Кантом, либо—с марксизмом.

Нравственное чувство Аксельрод было крайне возмущено фактом нарушения во время мировой войны Германией нейтралитета Бельгии. «Своим вторжением в нейтральную Бельгию,—писала она,—Германия нарушила общеобязательные законы права и нравственности, признаваемые всем цивилизованным человечеством, и не только цивилизованным человечеством, но и некоторыми группами дикарей» [1]).

От этого-то вторжения Германии в нейтральную Бельгию и пошла вся «нравственность» Аксельрод. С этого именно времени ее марксистской душой овладел Кант с его этическим формализмом. Формальная закономерность воли, независимо от содержания воли, является для нее, как и для всех кантианцев, критерием нравственного. Поэтому брошенное ею на дискуссии в Институте философии «мудрое» изречение, что ведь и шайка разбойников подчиняется определенным нормам, обнаруживает перед нами всю «безнравственность» этического формализма, всю его бесплодность и никчемность. Но это между прочим.

Итак, Германия нарушила нравственный закон, и за это должна получить соответствующее возмездие. Однако, да позволено будет спросить: разве страны Согласия состоят из беспорочных ангелов, не нарушивших нравственных законов и свято их исполнявших? Ведь стоит только поставить этот вопрос, чтобы понять всю бессодержательность, все лицемерие нравственного «подхода» к Германии. Мы знаем, что идеологи германской буржуазии жаловались в свою очередь на безнравственность коварной Англии, и, надо думать, тоже не без основания. Что же касается положения угнетенных народов и в особенности рабочего класса во всех странах, то надо полагать, что здесь мы имеем дело с самым вопиющим фактом нарушения всех «нравственных законов». Почему же наш «само собою разумеется» ортодоксальный марксист так горячо принял к сердцу интересы Антанты, вместо того, чтобы принять близко к сердцу интересы рабочего класса во всех странах и звать их на борьбу с «безнравственной» буржуазией всех стран?

[1]) См. сб. «Марксизм и этика», стр. 227.

3.

«Идеологическая» мораль, которую мы отличаем от фактической нравственности, совершенно бессильна по отношению к действительности. Поэтому Энгельс в «Людвиге Фейербахе», говоря о морали последнего, пишет след.: «С моралью Фейербаха случилось то же, что со всеми ее предшественницами. Она выкроена для всех времен, для всех народов, для всех состояний, и именно потому она не приложима нигде и никогда. По отношению к действительному миру она так же бессильна, как категорический императив Канта. В действительности каждый класс, каждый род занятия имеет свою собственную мораль, которую он притом же нарушает всякий раз, когда может сделать это безнаказанно. А любовь, которая будто бы всех об'единяет, проявляется в войнах, ссорах, тяжбах, домашних сворах, расторжениях браков и в возможно более сильной эксплоатации одних другими».

Стало быть, фактическая, классовая мораль, которая проявляется в повседневных действиях людей и в их учреждениях, есть настоящая, так сказать, действующая мораль. Отвлеченная же мораль получает свое выражение в возвышенных формулах, которые, однако, в жизни не исполняются, ибо они служат прикрытием для практической морали. Но это вовсе не значит, что такие нравственные учения не были порождены жизнью и действительной борьбой определенного общественного класса.

В революционные эпохи угнетенные классы выдвигают свои требования и формулируют свои стремления в торжественных декларациях и возвышенных нравственных учениях; в дальнейшем процессе развития, когда угнетенный до тех пор класс приходит к власти и становится господствующим классом, он удовлетворяет свои ограниченные классовые интересы, которые противоречат интересам ниже стоящих общественных классов. В таком случае получается разрыв между действительной нравственностью и нравственностью отвлеченной.

Возьмем французских революционеров эпохи Великой революции. Они выдвигают требование свободы, равенства и братства. Третье сословие выступает в качестве угнетенного класса и в качестве представителя всех трудящихся. Идеологи третьего сословия формулируют требования и стремления буржуазии таким образом, что они охватывают как бы интересы всех угнетенных. Великие лозунги свободы, равенства и братства заставляют усиленно биться сердца всех трудящихся, но само собою разумеется, что каждый класс или даже группа вкладывает в эти отвлеченные лозунги свое конкретное содержание. Овладевши властью, буржуазия осуществляет свою программу, в меру своих реальных интересов. Но в целях идейного господства над другими классами она продолжает произносить громкие фразы насчет свободы, равенства и братства, т.-е. она в сфере отвлеченных идей продолжает проповедывать идеальную нравственность, проводя в жизни фактическую нравственность в соответствии с ее реальными интересами. То же самое относится и к кантовскому категорическому императиву, который был формулирован кенигсбергским мыслителем в эпоху, когда немецкая буржуазия еще только готовилась к своей революции, когда она еще находилась на положении угнетенного класса.

Реальные условия жизни шли вразрез с отвлеченными формулами нравственности и права, выдвигавшимися философами и идеологами соответствующих исторических эпох. Следует отличать поэтому исторические будни от исторических праздников. В свете «исторических праздников» нравственные будни буржуазии, например, свидетельствуют о сплошной ее безнравственности. Но эта безнравственность и составляет фактическую классовую нравственность буржуазии. Отвлеченная же мораль, которая выдвигалась той же буржуазией на заре ее молодости, в эпоху ее борьбы в качестве угнетенного класса за новый общественный строй, продолжает свое существование в качестве средства, при помощи которого буржуазия подчиняет себе угнетенные классы. Буржуазия любит апеллировать в своей борьбе с пролетариатом или с внешним врагом к категорическому императиву, вообще к отвлеченной морали, которая на ряду с пушками и танками может содействовать укреплению ее власти над угнетенными.

Марксист, не видящий фактической нравственности (или безнравственности, что одно и то же, ибо нравственное с точки зрения господствующего класса оценивается как безнравственное с точки зрения пролетарской морали) и апеллирующий к фантастической, т.-е. отвлеченной, морали, подобен Дон-Кихоту. Фактической, классовой морали буржуазии следует противопоставить классовую мораль пролетариата, непосредственно связанную с его интересами. В этом смысле классовая мораль является прямым продолжением и непосредственным выражением материальных интересов класса.

Поэтому противоречие между фактической и отвлеченной моралью выражается в противоположности между «материальной» и формальной моралью. Отвлеченная мораль именно потому, что она оторвана от действительности и лишена конкретного содержания, вырождается обычно в чистейший формализм. От нее остается, так сказать, одна лишь оболочка, форма всякой морали. Фактическая же нравственность отбрасывает пустой формализм и связывается непосредственно с содержанием, с «материей», которая, вследствие своего «разнообразия», и порождает не единую, а «многоликую» нравственность, не надклассовую, а классовую мораль. Надклассовая мораль едина лишь по своей форме, но единством формы она стремится охватить многообразие содержания, что ей не может удаться вследствие противоположности, антагонистичности

интересов разных классов, вследствие противоположности материального содержания нравственных принципов.

Вопрос о том, что считать нравственным или безнравственным, касается не формы, а содержания. Например, с точки зрения собственников средств и орудий производства институт частной собственности является высшим нравственным институтом; с точки зрения же пролетариев этот институт является высшим выражением «безнравственности», основанный на присвоении чужого труда, на эксплоатации человека человеком. Форма же нравственности, выражающаяся исключительно в закономерности воли, одинаково может быть применима и к собственности, и к несобственности, как это было доказано уже Гегелем.

«Поступай так, чтобы правила, которым руководится твоя воля, могли во всякое время послужить принципом всеобщего законодательства», учил Кант. Но, ведь, весь вопрос состоит в том, что именно следует положить в основу «всеобщего законодательства». Если я скажу, что собственность лежит в основе законодательства, то очевидно, что каждый должен поступать так, чтобы его поступок в отношении собственности мог стать нормой общего поведения, т.-е. все должны уважать собственность и все, что направлено против нарушения прав и привилегий собственности, будет вместе с тем и нарушением нравственного закона.

Но с таким же основанием можно исходить из коммунизма, положив его в основу материального содержания всеобщего законодательства и все должны поступать в согласии с интересами коммунизма. Таким образом, формальная закономерность мне равно ничего не дает для определения того, что считать нравственным и что безнравственным. После того как мною уже определено содержание нравственной деятельности, Кант может посоветовать мне поступать так, чтобы мой поступок стал нормой общего поведения, т.-е. чтобы мой поступок стал общеобязательным. Но Кант видит критерий нравственности только в этой общеобязательности, в голом всеобщем законодательстве, в совпадении моего поступка с поступками всех. Что же до содержания этой формальной закономерности или общеобязательности, то ему никакого дела до него нет. А поскольку он спускается с высоты отвлеченных рассуждений и пытается подкрепить их конкретными примерами, то получается нечто весьма жалкое и к действительной жизни совершенно не применимое.

Разумеется, Кант своим учением выразил «потребности» своей эпохи. Обоснование формальной «закономерности воли», «всеобщего законодательства», формальной демократии диктовалось интересами буржуазии того времени. Она и поныне продолжает отстаивать формальные принципы права и нравственности, хотя на практике постоянно топчет их ногами, нарушая их каждодневно, поскольку это требуется ее действительными интересами. Формализм в области права и нравственности маскирует реальную сущность положительного права и положительной нравственности. Формализм служит флером, прикрывающим неравенство и рабство рабочих масс, всевозможные несправедливости по отношению к ним со стороны класса предпринимателей, пользующегося в действительности всеми реальными благами «всеобщего законодательства» и формальной демократии.

Таким образом, между положительным правом и положительной нравственностью господствующего класса, которые являются непосредственным выражением и защитой их материальных интересов и идеальными принципами права и нравственности, витающими подобно бесплотному духу над действительностью, существует глубокое противоречие. Идеальные принципы и нормы, вследствие своего чисто формального характера, отличаются бессодержательностью, дающей им возможность охватить любое содержание, и тем самым ввести в заблуждение насчет их возвышенного значения народные массы, которые всегда чрезвычайно чутки к лозунгам справедливости, равенства, свободы, братства.

Необходимо еще подчеркнуть, что и исторически великие лозунги связывались с прямо противоположным содержанием. Господствующие классы пользовались великими идеями, имевшими реальное значение при совершенно иных условиях, и приспособляли их к своим потребностям. Они захватывали, так сказать, чужие знамена и собирали вокруг них народные массы, преследуя при помощи последних свои интересы и свои цели, в ущерб интересам народных масс.

4.

Этика есть наука о нравственных воззрениях людей данного общества. Так как мы живем в классовом обществе, то нравственные (равно как и правовые) воззрения людей определяются в общем и целом их классовым положением в этом обществе. В основе нравственности,—как говорит Плеханов,—лежит стремление к счастью целого: племени, народа, класса, человечества. Это стремление предполагает большую или меньшую степень самопожертвования. В первобытном племени, где нет частной собственности, господствует равенство и братство между его членами. В таком обществе нет противоречия между интересами личности и коллектива, поэтому личность не только не отделяет себя от коллектива, от целого, но отождествляет себя с ним. Отдельный член этого коллектива всегда готов пожертвовать собою во имя интересов целого. Иначе обстоит дело в современном буржуазном обществе, распадающемся на классы с противоположными интересами. Впрочем, то, что справедливо по отношению к буржуазному обществу, в основном справедливо и по отношению ко всякому классовому обществу.

«Всякая нравственная теория являлась до сих пор в конечном счете результатом данного экономического положения общества,—го-

ворит Энгельс.—А так как общество до сих пор развивалось в классовых противоположностях, то нравственность всегда была классовой нравственностью: либо она оправдывала господство и интересы господствующего класса, либо, когда угнетенный класс становился достаточно сильным, она выражала возмущение против этого господства и защищала будущие интересы угнетенных». Нам представляется это общее положение Ф. Энгельса совершенно правильным. В обществе, основанном на классовых противоречиях, в обществе, носящем по самому существу своему антагонистический характер, не могут иметь места нравственные «заповеди», «свободные» от противоречия и просто распространяемые на все классы общества. Антагонистические основы общества определяют антагонистический характер моральных воззрений людей.

Нравственные поступки рабочего, направленные к укреплению солидарности его класса, к борьбе против угнетения и насилия со стороны буржуазии, хороши именно потому, что они безнравственны, т.-е. злы, с точки зрения класса угнетателей, класса эксплоататоров. Добро и зло существуют рядом, являясь противоположностями, друг друга обусловливающими. Кто стоит на почве абсолютного добра в антагонистически построенном обществе, тот не понимает того, что он приносит зло как раз наиболее угнетенным, ибо нет таких чудодейственных средств, которые были бы одинаково хороши для всех людей, живущих в неодинаковых, противоположных условиях.

Л. Н. Толстой проповедовал людям «закон любви». Грешно бороться с царским режимом, который им признавался отвратительным и ненавистным, посредством насилия; надо бороться при помощи закона любви. Проповедовать такое учение угнетенным народам, крестьянам, замученным царским деспотизмом и властью капиталистов рабочим, это значит поддерживать власть угнетателей, как бы суб'ективно Толстой ни был далек от такого желания, и как бы он ни стремился к противоположному. Такова уже диалектика антагонистического общества, что отвлеченное добро превращается в свою противоположность—в зло. Где нет зла, там нет и добра; безнравственность и нравственность взаимно связаны и друг друга обусловливают. Если я желаю вести борьбу с угнетением, с эксплоатацией, я должен вести борьбу с угнетателями и причинять им зло. На нашей грешной земле иначе невозможно.

Мы уже видели выше, что так называемые общеобязательные законы права и нравственности лишены всякого содержания, что это—одна пустая форма, в которую каждый может вложить какое ему угодно содержание. Искать критерия нравственности в отвлеченной всеобщности формы — нелепо, ибо это значит провозгласить всеобщность формы содержанием нравственности. Мы видели, как Гегель критиковал этот кантовский формализм и требовал обратиться к конкретному содержанию человеческой деятельности.

Когда люди отстаивают отвлеченные законы права и нравственности и требуют, чтобы каждый поступал так, чтобы правила, которыми руководится его воля, могли во всякое время послужить принципом всеобщего законодательства, они забывают самое главное: наполнить эту нравственную «заповедь» конкретным содержанием. Только подставив под это формальное правило определенное содержание, мы убеждаемся в его полной никчемности.

Для того, чтобы возможно было установить в противоречивом обществе гармонию и избегнуть раздора, Кант вынужден был вышелушить из своих нравственных законов всякое чувственное и конкретное содержание, оставив лишь одну пустую форму. Поэтому его законы носят в сущности крайне неопределенный характер, и эта именно неопределенность делает возможным их всеобщность. Эти общие законы «являются просто общими местами самого неопределенного характера, признаваемыми за всеобщие истины лишь потому, что они допускают самые различные толкования», как говорит правильно Каутский.

В полемике с Отто Бауэром по вопросу о категорическом императиве Каутский писал следующее:

«Кантовский «основной закон чистого, практического разума» гласит: «Поступай так, чтобы максима твоей воли постоянно могла служить вместе с тем и принципом всеобщего законодательства».

«Допустим, что это положение производит на безработного столь сильное впечатление, что он немедленно решает поступать соответственно тому предписанию. Но решается ли этим вопрос, как он должен действовать? Может ли быть принципом «всеобщего законодательства» дать умереть с голода жене и детям? С другой стороны, при всех ли случаях нравственный долг запрещает оставлять товарищей? Поступают ли безнравственно те русские солдаты, которые в момент народного восстания отделяются от товарищей и стреляют в войско?»

Эти совершенно справедливые возражения Каутского, сделанные им в 1905 г., не могут быть ничем опровергнуты. Кантовский нравственный закон совершенно бессодержателен и не может служить руководством в практической жизни людей.

Поскольку кантовский закон носит чисто формальный характер, из него вышелушено всякое содержание, а поскольку вы наполняете этот закон определенным конкретным содержанием, немедленно обнаруживается его несостоятельность, вследствие противоречивого характера общества. «Всеобщее законодательство», применяемое не к пустой форме, а к живому содержанию, отрицается этим содержанием. Ибо всеобщее законодательство возможно лишь в таком обществе, в котором нет никаких противоречий. В классовом же обществе содержания «воли» отдельных лиц и классов часто прямо противоположны, и поэтому «всеобщее законодательство» вступает в противоречие с живым содержанием и должно быть отметено, так как оно невозможно.

Поэтому Каутский прав, когда пишет, что «основной закон чистого практического разума» тогда только имеет смысл, когда в обществе, в котором мы живем, возможно «всеобщее законодательство», т.-е. непротиворечивая система требований к отдельной личности, и когда воля каждого свободна и выполнение или невыполнение этих требований зависит исключительно от желания индивида. Кант,—продолжает Каутский,—сводит все противоречия в недрах общества к одному лишь противоречию между отдельными людьми, к антагонизму между его общительностью и необщительностью, к «человеческой необщительной общительности», как он выражается в «Идеях к всеобщей истории». Кант представления не имел о том, что общественные противоречия вытекают из таких факторов, которые возникают и влияют независимо от воли и сознания отдельных индивидов, что противоречия в обществе являются не только противоречиями между отдельными индивидами, но и классовыми противоречиями, что, наконец, они порождают не только постоянные коллизии между личными и общественными интересами, но и постоянные столкновения обязанностей по отношению к различным классам, к которым принадлежит индивид» [1]).

Каутский в дальнейшем правильно подчеркивает, что для Канта существуют, с одной стороны, индивиды, а с другой—человечество, или общество. Общество же для него механическая сумма индивидов, их скопление или «куча совместно существующих индивидов». Что общество представляет собою нечто большее, чем «куча» индивидов, что индивиды просто не предоставлены самим себе, что они необходимо вступают в определенные формы сотрудничества, зависящие от характера производительных сил, а не от их доброй воли, что в обществе, стало быть, имеют место противоречия классов, которыми, в сущности, определяются столкновения и противоречия между индивидами,—все это чуждо Канту.

Но в высшей степени странно то, что точку зрения Канта приемлют люди, называющие себя марксистами. Ведь очень показательно, что Аксельрод в своих этических рассуждениях исходит главным образом из отдельных индивидов, и что она социальные конфликты, противоречия между классами растворяет в противоречии между индивидами, личностями, с одной стороны, и человечеством, с другой стороны.

Мы уже выше обратили внимание на тот факт, что нравственное поведение людей в классовом обществе по самому существу своему не может носить общечеловеческий характер, т.-е. что оно лишено общеобязательной в смысле его применения ко всем классам и отдельным людям значимости. Общечеловеческий и общеобязательный характер нравственного поведения людей в классовом обществе не имеет материального основания, вследствие

[1]) Сб. «Марксизм и этика», стр. 373—374.

внутренней противоречивости общества. В самом деле, «странно» было бы требовать от буржуазии, чтобы она в своей жизни руководствовалась классовыми нормами поведения пролетариата, или, наоборот, от пролетариата, чтоб он руководствовался моральными «заповедями» буржуазии. Каждый класс имеет свои правила поведения, вытекающие из материальных условий его жизни, и этика и есть не что иное, как совокупность правил поведения данного класса. Поведение же отдельной личности «расценивается» с точки зрения его полезности или вредности для класса в целом. Что полезно для класса, что соответствует его общим интересам, то нравственно; то, что вредно для общих интересов класса, то безнравственно. Как только вы попытаетесь построить надклассовую этику, она по необходимости принимает характер чисто формальный и лишается всякого содержания. Всякая надклассовая этика носит поэтому чисто абстрактный, метафизический характер. Однако надо сказать, что в действительности бесклассовой или надклассовой морали вообще не существует. Общечеловеческий или надклассовый характер морали выражается лишь в ее форме, которая маскирует классовое содержание морали. В этом и состоит идеологический и фетишистский «момент» классовой нравственности. Но эта именно «всеобщая» форма является могучим средством подчинения угнетенных классов идеологии господствующего класса, который стремится придать своей классовой нравственности общечеловеческий характер. Это возможно лишь благодаря тому, что классовое содержание утаивается, скрывается, маскируется метафизически-абсолютной формой, за которой признается самостоятельное, обособленное, идеологическое, т.-е. якобы не связанное с материальными интересами, значение. Таким образом, моральные нормы, законы или «заповеди» отрываются от действительных, реальных отношений людей и превращаются в самостоятельные сущности или фетиши, которым человек, всякий человек «должен» поклоняться.

Не требуется большого ума и глубокомыслия, чтобы понять, что заповедь «не укради» имеет смысл и значение только в обществе, в котором существует частная собственность, иначе говоря, что эта заповедь призвана охранять интересы собственников. В коммунистическом обществе этот якобы вечный—божеский—закон человеческого общежития не имеет под собой никакой реальной почвы.

Стало быть, закон этот имеет только временный и относительный характер, он служит целям защиты класса собственников. Но этому закону, как, впрочем, и всем моральным нормам, придается вечное и абсолютное значение. Закон этот об'является выражением не определенных интересов господствующего класса, направленных против людей, лишенных собственности, а некоей абсолютной и вечной истиной, имеющей своим источником или волю бога, или в лучшем случае отвлеченную «заповедь», которой все люди почему-то должны следовать. Закон, выражающий реальные отношения людей, об'ективи-

руется как самостоятельная сущность, отчуждается от самих этих отношений и противопоставляется человеку, как фетиш, которому все люди «служат», и согласно которому они должны формировать свои отношения. Земное происхождение этических норм или «заповедей», т.-е. их классовая сущность, утеривается. Она прикрывается, разумеется, бессознательно «небесными», т.-е. отвлеченными, «внеклассовыми», надисторическими формами, приобретающими самостоятельную «ценность». Этот процесс фетишизации реальных общественных отношений имеет своей целью превращение временных и относительных классовых истин и норм в абсолютные и вечные общечеловеческие, сверхчеловеческие, общеобязательные истины и нормы. Это достигается прежде всего тем, что относительному содержанию придается абсолютность формы, что должно повлечь за собою утверждение абсолютной значимости самого относительного, т.-е. классового, содержания.

5.

Маркс высказал следующий, весьма глубокий тезис: «Чем более обостряются классовые противоречия, тем лицемернее становится буржуазия, и чем она более становится лицемерной, тем возвышеннее становится язык ее идеалов». Эти слова Маркса особенно применимы к этике буржуазии. Согласно развитым выше положениям, буржуазия именно в эпохи наибольшего обострения классовых противоречий вынуждена проповедовать с особой рьяностью вечные и абсолютные истины своей морали. Она выдвигает на первый план идеологические, фетишистские элементы своего мировоззрения для того, чтобы прикрыть свои реальные классовые интересы. Отсюда то лицемерие, о котором говорит Маркс.

Противоречие между узко-классовыми интересами и возвышенной идеологией вскрывается марксизмом, который впервые дал возможность дефетишизировать идеологию и свести ее к материальным основаниям. Дефетишизация сводится прежде всего к необходимости сорвать таинственный покров, прикрывающий и окутывающий классовые интересы буржуазии.

В эпоху империалистической войны язык идеологов буржуазии отличался особенной «возвышенностью», именно потому, что она должна была маскировать и прикрывать свои истинные, действительные цели. Поэтому лицемерие буржуазии в это время приняло самые отвратительные формы. Разбойники-империалисты всех стран только и трубили о том, что они борются во имя демократии, справедливости, свободы, братства и проч.

Но этот возвышенный язык идеологии служил лишь внешней формой, для прикрытия действительного содержания их стремлений. Все старания буржуазии и ее идеологов были направлены к тому, чтобы одурманить своей «возвышенной» идеологией народы,

т.-е. прежде всего рабочий класс, перед которым буржуазия естественно не могла же раскрыть свои настоящие цели, которые она преследовала в войне. Буржуазия играла, таким образом, крапленными картами.

Что же касается идеологов рабочего класса, то они частью бессознательно попались на удочку «возвышенной» идеологии, частью же сознательно подчиняли интересы пролетариата интересам отечества, нации, демократии, справедливости и т. п. «ценностей». Массы были искренно убеждены в том, что они проливают свою кровь за лучшее будущее всех трудящихся и угнетенных.

И вот огромная задача, выпавшая на долю весьма незначительной части социалистов, состояла в разоблачении этого буржуазного обмана и лицемерия, в раскрытии истинного классового содержания, скрывавшегося за «возвышенной» идеологией империализма. «Общеобязательные законы права и нравственности» играли, таким образом, не последнюю роль в деле «воздействия» на рабочие массы. Рабочие массы умирали на полях сражений за материальные интересы господствующих над ними классов, за интересы своих поработителей, т.-е. за свое собственное порабощение, а были уверены, что борются и умирают за свое освобождение. Так называемый гражданский мир являлся реальным достижением буржуазии на основе «возвышенной идеологии», которая имела своей целью сплочение всех классов населения вокруг одного класса и его интересов—вокруг буржуазии. Этим я отнюдь не хочу сказать, что в гражданском мире повинна одна только идеология. Нет, в этом сложном переплете имели место и материального характера факторы. Но нет никакого сомнения, что именно система современного фетишизма сыграла здесь огромную роль в смысле подчинения рабочих масс классовым интересам буржуазии. Я говорю о системе фетишизма, понимая под нею всю совокупность чисто идеологических взглядов на государство, право, мораль, отечество и проч.

Разве государство не обожествляется современной буржуазной наукой? Разве не «рекомендуется» всем гражданам служить верой и правдой этому фетишу, за который все должны быть готовы всегда жертвовать всем, и прежде всего жизнью? Но что такое государство в действительности? Ведь для всякого марксиста ясно, что когда господствующие классы призывают народные массы к защите государства, изображая последнее каким-то самостоятельным существом, святыней, божеством, парящим над людьми, то речь идет в действительности о защите материальных интересов этих господствующих классов.

Первейшая обязанность представителей пролетариата, это—срывать всегда и постоянно идеологическую маску с реальных отношений людей, маску, затемняющую эти отношения и придающую им мистический характер.

Пролетариат, в отличие от буржуазии, не рядится в тогу внеклассовых, общеобязательных, правовых и нравственных норм. Поэтому марксистский подход к вопросам права и морали не идеологический, а материалистический и классовый. Неправда, что кто не признает кантовской или вообще идеалистической этики, тот вообще придерживается лозунга: все позволено, тот «дегенерат» и ницшеанец. Ленин требовал, чтобы «все дело воспитания, образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали». Может ли быть более возвышенная точка зрения, чем требование, чтобы все было общим, чтобы земля, фабрики, заводы принадлежали всем?

«Но существует ли коммунистическая мораль?—спрашивает Ленин.—Существует ли комммунистическая нравственность? Конечно, да. Часто представляют дело таким образом, что у нас нет своей морали, и очень часто буржуазия обвиняет нас в том, что мы, коммунисты, отрицаем всякую мораль. Это—способ подменять понятия, бросать песок в глаза рабочим и крестьянам.

В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность?

В том смысле, в каком проповедовала ее буржуазия, которая выводила эту нравственность из велений бога. Мы на этот счет, конечно, говорим, что в бога не верим, и очень хорошо знаем, что от имени бога говорило духовенство, говорили помещики, говорила буржуазия, чтобы проводить свои эксплоататорские интересы. Или вместо того, чтобы выводить эту мораль из велений нравственности, из велений бога, они выводили ее из идеалистических или полуидеалистических фраз, которые всегда сводились тоже к тому, что очень похоже на веления бога.

Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов.

Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата» [1]).

Подчиняя нравственность классовой борьбе пролетариата, — продолжает Ленин,—мы говорим: «Нравственность это то, что служит разрушению старого эксплоататорского общества и об'единению всех трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов.

Коммунистическая нравственность, это та, которая служит этой борьбе, которая об'единяет трудящихся против всякой эксплоатации, против всякой мелкой собственности, ибо мелкая собственность дает в руки одного лица то, что создано трудом всего общества» [2]).

[1]) Н. Ленин, собр. соч., т. XVII, стр. 321.
[2]) Там же, стр. 323.

Итак, нравственность, по мнению Ленина, совпадающему вполне с мнением Энгельса, необходимо прежде всего выводить из общественных отношений. Нравственность не имеет ни абсолютного, ни внеклассового (поскольку речь идет о современном классовом обществе) характера. Все ее нормы, по своему содержанию, в сущности подчинены интересам того или другого класса, хотя форму можно им придать—обычно это так и делается—внеклассовую, даже сверхчеловеческую.

Всякая нравственность является выражением, в конечном счете, как выражается Энгельс, данного экономического положения. В классовом обществе существуют две основные теории нравственности: одна, оправдывающая господство и интересы господствующих классов, другая—защищающая интересы угнетенных и эксплоатируемых.

Нравственность не имеет самостоятельного значения. Она подчинена реальным интересам общественного развития. Если буржуазные идеологи склонны часто рассматривать политику, как часть этики, то с точки зрения нашей этика составляет часть политики. Мы видим, что и Ленин считает, что нравственность пролетарская подчинена интересам классовой борьбы пролетариата. «Нравственность,—говорит Ленин далее,—служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, избавиться от эксплоатации труда». Говоря более конкретно, применительно к современным условиям, Ленин подчеркивает, что в основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма, что для коммуниста нравственность состоит «в сплочении, солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплоататоров».

Таким образом, коммунистическая нравственность имеет своей целью содействовать осуществлению коммунизма. Эта конкретная постановка вопроса ничего общего не имеет с отвлеченными и пустыми «простыми законами права и нравственности».

Само собою разумеется, что борьба за укрепление и завершение коммунизма считается делом безнравственным с точки зрения буржуазии, ибо ее интересы противоположны интересам пролетариата. Буржуазия в попытке осуществления лозунга: «все должно быть общим» видит не что иное, как грабеж, — нарушение самой «возвышенной» заповеди: «не укради!». Поэтому социалисты и коммунисты с давних пор изображаются буржуазией и ее идеологами, как воры, грабители, разбойники и проч. Надо быть «идеологом», чтобы не понимать, что буржуазная мораль служит интересам буржуазии, как класса. Так называемые «простые законы права и нравственности» служат той же цели (и прикрывают часто «простые» законы насилия и эксплоатации). О бессодержательности этих «простых законов» говорилось нами уже достаточно в прошлой статье. До тех пор, пока витают в абстракциях, эти простые законы могут казаться чем-то действительно таким, чем можно руководствоваться в жизни. Но стоит только спуститься с отвлеченных высот на конкретную почву, как

Пролетариат, в отличие от буржуазии, не рядится в тогу внеклассовых, общеобязательных, правовых и нравственных норм. Поэтому марксистский подход к вопросам права и морали не идеологический, а материалистический и классовый. Неправда, что кто не признает кантовской или вообще идеалистической этики, тот вообще придерживается лозунга: все позволено, тот «дегенерат» и ницшеанец. Ленин требовал, чтобы «все дело воспитания, образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали». Может ли быть более возвышенная точка зрения, чем требование, чтобы все было общим, чтобы земля, фабрики, заводы принадлежали всем?

«Но существует ли коммунистическая мораль?—спрашивает Ленин.—Существует ли комммунистическая нравственность? Конечно, да. Часто представляют дело таким образом, что у нас нет своей морали, и очень часто буржуазия обвиняет нас в том, что мы, коммунисты, отрицаем всякую мораль. Это—способ подменять понятия, бросать песок в глаза рабочим и крестьянам.

В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность?

В том смысле, в каком проповедовала ее буржуазия, которая выводила эту нравственность из велений бога. Мы на этот счет, конечно, говорим, что в бога не верим, и очень хорошо знаем, что от имени бога говорило духовенство, говорили помещики, говорила буржуазия, чтобы проводить свои эксплоататорские интересы. Или вместо того, чтобы выводить эту мораль из велений нравственности, из велений бога, они выводили ее из идеалистических или полуидеалистических фраз, которые всегда сводились тоже к тому, что очень похоже на веления бога.

Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов.

Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата» [1]).

Подчиняя нравственность классовой борьбе пролетариата,—продолжает Ленин,—мы говорим: «Нравственность это то, что служит разрушению старого эксплоататорского общества и об'единению всех трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов.

Коммунистическая нравственность, это та, которая служит этой борьбе, которая об'единяет трудящихся против всякой эксплоатации, против всякой мелкой собственности, ибо мелкая собственность дает в руки одного лица то, что создано трудом всего общества» [2]).

[1]) Н. Ленин, собр. соч., т. XVII, стр. 321.
[2]) Там же, стр. 323.

Итак, нравственность, по мнению Ленина, совпадающему вполне с мнением Энгельса, необходимо прежде всего выводить из общественных отношений. Нравственность не имеет ни абсолютного, ни внеклассового (поскольку речь идет о современном классовом обществе) характера. Все ее нормы, по своему содержанию, в сущности подчинены интересам того или другого класса, хотя форму можно им придать—обычно это так и делается—внеклассовую, даже сверхчеловеческую.

Всякая нравственность является выражением, в конечном счете, как выражается Энгельс, данного экономического положения. В классовом обществе существуют две основные теории нравственности: одна, оправдывающая господство и интересы господствующих классов, другая—защищающая интересы угнетенных и эксплоатируемых.

Нравственность не имеет самостоятельного значения. Она подчинена реальным интересам общественного развития. Если буржуазные идеологи склонны часто рассматривать политику, как часть этики, то с точки зрения нашей этика составляет часть политики. Мы видим, что и Ленин считает, что нравственность пролетарская подчинена интересам классовой борьбы пролетариата. «Нравственность,—говорит Ленин далее,—служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, избавиться от эксплоатации труда». Говоря более конкретно, применительно к современным условиям, Ленин подчеркивает, что в основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма, что для коммуниста нравственность состоит «в сплочении, солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплоататоров».

Таким образом, коммунистическая нравственность имеет своей целью содействовать осуществлению коммунизма. Эта конкретная постановка вопроса ничего общего не имеет с отвлеченными и пустыми «простыми законами права и нравственности».

Само собою разумеется, что борьба за укрепление и завершение коммунизма считается делом безнравственным с точки зрения буржуазии, ибо ее интересы противоположны интересам пролетариата. Буржуазия в попытке осуществления лозунга: «все должно быть общим» видит не что иное, как грабеж,—нарушение самой «возвышенной» заповеди: «не укради!». Поэтому социалисты и коммунисты с давних пор изображаются буржуазией и ее идеологами, как воры, грабители, разбойники и проч. Надо быть «идеологом», чтобы не понимать, что буржуазная мораль служит интересам буржуазии, как класса. Так называемые «простые законы права и нравственности» служат той же цели (и прикрывают часто «простые» законы насилия и эксплоатации). О бессодержательности этих «простых законов» говорилось нами уже достаточно в прошлой статье. До тех пор, пока витают в абстракциях, эти простые законы могут казаться чем-то действительно таким, чем можно руководствоваться в жизни. Но стоит только спуститься с отвлеченных высот на конкретную почву, как

оказывается, что конечное и относительное содержание несовместимо с этой абсолютной формой, что в наших реальных жизненных условиях нет такого содержания, которое могло бы принять абсолютную, всеобщую форму.

Будь всегда правдив! Это одна из «заповедей», или норм, вытекающих из признания «простых законов нравственности». Однако требовать от угнетенного класса, чтобы он был правдив и не прибегал никогда ко лжи в борьбе с своим классовым врагом, это—нелепо. Ложь часто является необходимым средством в этой борьбе. Преданность интересам своего класса есть оборотная сторона безнравственного поведения по отношению к своему классовому врагу. Абсолютно нравственных поступков нет в жизни действительной. Ложь, обман, лицемерие, насилие и пр. пороки—суть продукты определенных общественных отношений; с изменением общественных отношений, с устранением тех условий, которыми порождаются соответствующие пороки, исчезнут самые пороки. Поэтому не следует жаловаться на испорченность человеческой природы вообще, неправильно заниматься моральными проповедями, оставляя неприкосновенными, порождающие «безнравственное» поведение людей общественные отношения, а необходимо стремиться в первую очередь изменить эти общественные отношения.

Все это до такой степени элементарно, что останавливаться дальше на этом нет надобности.

В этой связи следует, нам кажется, сказать несколько слов о другом вопросе. Дело в том, что всякая классовая мораль имеет «тенденцию» превратиться в общечеловеческую мораль. Или, вернее, каждый класс стремится навязать свою классовую мораль всему обществу, всем людям, т.-е. превратить ее в общеобязательную мораль. Это относится прежде всего к господствующим классам, которые стремятся сделать свои идеи господствующими идеями всего общества. Поэтому до поры, до времени под сильнейшим влиянием буржуазной морали (а то и феодальной, религиозной и проч.) находятся и угнетенные классы, которые воспитываются в духе морали господствующего класса. Естественно, что мораль господствующего класса является орудием подчинения угнетенных и эксплоатируемых классов классам господствующим. Но именно поэтому классовая мораль выдается за общечеловеческую, общеобязательную и вечную мораль. Только марксизм впервые срывает с классовой морали ее идеологический покров и «сводит» ее к реальным общественным отношениям, к ее классовому содержанию.

Но что составляет специфическую характеристику нравственности? В чем основа нравственности? Мы называем нравственным человека, который жертвует своими личными интересами, часто своей жизнью во имя «общего блага». На протяжении своей исторической жизни люди достигли огромных успехов в своей общей, совместной борьбе с природой. Эта борьба возможна лишь на основе

взаимопомощи. Человек—животное общественное. Этот общественный характер человека дает нам ключ для об'яснения нравственности.

Всем общежительным животным уже присущи наклонности, которые полезны данному коллективу, и без которых невозможно было бы совместное существование. «Общественные животные,—говорит Дарвин,—стоящие на последних ступенях лестницы творения, управляются почти исключительно, а животные, стоящие высоко, в значительной степени общественными инстинктами; но ими руководит, кроме того, взаимная любовь и участие, поддерживаемые, повидимому, до некоторой степени разумом. Хотя человек, как справедливо замечено, не имеет особых инстинктов, которые указывали бы ему, каким образом помогать своим ближним, в нем существует стремление помогать и, по мере усовершенствования его умственных способностей, он будет в этом случае руководствоваться разумом и опытом» [1]).

Нравственное чувство или совесть развились из общественных инстинктов, которые присущи уже общежительным животным. Однако, общественные инстинкты, как это правильно указывает Дарвин, никогда не распространяются на всех особей одного вида. Различные племена ведут между собою постоянные войны. Общественный инстинкт ограничивается только определенным племенем. Все, что полезно для данного племени, считается нравственным. Общественное мнение племени является руководителем всех поступков его членов. «Добродетели», т.-е. общественно-полезные поступки, совершаемые по отношению к членам своего племени, не только не распространяются на другие племена, но, напротив, поступки прямо противоположного характера считаются хорошими в применении к чужим племенам. «Никакое общество не ужилось бы вместе,—говорит Дарвин,—если бы убийство, грабеж, измена и т. д. были распространены между его членами; вот почему эти преступления в пределах своего племени клеймятся «вечным позором», но не возбуждают подобных чувств за этими пределами. Северо-американский индеец доволен собою и уважается другими, когда он скальпирует человека другого племени; а даяк отрубает голову самого миролюбивого человека и высушивает ее в качестве трофея» [2]).

В зависимости от того, какие качества в данный период развития народа полезны племени, классу, вообще определенному коллективу, они и считаются хорошими, нравственными. Таким образом, общеобязательных нравственных или правовых норм не существует ни в смысле применимости их ко всем людям, ни в смысле их содержания, которое довольно изменчиво.

Каутский проводит различие между нравственными нормами и нравственным чувством. Нравственные нормы—это те или иные пра-

[1]) Дарвин, Происхождение человека, пер. Сеченова, 1871 г., т. I, стр. 91–92.
[2]) Дарвин, там же, стр. 101.

вила, существующие при определенной форме общества; нравственное же чувство, это стремление или побуждение подчинить свою личность благу общества, делать то, что содействует его успеху даже в ущерб личному благосостоянию. Противоположность эгоистических и симпатических чувств вытекает из противоположности между индивидом и коллективом. Из борьбы и противоположности эгоистических и симпатических чувств рождается чувство долга. Так как человек в одиночку жить не может, то естественно «давление» коллектива на индивида. «Конечно, только в том случае можно говорить о чувстве долга,—говорит Каутский,—когда эгоизм и противоположное ему чувство, которое мы будем называть... симпатическим чувством, находятся между собою в противоречии. Там, где они совпадают, где личный интерес и долг составляют одно и то же, не может быть речи о чувстве долга. С другой стороны, без чувства долга невозможно выполнение долга, когда он стоит в противоречии с личным интересом» [1]).

Чувство долга возникло и развилось из чувства солидарности, которое воспитывается веками на основе совместной жизни и борьбы с природой и с другими враждебными племенами, а потом и класеами. «Любовь» рождается из «ненависти», солидарность из вражды. Если бы не было вражды племен между собою, то не развилась и не укрепилась бы солидарность внутри племен. Классовая борьба порождает классовую солидарность внутри данного класса. Сами по себе симпатические чувства еще не об'ясняют ничего ни в поступках и поведении людей, ни определенной их формы. Только данная организации общества об'ясняет нравственные чувства и воззрения, определенные нормы, действующие при данных общественных отношениях. Социальные чувства или общественные инстинкты, как уже было сказано, складывались в жизни людей в силу того, что им приходилось и приходится жить и действовать сообща. Чувство долга есть не что иное, как чувство солидарности между членами данного коллектива. Так как человек на протяжении многих тысячелетий вынужден был подчинять личные интересы интересам определенного коллектива, то естественно, что в нем выработался общественный инстинкт. Поступки в интересах коллектива носят часто инстинктивный характер. По мнению Каутского, нравственное поведение имеет даже у человека ту особенность, что оно является инстинктивным, чем-то таким, чему человек повинуется без размышления. Этот инстинктивный, повелительный характер нашего поведения дает идеалистам основание говорить о сверх'естественном голосе внутри нас, о божественном повелении, руководимом нашими поступками.

У первобытных племен, живущих коммунистической жизнью, личность не отделена от рода или клана или общины. Напротив того, она

[1]) Сб. «Марксизм и этика», стр 78.

является, как выражается Лафарг, составной частью клана. Интересы коллектива превалируют над интересами личности. Идея коллективной солидарности, вытекающей из первобытного коммунизма, конечно, старше, так сказать, идеи личности. Таким образом, можно сказать, что нравственность, поскольку мы будем под ней понимать преданность интересам коллектива, первее «эгоизма». Общественные инстинкты, более могущественны у первобытных коммунистических племен, чем в современном обществе среди буржуазии, например. Дарвин говорит о дикарях, что они имеют в виду лишь социальные добродетели, добродетели же, касающиеся индивидуума, приобретаются лишь на более поздней ступени развития. Общество для дикарей и еще больше для варваров стоит выше всего. Мораль варвара,—говорит Каутский,—по существу та же, что у дикаря, но «общественная зависимость значительно сильнее, благодаря коллективной форме труда и коллективному пользованию главными средствами производства, благодаря развитию военной техники, которая делает войны более кровавыми и совместные действия на войне более необходимыми, благодаря развитию богатства, которое увеличивает поводы к войнам. Ни в одну эпоху мораль не является настолько кровожадной, и общественная дисциплина не является настолько дисциплиною бранного поля, как в эпоху варварства» [1]).

Коллективная форма труда и порождаемые ею общественные связи—вот истинный источник морали. Но так как формы труда, производственные отношения не неизменны, а постоянно изменяются, то вместе с ними изменяются и нравственные воззрения и нормы. В животном мире складываются только определенные инстинкты, чувства, которые в человеческом обществе принимают качественно иную форму—форму нравственного сознания, сознательного подчинения своей личности общему благу. Если человек и приносит из животного мира известные инстинкты, то в человеческом общежитии содержание и направление их целиком определяются формой организации общества. Нравственности не существует в животном царстве. Там существуют лишь определенные бессознательные привычки или приспособления к условиям среды. «Для того, чтобы первичные люди, или обезьяноподобные родоначальники человека, сделались общественными,—говорит Дарвин,—они должны были приобрести те же инстинктивные чувства, которые побуждают других животных жить как одно целое, и без сомнения обладать теми же общими наклонностями» [2]). Но эти общие наклонности, общественные чувства, принимающие характер нравственности на более высокой ступени развития человеческого общества всецело

[1]) Сб. «Марксизм и этика», стр. 119.
[2]) Дарвин, Происхождение человека, стр. 180

определяются по своему содержанию и направлению формой организации общества. В обществе, основанном на частной собственности, нравственным поступком считается уважение к чужому имуществу. Человек, который присваивает себе чужое имущество, поступает в нравственном отношении дурно. Человек подчиняется этому нравственному закону только при определенных общественных условиях, так как в коммунистическом обществе самое понятие собственности отсутствует. Хорошее и дурное поведение не имеет никакого другого источника, кроме общественных отношений. Нет такого нравственного закона, который имел бы «ценность» сам по себе, который был бы применяем всегда и везде. Нравственные законы или нормы теснейшим образом связаны с материальными условиями, в которых живут люди данной эпохи.

Совесть, долг, вообще нравственное сознание—это не что иное, как выражение развившейся на протяжении тысячелетий социальной связи между людьми данного племени, рода, класса, общества на основе коллективного труда. Человек чувствует и сознает свои обязанности по отношению к коллективу, который может вообще развиваться и преуспевать при том условии, если индивид будет действовать на пользу коллектива, от которого в свою очередь зависит его собственная жизнь. Отсюда огромное значение, так наз., общественного мнения данного коллектива. Общественное мнение играет роль руководителя поведением отдельных лиц. Но вместо с тем, на ряду с давлением общественного мнения на поведение индивида, последний руководствуется в своих поступках прежде всего сознанием долга, обязанности, которые не предполагают внешнего принуждения. Человек действует в интересах коллектива непосредственно, в силу привычки или сознания солидарности, единства своего с целым. Человек бессознательно впитывает в себя с детства определенные моральные взгляды и нормы от той общественной среды, в которой он живет. Этим об'ясняется непосредственный и повелительный характер голоса совести, нравственного долга. Поскольку же он сознает свои действия и рефлектирует на них, он приходит к сознанию того, что общее благо выше его личных интересов. Нравственные чувства и нормы являются могучей силой, способствующей общественному развитию. Они не имеют, как было сказано, самостоятельной ценности, так как они всецело определяются условиями общественной жизни; поэтому они сами по себе не могут изменить ни хода общественного развития, ни его направления. Но в рамках данных общественных отношений нравственные нормы, поскольку они соответствуют данным общественным потребностям, являются, подобно всякой другой надстройке, фактором, служащим общественному развитию.

Обращаясь теперь к современному обществу, раздираемому классовыми противоречиями, необходимо прежде всего подчеркнуть, что здесь не может быть и речи о всеобщей нравственности, т.-е. об общеобязательных нравственных законах. Ибо современное общество и в нравственном отношении развивается и не может не развиваться среди противоречий. Мы уже указывали на то, что в классовом обществе нет места поведению, которой было бы нравственно с точки зрения всех классов. О солидарности всего общества можно говорить только там, где нет классов. Говорить же об общественной солидарности в классовом обществе—значит становиться на точку зрения солидарности интересов эксплоататоров и эксплоатируемых, угнетателей и угнетенных. Поэтому классовая борьба пролетариата, будучи, с одной стороны, «безнравственной», поскольку она направлена против господствующих классов, является в высшей степени нравственной как с точки зрения интересов рабочего класса, так и с точки зрения общественного развития. Нечего греха таить, заповеди самопожертвования, солидарности, любви, правдивости и проч., вообще все «простые нравственные законы» не распространяются одним классом на класс другой, ему враждебный. «В самом деле,—говорит правильно Гортер,—изо-дня в день, из года в год они (господствующие классы. А. Д.) отказывают в безусловно необходимом врагам своего класса, рабочим; они ничем не поступаются из достояния своего класса, кроме того, что удается вырвать у них благодаря их страху перед силой рабочих; они не обнаруживают ни малейшей солидарности с рабочими, а налагают на них оковы, когда они попытаются шевелиться, и производят массовые увольнения (почему не массовое избиение и истребление, когда это диктуется их интересами? А. Д.), как было при стачке голландских железнодорожников; по отношению к ним у них нет честности и верности,—они всегда перед избирательными урнами дают обещания, которые не исполняют. И в то же время они проповедуют любовь к ближнему, ко всем ближним!

Напротив, мы из истории знаем, что высоких заповедей морали никогда не соблюдали по отношению к врагу, раз таким образом можно было оказать помощь собственному классу или собственному народу, и мы прямо открыто признаем, что и мы не будем проявлять самопожертвования, солидарности, верности и честности по отношению к враждебному классу, если этого потребует от нас действительное благо нашего класса» [1]).

Марксизм не отрицает существования социальных инстинктов или нравственности, как совокупности определенных правил поведения, в которых обнаруживается самопожертвование, чувство долга, сознание обязанностей по отношению к «ближним». Марксизм только констатирует тот факт, что нравственность в современном обществе носит классовый характер.

Что касается господствующих классов, то, несмотря на громкие фразы о моральных заповедях, которым каждый человек должен следовать, среди них замечается моральный упадок и разложение (так наз. «нравственный солипсизм»), которые диктуются их положением

[1]) Гортер, Исторический империализм, пер. Степанова, 1919 г., стр. 103.

в обществе. Эксплоатация, угнетение, обман, войны и проч. являются необходимыми условиями их существования. В совершенно другом положении находится рабочий класс. «Пролетарская классовая борьба и пролетарское классовое сознание, — как говорит правильно Каутский, — являются этическими факторами высшего разряда не только потому, что они развивают в необычайно высокой степени чувство обязанностей, чувство преданности отдельного лица общему делу всего класса. Пролетариат, как низший слой общества, не может освободиться, не положивши конца всякому гнету, всякой эксплоатации. Поэтому проникнутый классовым сознанием пролетариат, там, где он стал силой, является защитником всех угнетенных, поскольку их интересы не становятся на пути общего социального развития угнетенных классов, угнетенных наций, угнетенного пола. Из этой его исторической роли вырастают для него обязанности, которые лежат вне его непосредственных классовых интересов. Но даже и этим не исчерпывается еще круг тех социальных обязанностей, которые берет на себя борющийся, проникнутый классовым сознанием пролетариат. Он не может освободить себя при сохранении системы наемного труда. Его интересы требуют уничтожения существующей системы собственности и производства; он должен ставить себе высокую социальную цель—и он является в настоящее время единственным классом, который действительно ставит себе подобную цель. Он является единственным революционным классом, т.-е. единственным классом, который не ограничивается мелкой борьбой за интересы дня, но стремится к социальному идеалу; в этом смысле он является единственным классом, которому свойственны идеальные побуждения.

Из классовой борьбы пролетариата вырастает, таким образом, высочайшая моральная сила, беззаветное служение высокому идеалу, и революционная классовая борьба пролетариата является теперь почвой, на которой сходятся все способные к борьбе и жаждущие борьбы идеалисты и других классов—поскольку они еще имеются» [1]).

Далее, Каутский останавливается специально на моральном влиянии на рабочих профессиональных союзов и политической деятельности. «Социалистически-революционный образ мыслей,—говорит Каутский,—подымает также на высшую ступень и политическую деятельность борющегося пролетариата. Где этот образ мыслей отсутствует, где пролетариат мыслит узко-практически, там он рассматривает свой избирательный бюллетень только как ценный товар, который он продает тому, кто больше дает. Где пролетариат мыслит социалистически-революционно, там его политическая борьба есть борьба за принципы. Его борьба ведется против всей общественной системы, которую необходимо поднять на высшую ступень, а не только для достижения частичных выгод. Борьба за эти самые выгоды есть

[1]) Сб. «Марксизм и этика», стр. 138—139.

только средство; целью же является возрождение пролетариата, поднятие его до такого уровня, чтобы он стал достойным своей великой исторической задачи» [1]).

Так писал Каутский в старые года, когда он стоял на революционно-марксистской точке зрения. Действительно, сознательная классовая борьба пролетариата за социализм является источником величайшего героизма, самопожертвования, солидарности, чувства долга и ответственности. Чем дальше пролетариат подвигается в направлении к осуществлению социализма, тем больше проявляются в нем все эти моральные качества. Было бы очень интересно проследить, какое влияние оказало на наш русский рабочий класс последнее десятилетие, в течение которого нормы поведения пролетариата изменялись вместе со всеми условиями жизни. Но эта тема выходит уже за пределы нашей задачи. Во всяком случае одно ясно,—это то, что на наших глазах складывается новая коллективистическая психика, новые коллективные стимулы к труду, словом, новые социалистические нормы поведения. Поэтому Ленин совершенно правильно формулировал коммунистическую нравственность, говоря: «в основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма», «нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, избавиться от эксплоатации труда».

Именно борьба против эксплоатации служит источником солидарности класса эксплоатируемых. Классовая мораль исчезнет или «отомрет» вместе с классовым обществом, вместе с частной собственностью. Все люди образуют тогда единый солидарный коллектив. Личность станет органической частью общественного целого, так как будут устранены классовые противоречия и конфликты. «Нравственность, стоящая выше классовых противоречий и всяких воспоминаний о них, станет возможной при такой степени развития общества, когда не только будет устранена противоположность классов, но когда вместе с ней изгладится ее след и в практической жизни» (Энгельс).

10. Политика и мораль буржуазии.

Вся этика пролетариата, как мы видели, вытекает из его особой исторической роли и подчинена его классовым интересам, которые имеют своей конечной целью уничтожение классов, уничтожение всякой эксплоатации и «отмену» государства. Пролетариат, стремящийся, в силу своего особого положения в современном обществе, к осуществлению социализма, чужд всякого национализма; он стоит на почве интернационализма; в конечном счете его интересы и вытекающие из них сознательные его стре-

[1]) Ibid., стр. 140.

мления направлены к тому, чтобы об'единить все человечество в одно организованное целое.

«Вместе с переходом средств производства в руки всего общества будет устранено товарное производство и, вместе с тем, господство продукта над производителями. Анархия внутри общественного производства заменится планомерной сознательной организацией. Борьба за личное существование прекратится. Только тогда выделится окончательно человек, в точном смысле этого слова, из животного царства, перейдет из зоологических условий существования в действительно человеческое. Все условия жизни, созданные людьми и угнетавшие до сих пор человека, сами подчинятся тогда людям и их контролю, и они впервые явятся сознательными, действительными господами природы, так как будут господами в своем собственном соединенном обществе. Законы их собственной общественной деятельности, которые до сих пор противопоставлялись им, как им чуждые и потому господствовавшие над ними, будут применяться людьми с полным пониманием дела и согласно с их собственными интересами. Подчинение общественной организации, которое им до сих пор как бы навязывалось природой и историей, станет теперь их собственным свободным делом. Об'ективные и чуждые им силы, царившие до сих пор в истории, попадут под контроль самих людей» [1]).

Этому возвышенному идеалу пролетариата противостоит национальная или государственная «идея» современной буржуазии. Марксизм стоит на почве классовой морали, вытекающей из классовой структуры современного общества, но стремится устранить классовые противоречия в целях осуществления единого человеческого общества. Поэтому пролетарская мораль в конечном счете служит интересам общественного развития вообще, она помогает всему человечеству подняться на более высокую ступень. Буржуазия проповедует на словах общеобязательную, вечную и абсолютную мораль, стремясь на деле увековечить все материальные условия, питающие классовую мораль.

Мы не имеем возможности подвергнуть здесь подробному анализу современную фактическую классовую мораль буржуазии. Но сказать несколько слов об этой морали и связи ее с буржуазной политикой считаем все же необходимым. В качестве образца мы берем немецкую буржуазию и ее идеологов эпохи империалистической войны и ее кануна. В общем и целом все, что будет сказано о немецкой буржуазии, применимо и к англо-американской. Последняя только отличается, быть может, большим лицемерием и ханжеством, чем немецкая буржуазия, но на это имеются свои причины, в рассмотрение которых мы входить не будем.

Еще Энгельс (как и Маркс) указывал на то, что «чем более прогрессирует цивилизация, тем более она вынуждена прикрывать ман-

[1]) Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 252.

тией любви созданное ею зло, прикрашивать его или отрицать, словом, ввести общепринятое лицемерие, крайней степенью которого является утверждение, что эксплоатация классов практикуется исключительно в интересах эксплоатируемых классов и т. д.». Разве англо-американская буржуазия, подобно германской, не твердила во время войны, что она стремится только к освобождению порабощенных народов и желает установить на земле мир и согласие?

Германская буржуазия отличалась, быть может, большим цинизмом и брутальностью в преследовании своих интересов, меньшей «утонченностью» в обосновании своих «идеалов». Во всем этом слишком сильно давал себя чувствовать, быть может, симбиоз юнкерства с буржуазией. Но если формы проявления классовой политики буржуазии разных стран были различны, то сущность их была везде одна и та же.

Мы говорим в этой связи о современной буржуазной империалистической эпохе, хорошо сознавая, что буржуазия эпохи просвещения и буржуазных революций имела иное «лицо».

Обращаясь специально к Германии кануна мировой войны, следует прежде всего указать, что идеологом и духовным вождем буржуазной Германии являлся в течение ряда десятилетий Трейтшке, который в своей «Политике» дал философское и этическое обоснование практической деятельности Бисмарка. «Политика» Трейтшке—это настоящий катехизис империализма. На сочинении Трейтшке воспитались почти все политические деятели Германии предвоенной и военной эпохи. «Полубог» Бисмарк, каким его изображает Трейтшке (да и не один Трейтшке), являлся идеалом политического вождя.

Какова же «философия» Трейтшке, или вернее «философия» господствующих классов, идеологом которых является Трейтшке?

Наш «философ» исходит прежде всего из того, что «масса всегда останется массой». Нет культуры без прислуги, т.-е. без рабов. Само собою разумеется, что если бы не было людей, которые выполняют низшие работы, высшая культура не могла бы процветать,—говорит Трейтшке. Отсюда общий вывод: миллионы людей должны трудиться, чтобы несколько тысяч были в состоянии творить культуру [1]). Историю делают личности, герои, государственные мужи и полководцы. Война—это политика по преимуществу. Только в войне народ становится народом, война—радикальное целебное средство против всех зол.

Государство—это личность. Основными задачами государства являются: обнаружение силы во вне и правовой порядок внутри государства. Отсюда две его основные функции: держать граждан внутри государства в определенных границах и охранять их от нападений извне. Для этого требуется армия и юрисдик-

[1]) Heinrich von Treitschke, Politik, I B., 1899 г., стр. 50—51.

ция. Далее мы узнаем, что «без государства нельзя себе мыслить ни собственности, ни порядка в области собственности» [1]). «Понятие собственности вытекает непосредственно из понятия «я». В понятии «я» уже содержится понятие собственности. Понятие собственности лежит в природе человека, в «саморасширении» я, как выражается Трейтшке. Без собственности нет настоящего человеческого существования. У кого нет собственности, у того нет и личности. Он называет Лассаля софистом за его утверждение, что собственность—только историческая, а не логическая категория. Разумеется, Трейтшке, фетишизируя государство, считает, что абсолютного права частной собственности по отношению к государству не существует. Государство устанавливает формы частной собственности. Поскольку речь идет о прошлом, наш политик признает целесообразным и «разрушение» собственности,—напр., секуляризация церковной собственности в XVI в. им оправдывается. Но чем ближе Трейтшке подвигается к современности, тем строже он становится в защите частной собственности. Французская революция совершила по отношению к феодалам преступление: она ограбила господ. «Сомнительные элементы» захватили в свои руки земли, принадлежавшие помещикам.

В дальнейшем Трейтшке полемизирует с плохо им понятым коммунизмом, который стремится-де к разделу имуществ. Но если «разделить» наличное «богатство» между всеми, то получится на долю каждого ничтожная часть. Даже богатая Англия не выдержала бы такого раздела. Все это, конечно, пошлости, достойные нынешних «великих» людей буржуазии.

Приведем еще несколько «теоретических» соображений Трейтшке в пользу неприкосновенности современного общества. Не равенство, а сосуществование крупных, средних и мелких состояний необходимо для здоровья общества, для всестороннего развития его материальных и, разумеется, нравственных сил. В самом деле, раз нет бедности, нищеты, на которых богатые упражняются в области благотворительности, то о какой нравственности с точки зрения буржуа может итти речь? «Если не будет совсем мелких состояний (т.-е. не будь нищеты. А. Д.), то не будет в достаточном количестве рабочих, необходимых нам для удовлетворения наших физических потребностей» [2]). Общество не может обойтись без рабочего класса, который трудился бы из нужды, цинично заявляет Трейтшке. К счастью, присовокупляет он, понятие нужды—относительное понятие...

И характерно, что необходимость «слуг, ночных сторожей», рабочих, вынужденных трудиться из нужды нашим государственный «философам» обосновывается и выводится из идеалистического и этически-христианского миросозерцания. Без этики, христианства и идеализма защитники рабства обойтись не могут. Только современный материализм (Трейтшке, кроме Лассаля, ссылается иногда и на Маркса), который все прекрасное, все ценное видит во внешних благах, может требовать изменения существующего порядка в пользу рабочих, необходимых для удовлетворения наших физических потребностей,—говорит Трейтшке. Ведь достаточно бросить взгляд на нравственный миропорядок, чтобы убедиться, что бог награды добродетели на этой земле не обещает. Христианство преодолело материализм. Если бы добродетель действительно получила «награду» на этой земле, то никакой истинной добродетели вообще не было бы. Это значит в переводе на понятный язык: кто стремится изменить существующие общественные отношения в пользу угнетенных и эксплоатируемых, тот действует против бога, против установленного им нравственного миропорядка. Устранить нищету—значит отнять у бедняка его последнее «утешение», сделать по существу безнравственное и безбожное дело.

Таким образом, первая обязанность государства—держать граждан в узде, т.-е. охранять существующий порядок распределения собственности, защищать собственников от не-собственников; на языке идеологии это значит: защищать культуру и нравственный миропорядок. Для защиты государства, т.-е. класса собственников, от внешних врагов необходимы войны. Войны так же неизбежны, как и эксплоатация. Война такая же логическая категория, как и собственность. И опять-таки только грубые материалисты могут мечтать о вечном мире, об «отмене» государства или об уничтожении эксплоатации. Истинный идеализм и настоящая этика требуют, чтобы человечество вело войны. Без войн нет проявления героизма, а без героизма нет идеализма, нет нравственности.

Основной мотив рассуждений Трейтшке сводится к обожествлению государства. Надо сказать, что идейно это обожествление государства подготовлено было классической немецкой философией,—в особенности Гегелем. Но само собою разумеется, что идеологическое обожествление государства являлось выражением социально-политического процесса консолидации национальной буржуазии в национальное государство. Процесс об'единения Германии сам по себе был, конечно, исторически необходимым и прогрессивным явлением. Гегель уже требовал политики железа и крови в целях создания единого могущественного государственного организма. Еще до выступления Бисмарка на политическую арену в качестве канцлера, писатель Больман [1]) доказывал, что для спасения Германии необходимо, чтобы Пруссия выдвинула воинственного реформатора-князя, как его изображал в своем «Il principe» Макиавелли. «Этот князь,—писал Больман,—будет почитать для себя священным только благо народа внутри государ-

[1]) Ibid., стр. 379.
[2]) Там же, стр. 384.

[1]) K. Bollmann, Verteidigung des Machiavelismus, 1858 г.

ства, но по отношению к другим государствам он не будет знать ни кротости, ни жестокости, ни верности, ни измены, ни чести, ни позора; он будет руководствоваться только идеей единства, величия и независимости отечества» [1]).

В новейшее время в Германии вместе с расцветом буржуазии родилась и окрепла новая чисто буржуазная мораль. Начиная от Гегеля—этого величайшего идеолога буржуазии—и продолжая затем практическими политиками вроде Бисмарка и всевозможными философами и публицистами, как Ницше, друг его Рихард Роте и другими, идет чрезвычайно любопытный процесс эмансипации буржуазии как от христианской, так и от мелкобуржуазной этики Лютера. В течение ряда десятилетий параллельно с социально-политическим ростом буржуазии идет выработка нового миросозерцания, которая завершается «религией» империализма. Что особенно заслуживает внимания в этом процессе, это активное участие в нем теологов, отстаивающих с особой настойчивостью необходимость полного отрицания этики нагорной проповеди. Кто всего этого любопытнейшего процесса не видит, тот ничего не понимает в окружающей действительности.

Вот что пишет теолог Баумгартен об отношении лютеровской морали в современной буржуазной морали: «Нельзя отрицать того, что консервативная политика имеет свои прочные корни в Лютеровском большом катехизисе, который выводил из декалога основы патриархальной, мелкобуржуазной аграрной морали, которая невыполнима для городской индивидуалистической и капиталистической культуры» [2]).

Мы видим на этом примере,—а он не единственный,—как теологи становятся почти... на марксистскую точку зрения в об'яснении даже религиозных форм, когда это диктуется их классовыми интересами. Оказывается, что лютеровская мораль и стало быть христианство вообще не имеет абсолютной и вечной ценности. То учение, которое проповедывал Лютер, удовлетворяет основам патриахального, мелкобуржуазного аграрного государства. Капиталистическая же культура это учение Лютера должна отбросить. Современная буржуазия в ней не нуждается. В качестве слуг капитализма теологи вроде Баумгартена требуют полного отделения государства от церкви и христианской морали. Это значит, что буржуазия абсолютно не должна считаться с этическими нормами, с христианской религией, поскольку речь идет об ее классовых интересах. Религия и мораль вообще суть частное дело граждан.

В своей приватной, частной жизни каждый гражданин должен руководствоваться, разумеется, христианской религией и моралью. Но,

[1]) См. Fr. Foerster, Politische Ethik und politische Pädagogik, 3. Aufl. 1918 г., стр. 182.

[2]) Otto Baumgarten, Politik und Moral, 1916 г., стр. 69.

с другой стороны, оказывается, что «кто действует согласно нагорной проповеди, как говорит наш теолог в речи на тему: «Нагорная проповедь и война», кто ищет в ней нормы своей личной и профессиональной жизни, тот навсегда испорчен для политической деятельности. Ибо он должен действовать тогда даже по отношению к врагу, чужому государству и народу согласно закону любви, которая требует блага другого, блага ближнего. Этике нагорной проповеди необходимо противопоставить этику Бисмарка—этого гения национального государства» [1]).

Можно было бы привести цитаты из работ других многочисленных теологов, защищающих те же идеи, что Баумгартен. В сущности, к этой точке зрения примыкает и Трельтш. Но не будем на этом дальше задерживаться. Для нас было важно подчеркнуть, что идеологи буржуазии, не только светские, но и духовные, фактически выкидывают за борт всякую мораль, когда речь идет о защите интересов государства, т.-е. буржуазии. Но этого мало. Буржуазия не должна считаться ни с какими этическими и правовыми нормами в отстаивании своих интересов перед рабочим классом или перед буржуазией чужой страны. Она остается на почве национального государства и по самому существу капиталистической структуры современного общества она и не может выйти за пределы национального государства, т.-е. за пределы интересов национальной буржуазии. Это очень существенный момент, которого упускать из виду не следует.

Современная буржуазия и ее политическая организация—государство, в связи с экономической эволюцией, пережила уже различные фазы. Сначала она консолидируется в национальном масштабе, ведя борьбу за об'единение национальной территории. Она создает национальное государство. Последняя фаза характеризуется стремлением к разделу всего земного шара, к захвату чужих территорий, главным образом, более отсталых в экономическом отношении народов и проч. Но при всех этих условиях национальные государства ведут между собою постоянные войны за раздел мира, так что речи быть не может об об'единении на основе капиталистического способа производства всех народов. Буржуазия, несмотря на интернационализацию капитализма, остается всегда национальной, и только национальное государство является действительной формой ее об'единения (что, впрочем, не мешает интернациональной борьбе буржуазии с рабочим классом).

Считая недопустимым применение этических и правовых норм по отношению к другим государствам, т.-е. даже к буржуазии чужих стран, т.-е. к своему собственному классу в международном масштабе, национальная буржуазия возводит свои национально-классовые интересы в высший моральный закон. Сущность государства (а под государством всегда следует

[1]) Baumgarten, стр. 34.

понимать организованную в национальном масштабе буржуазию) сводится к власти, к силе, к могуществу. Сила есть право и сила есть нравственность прежде всего потому, что увеличение собственности и территории приобретается, завоевывается силой.

В своей «Политике» Трейтшке доказывает, что так как сущность государства состоит в силе, власти, то высшей нравственной обязанностью человека является служение могуществу государства, т.-е. фактически могуществу класса буржуазии. Выше государства нет ничего на свете, поэтому нет у государства никаких нравственных или правовых обязанностей по отношению к кому бы то ни было. Международные договоры и обязательства имеют силу лишь до тех пор, пока государство считает их для себя выгодными. Разумеется, государство должно ставить нравственные цели, лицемерно замечает Трейтшке. Но ведь мы уже знаем, что высший нравственный закон самого государства—это власть или сила. Если переведем это на простой язык, то это значит политика завоеваний, захвата чужих территорий, угнетений слабых народов, увеличение собственности является высшим нравственным законом, которому обязаны подчиняться все граждане государства.

Но обязанности граждан по отношению к своему государству, т.-е. к своей буржуазии, являются с точки зрения указанных теоретиков также общеобязательным, ибо идеи, которые они развивают относительно своего государства, применимы к государству вообще, т.-е. к каждому государству.

Мы вскрыли фактически действующую мораль современной буржуазии; мы взяли таких ее теоретиков, которые более или менее откровенно высказывают то, что есть. Другие теоретики обволакивают то же самое фактическое содержание буржуазной морали замысловатой, сложной идеологической формой, которой придается всеобщее значение, общеобязательную ценность. Эта всеобщая форма должна прикрывать классовое содержание. Обязанность марксиста разоблачать эту ложь; нет и не может быть общеобязательных законов права и нравственности в классовом обществе. Правовые нормы навязываются подчиненным, угнетенным классам силой. Право собственности, напр., существует вовсе не в силу «общеобязательного» признания его пролетариатом. Нравственные нормы различных классов различны и часто противоположны, ибо они отражают противоречивые общественные отношения. Поэтому тот, кто утверждает существование общеобязательных законов права и нравственности, тот затушевывает истинное положение вещей.

Все, что мы сказали относительно немецких теоретиков буржуазной политики и морали, применимо в общем и целом к буржуазным идеологам и других стран. Разумеется, английская буржуазия и ее идеология ничем не лучше и не хуже буржуазии немецкой «марки». Во время войны в газете «Times» была помещена статья под названием «English hypocrisy and German cynism» («Английское лицемерие и германский цинизм»). В этой статье автор, между прочим, писал: «Фридрих Великий однажды цинично заявил, что в политике он не знает морали. Если бы он эту мысль оставил при себе и, по крайней мере, внешне оказывал дань уважения нравственному закону, то он сберег бы Европе много крови» [1]).

Лицемерие есть дань, которую порок платит добродетели. Несомненно, что лицемерие само по себе при известных условиях становится значительной силой. Может быть, самое большое различие между немецкой и английской буржуазной моралью состоит именно в большей и меньшей степени лицемерия и ханжества. Но существенной разницы между ними нет. Степень же лицемерия особенно ярко выражается в формах идеологии, которым придается абсолютную и общеобязательную значимость, в целях сокрытии истинного содержания и в целях идейного влияния на другие классы, которые данного содержания не приемлют.

Итак, мораль современной буржуазии по своему действительному содержанию сводится к провозглашению государства абсолютной нравственной ценностью. Сущность же государства есть власть, сила. Но власть государства есть власть господствующего класса, власть буржуазии. Отсюда вывод, что эта власть священна и представляет собою нравственную цель, которой все граждане обязаны служить, в которой все люди должны видеть смысл своего существования. Индивидуальная мораль прежних времен превратилась в национально-государственную мораль, которая сливается с интересами буржуазии, как господствующего ныне класса. В эпоху мировой войны национально-государственные предрассудки широко эксплоатировались в целях влияния на массы, на рабочих и крестьян.

Национально-государственная мораль есть современная форма идеологии, прикрывающая классовые интересы и стремления буржуазии. В прежние времена, в эпоху феодализма, напр., личность «непосредственно» подчинялась богу и его заповедям. Церковь и религия играли в общественной жизни руководящую роль. В результате процесса консолидации национальных государств, в эпоху империализма, когда политика национальных государств имеет своей целью раздел или передел мира, государство не только фактически, но и формально, теоретически, идейно подчиняет церковь, христианство и этику своим классовым интересам. Теологи, как мы видели, открыто и цинично издеваются над нагорной проповедью; они поступают на службу к буржуазии и проповедуют религию и этику «патриотизма». Старое христианство лютеровского толка ими отвергается в пользу ничем не прикрытой «религии» капитализма. Одни признают христианство с его заповедями годными разве только для домашнего употребления, но не для государственной жизни; другие же стремятся приспо-

[1]) Fr. Foerster, Politische Ethik etc., стр. 222

собить христианство к требованиям капиталистической культуры, комментируя его в духе, выгодном для капиталистов. Это до такой степени ныне ясно для каждого, кто знаком с соответствующей литературой, что не нуждается даже в особых доказательствах. Таким образом, теоретические взгляды марксизма относительно классовой сущности морали и религии лишний раз подтверждаются современным фактическим положением.

В чем же разница между буржуазной моралью и моралью пролетарской? На этот вопрос мы отвечаем: как та, так и другая носят явно классовый характер. Но по существу они отличаются друг от друга коренным образом. Буржуазии мораль нужна прежде всего для примирения классов. Она требует уважения к чужим правам, имея всегда в виду свои права. Она отстаивает фикцию солидарности там, где в действительности существует противоположность интересов. Пролетарская мораль прежде всего не знает национально-государственных ограничений. Она интернациональна. Она стоит на почве солидарности пролетариев (и по существу всех угнетенных) всего мира, защищая общность их интересов. С другой стороны, современная пролетарская мораль «служит разрушению старого эксплоататорского общества и об'единению всех трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов»,—как говорит Ленин. Словом, в основе пролетарской нравственности лежит борьба за коммунизм. Пролетарская нравственность служит, словом, для того, чтобы «человеческому общесту подняться выше», избавиться от эксплоатации и всяческого угнетения. Далее, пролетарская мораль в корне отвергает всевозможные «фетиши», которые, с одной стороны, ведут к обожествлению, а с другой стороны, к прикрытию морали чисто идеологическими формами. Пролетарская мораль непосредственно связана с классовыми интересами рабочих, с исторической ролью пролетариата в развитии человеческого общества, отражая более высокую ступень этого развития.

При таком положении вещей спрашивается, о каких общеобязательных законах права и нравственности в современном обществе может итти речь, когда моральные и правовые воззрения пролетариата прямо противоположны моральным и правовым воззрениям буржуазии? Кто стоит на почве этих общеобязательных законов, тот фактически стремится к установлению союза между буржуазией и пролетариатом. В действительности, нет никакой реальной почвы для общеобязательных законов нравственности и права. Кто желает преодолеть классовую мораль, тот должен стремиться к преодолению классов, тот должен встать на точку зрения классовой морали пролетариата.

Пролетарская мораль со всеми заключенными в ней элементами будущего стоит несравненно выше всякой буржуазной морали, как по своему фактическому содержанию, так и по своим историческим тенденциям.

(Продолжение следует).

Диалектика у Ленина и народники.

(В свете современных споров вокруг диалектики).

В. Егоршин.

Многочисленные атаки против диалектики заставляют обратить внимание на историю развития и борьбы за диалектику как за метод познания и действия и как за науку об общих формах движения и их связях. В этой истории особое значение имеет тот ее период, когда теория диалектики силами марксистов проникала в русскую литературу, когда еще происходил процесс кристаллизации русского марксизма. Здесь, конечно, должны быть упомянуты две крупнейшие фигуры, вошедшие в великую сокровищницу всего международного марксизма—Плеханов и Ленин, особенно последний.

В виду того, что детальное изучение Ленина во всем его великом об'еме является крайне важной для всякого марксиста задачей, задачей в некоторых областях еще только-только поставленной,—я в настоящей статье ограничусь характеристикой диалектики у Ленина, как она была представлена, главным образом, в его первых, т.-е. антинароднических, работах. Здесь мы находим много чрезвычайно важных методологических высказываний, разбросанных по различным специальным статьям, при чем эти высказывания нередко бьют прямо в лицо тем псевдо-марксистам, которые теперь хотят примирить диалектику с по существу враждебными ей методами. Мы увидим, что Ленин уже в 90-х годах, не имея еще особенно большой философской подготовки, уже тогда боролся за такие идеи, которые потом различными ревизионистами оспаривались и оспариваются до сих пор.

I.

Тот период, который рассматривается сейчас мною, был периодом формирования русского марксизма, т.-е. периодом, необычайно трудным для марксистов. Русская марксистская литература почти отсутствовала, если не считать эмигрантских изданий плехановской группы «Освобождение труда». Русские марксисты не были об'единены и не имели своих печатных органов. В № 1 «Русского Богатства» за 1894 г. Михайловский полемизировал с марксистами, которые обращались к нему с частными письмами, или, даже хуже, с марксистами, с которыми ему приходилось встречаться лично.

Насколько существовала несогласованность во взглядах у отдельных марксистов, видно из тех писем, которые цитирует Михайловский. Некоторые марксисты разражались гневом против тех интеллигентов, которые отправлялись в деревню «кормить крестьян» (вообще вопрос об отношении к крестьянству был тогда центральным вопросом всех интеллигентских дискуссий). Эти марксисты считали, что кормить крестьян,—значит препятствовать процессу созидания капитализма в России. Эти воззрения давали народникам повод кричать о «буржуаизме» русских марксистов.

Напротив, были марксисты, которые возмущались обвинениями народников в том, что они стоят за разорение крестьян и говорили, что они, марксисты, всеми силами стремятся к тому, чтобы уменьшить ряды безработных пролетариев (босяков) посредством превращения их в самостоятельных хозяев. Были марксисты, называвшие себя «идеалогами» трудящегося класса.

При такой разноголосице,—при чем каждая группа марксистов всех несогласных с ними называла «ненастоящими» марксистами,—Михайловскому и его коллегам необычайно облегчался труд дискредитации русского марксизма. Это обстоятельство нужно учесть, когда мы хотим оценить историческую роль Ленина, впервые выступившего с настоящим марксизмом при описанной обстановке.

В то время легально выступал «от имени марксизма» Струве. Струве при этом печатно заявил, что в отношении своих философских взглядов он с ортодоксией не согласен, а философские основания марксистской теории он считает шаткими и непроверенными на фактах (см. «Критические заметки»). Такие заявления «марксиста» приводили, конечно, к немалой путанице у публики.

Плеханов, признавший фразу Струве «пойдем на выучку к капитализму» неудачной, ничего не оговорил в отношении философских высказываний Струве. И этим поспешил воспользоваться Михайловский [1]).

Точно также Михайловский приветствовал замечание Булгакова, где он «отмежевывался от материалистического понимания истории» [2]).

Он очень быстро освоился в различии взглядов ортодоксов и ревизионистов и начал - было наживать себе на этом капиталец.

В. В. точно так же проницательно различал в русском марксизме «демократическое» и «буржуазное» течение. «Заслуга струвизма,— читаем мы у В. В.,—заключается в том, что, пытаясь создать идеологию для новой буржуазии и обратившись для этого к социологической и экономической системе Маркса, истрепав в клочки это знамя современного немецкого демократизма, ища в нем опоры для российского капитализма, он окончил тем, что по существу оперся на Мальтуса и Листа, «с некоторыми соображениями из Рошера», а подливку к этому существенному содержанию предлагаемого яства состряпал из терминов Маркса. По крайней мере, всем угодил: и пава, и ворона» (В. В. Немецкий социал-демократизм и русский буржуаизм,—«Неделя» 1894, №№ 47—49).

На мальтузианство Струве указывал и Николай—он [3]).

В. В. считает, однако, что и «демократический» марксизм, верный и применимый в Западной Европе, у нас, в России, об'ективно служит лишь капиталистической буржуазии.

Таким образом, всему марксизму приходилось считаться с таким обвинением, которое было столь же неосновательным, сколь оно веским казалось для демократической тогдашней интеллигенции.

Другого рода затруднение, поставленное историей на пути марксизма, состояло в том, что враги его признавали отдельные стороны марксистского учения с тем, чтобы сильнее обрушиться на другие стороны. Между народниками существовало своего рода разделение функций: те писатели, которые хотели «уничтожить» теорию исторического материализма, готовы были признать общефилософ-

[1]) См. «Русское Богатство» 1895, № 1.
[2]) См. «Русское Богатство» 1897, ноябрь.
[3]) «Русское Богатство» 1895, март.

ский материализм (в вульгаризированной форме), ниспровергатели материалистической философии не возражали против экономической теории Маркса. И, наконец, некоторые писатели, специализировавшиеся на уничтожении диалектики, признавали «неоцененной заслугой» Маркса то обстоятельство, что он в своем взгляде на историю «подчеркнул могучее влияние экономического фактора в истории народов» [1]).

В это-то время выступили Ленин [2]) и Плеханов [3]). Подпольная книжка Ленина, направленная против народников, осталась, конечно, без ответа в официальной литературе, книга же Плеханова вызвала целую бурю негодований и придирок. Ниже мы увидим характер антимарксистских выступлений по существу; здесь же не лишне только отметить ту необычайно надменную форму, в какой отвечали народники Плеханову. В самом деле, народники до сих пор считались общепризнанными «друзьями народа», демократами, кумирами интеллигенции, ветеранами освободительного движения. А тут вдруг выступают молодые, новые люди, никому не известный Бельтов и нелегальный аноним (Ленин), со всей страстью обрушивающиеся на авторитетов «передового общества».

Народнические литераторы даже немного жалели смелых «начинающих» авторов, за которыми они признавали некоторый талант.

Так, например, у Плеханова-Бельтова Н. Кудриным отмечались («дружеское» указание «в интересах же начинающего автора») «крайне развязный тон, с каким он говорит о людях, основательно заслуживающих уважения и потрудившихся на пользу русской мысли, и вечное желание остроумничать, вернее балагурствовать».

Н. Кудрину, по его словам, было «жалко и стыдно» за Плеханова-Бельтова. Он советовал бросить Плеханову этот «марксизм в присядку» [4]).

Кто стоял, по мнению народников, за марксистское понимание исторического процесса? Исключительно молодые люди, только потому, что они молодые. Должны-де они итти против отцов. По той же причине, говорили они, среди этих молодых находятся и толстовцы, и декаденты, и ницшеанцы.

Молодые задорные марксисты казались чересчур непримиримыми. Они не соглашались ни на какие теоретические компромиссы. Стоило лишь марксисту Струве (в 1894 г.) отойти на полдюйма от ленинского понимания марксизма, так Ленин обрушивается и против Струве. Ленин прослеживает самые истоки позднейшего ревизионизма, бернштейнианства, экономизма и меньшевизма и своевременно ударяет обухом по пальцам этих уклонистов. Вся позднейшая история полностью подтвердила правильность принципиальной непримиримости революционных марксистов. Струве кончил очень плохо: от марксизма он отошел к монархическим кадетам, но в 1895 году у него были весьма небольшие теоретические разногласия с Лениным. Нередко решительность Ленина к таким как будто незначительным «оттенкам» марксистской мысли была непонятна даже людям, относящимся к нему сочувственно.

[1]) Житловский (Н. Г.), Материализм и диалектическая логика» («Русск. Бог.» 1898, № 7, стр. 100).
[2]) Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов. (Ответ на статьи «Русск. Богатства» против марксистов). Появилось в 1894 г.
[3]) К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. (Ответ гг. Михайловскому, Карееву и Комп.). Появилось в 1895 г.
[4]) «Русское Богатство», 1895, май.

Любопытно, как сам Ленин оценивал свою раннюю непримиримость 90-х годов позднее. В 1907 году он писал: «Старая и во многих отношениях устарелая полемика со Струве имеет значение поучительного образчика. Образчик этот показывает практическую политическую ценность непримиримой теоретической полемики. За излишнюю склонность к такой полемике и с «экономистами», и с бернштейнианцами, и с меньшевиками упрекали революционных социал-демократов бесчисленное число раз... У нас очень любят говорить о том, что чрезмерную склонность к полемике и к расколам имеют русские вообще, с.-д. в частности, большевики в особенности... С этой точки зрения очень небесполезно посмотреть на то, что было десять лет тому назад, какие теоретические разногласия со «струвизмом» намечались уже тогда, из каких небольших (на первый взгляд небольших) расхождений произошло полное политическое размежевание партий...» [1]).

Об этом не лишне вспомнить именно теперь, когда многие «марксисты» хотят внести некоторые «поправки» в марксистскую диалектику. Со всеми такими «исправителями» надо сейчас бороться так же решительно, как в девяностых годах Ленин боролся со Струве и др.

II.

Прежде, чем приступить к характеристике диалектики у Ленина, я позволю себе остановиться на тех приемах борьбы с марксизмом и с диалектикой в частности и в особенности, которые применялись народниками. С этими приемами полезно познакомиться еще и потому, что сейчас наблюдается также борьба против диалектики, и в этой борьбе порой «марксисты» прибегают к повторению приемов уже избитых благодаря энергии народников 20—30 лет тому назад.

Так Михайловский, доказывая несостоятельность теории исторического материализма, прокурорским тоном заявлял, что эта теория родилась в недрах «гегельянской философии», следовательно, «она родилась вне науки», «несмотря на всю эрудицию ее творцов» («Рус. Бог.» 1894, январь).

Другой автор находил, что Энгельс, «к сожалению, не сумел окончательно освободиться» от фантазий Гегеля, фантазий, которые, дескать, сам Энгельс называет дикими и лихорадочными» [2]).

Последний автор, специализировавшийся на уничтожении диалектики, брал под защиту материализм и в длинных рассуждениях доказывал, что диалектика не совместима с материализмом [3]).

Следовательно, неправильно было бы думать, что народники не соглашались с марксизмом только по линии материализма. Очень часто они занимали позу метафизического, механического материализма и воевали против «гегелевской» диалектики, как против идеализма.

Житловский брал на себя даже задачу оберегать марксизм от... гегельянщины. Он писал:

«Они (доводы диалектики против законов формальной логики) в значительной степени возможны только на почве гегелевского идеализма (курсив мой. В. Е.) и теряют всякий смысл на почве современных воззрений, не исключая и марксизма» [4]).

[1]) Сочинения Ленина, т. VIII, стр. 474—475, по I изд.
[2]) Житловский (Н. Г.), Материализм и диалектическая логика, «Русск. Бог.» 1898, № 7, стр. 98.
[3]) Та же статья, в № 6, стр. 59.
[4]) Статья Житловского (Н. Г.) в «Русск. Бог.» 1898, № 7, стр. 84.

Диалектика есть нечто такое, что вызывает недоумение у народника Житловского. Только сумасшедший маньяк, по его мнению, может следовать за диалектическими «красотами». Как Маркс и Энгельс, которых он склонен уважать, могли «передержаться» на Гегеле,—этого он никак не мог понять. Ведь диалектика отрицает абсолютное значение логического закона противоречий.

«Мы это отрицание,—говорит он,—находим не только у Фихте, Шеллинга и Гегеля, которым такие вещи все-таки более или менее к лицу (!), но и у Маркса и Энгельса, прямо заявляющих, что «каждая вещь и существует и не существует в одно и то же время» [1]).

Х. Житловский далее подчеркивает, что все философы не-гегельянцы единодушно отрицательно относятся к логике противоречий, прервав с диалектиками «всякие философские отношения».

«После заявлений диалектиков,—читаем мы далее,—самым серьезным образом утверждающих, что «все существует и не существует», не диалектикам, на первый взгляд, пожалуй, ничего не оставалось делать, как только махнуть на них рукой как на сумасшедших маниаков, нисколько не смущаясь тем, что к числу этих «маниаков» одно время принадлежала вся передовая мыслящая Германия» [2]).

Другой диалектикоед Делевский о принципе противоречий писал: «Начало противоречия, принимаемое диалектикой, заключает в себе нечто прямо-таки мистическое» [3]).

Следующее рассуждение Делевского вводит нас уже в среду нас окружающих теперь критиков диалектики.

Разбирая диалектический закон отрицания, Ю. Делевский находит его «просто мало вероятным», потому что он, во-первых, вносит в природу «чрезмерную правильность», а, во-вторых, он незаконно говорит о высших и низших формах развития, как о чем-то об'ективном. Делевский считает, что понятия «высших» и «низших» форм суть чисто суб'ективные категории, относящиеся к сфере целесообразности и содержащие антропоморфический элемент [4]).

Если сравнить это рассуждение с современными механистскими рассуждениями о категории качества, как о суб'ективной категории, то мы найдем абсолютное совпадение.

Но народники не ограничивались лишь одним законом отрицания отрицания.

В антропоморфизме, в суб'ективизме писатели «Русского Богатства» обвиняли Энгельса и Плеханова по всем положениям диалектики [5]).

Возьмем пример, приводимый Энгельсом и Плехановым, относительно роста овса. Любопытно, как подходят к этому диалектическому примеру народнические писатели. Посмотрите,—говорят они,—что делают диалектики с зерном овса. Биллионы зерен гибнут и не произрастают. Только те зерна, которые попадают в нормальные условия, дальше следуют закону отрицания отрицания. Почему, спрашивают, выделяются только некоторые, произрастающие зерна? Что значат «нормальные условия»? Все это—суб'ективно, все это основано на антропоцентризме марксистской диалектики.

То же самое и с другими примерами диалектики.

Делевский называл диалектику «черной и белой магией» [6]).

[1]) Статья Х. Житловского в «Русск. Бог.» 1898, № 6, стр. 60.
[2]) Там же.
[3]) Ю. Делевский, Диалектика и математика. («Русск. Бог.» 1902, VI, стр. 146).
[4]) Там же, стр. 146—147.
[5]) См. статьи Б—ского и Н. Кудрина в указанном журнале.
[6]) См. ст. Ю. Делевского, «Русск. Бог.» 1905, VIII, стр. 105.

Все эти обвинения диалектики в суб'ективизме, в идеализме и т. п. основаны на непонимании этими господами сущности диалектики. Они и понятия не имеют, что означает принцип единства об'екта и суб'екта, кладущийся в основу методологии диалектическим материализмом. Они знают только суб'ективизм и голый, абстрактный об'ективизм. Ниже мы увидим, что писал по этому вопросу, хотя и в другой связи, В. И. Ленин.

Сейчас же упомянем еще другие приемы полемики народников с диалектическими материалистами. Марксистскую теорию они объявляли «схемой», чуждой действительной жизни, догматической, априорной конструкцией, шаблонной, поверхностной, односторонней, ругали ее за ее «простоту», «ясность», ругали ее приверженцев как «умственно отсталых людей» и т. д. и т. п. [1]).

Марксисты обвинялись в том, что они свои взгляды лишь декретируют, а не доказывают, нигде не обосновывают. Они требовали, чтобы Маркс или его ученики систематически обосновали свою, например, историческую теорию, с критическим рассмотрением всех других теорий исторического процесса и с проработкой массы фактов всемирной истории. У марксистов, по мнению народников, в области философии истории нет никакой эрудиции.

Михайловский, как известно, выступил с таким утверждением (сопоставляя отдельные даты и цитаты), что в то время, как Маркс и Энгельс пришли к «экономическому материализму», они сами были недостаточно сведущи «именно в экономической теории».

В ответ на утверждение Плеханова-Бельтова о том, что марксисты пришли к своим выводам о капиталистическом развитии России после об'ективного анализа существующих экономических явлений, народники ехидно спрашивали: а где, позвольте вас спросить, обретаются труды русских марксистов с таким анализом? Короче, народники обвиняли марксистов в верхоглядстве, в предвзятости, в строгом следовании известной «точке зрения» [2]).

Тот, кто внимательно следит сейчас за теоретической литературой, тот знает, что все обвинения и приемы полемики, применявшиеся народниками по адресу марксистов во главе с Марксом и Энгельсом, снова повторяются по адресу современного поколения марксистов, так наз. «деборинцев». «Ничто не ново под луною»...

Чтобы закончить характеристику придирок народников в связи с современными придирками, я укажу еще на одно обстоятельство. Теперь начинает входить в моду для некоторых критиков противопоставлять одних учителей и вождей марксизма другим: Ленин, более чем это возможно, противопоставляется Плеханову, Плеханов противопоставляется Энгельсу, Энгельс—Марксу [3]). Особенно важным, особенно козырным является, конечно, противопоставление Энгельса Марксу, не имеющее, конечно, под собою решительно никакой почвы. Несмотря на это, враги марксизма делают подобные попытки, и эти попытки также не новы: известно, что сам Михайловский занимался этим «плодотворным» занятием. Именно Энгельса он признавал менее критическим умом, не столь творческим, как «умный и ученый» Маркс. Поэтому-де Энгельс склонен к «догматизации» положений Маркса и к «преувеличению» отдельных мыслей последнего («Рус. Бог.» 1894, январь).

[1]) См. ст. Михайловского и Ветринского в «Русск. Бог.», № стр. 11.

[2]) См., например, еще статью Николая—она в «Русск. Бог.» 1895, март

[3]) Все эти умные «исследования» так или иначе связаны с работниками в недрах Тимирязевского Института.

Мы видели, что марксистской теории пришлось встретиться с обвинениями во всех смертных грехах. Ее обвиняли в отступлении от материализма, в передержке на Гегеле, в мистике, в антинаучности и т. д., и т. п. [1]). Забавнее всего то, что эти обвинения приходится слышать от архипутанных людей, у которых нет никакого цельного мировоззрения. И, однако, этим не устраняется затруднение в широком распространении марксизма.

В заключение я приведу один аналогичный казус из истории специально ленинизма. Ленина не раз обвиняли его противники в услужении капитализму. Всем известна роль германского запломбированного вагона в 1917 году. Но и ранее приходилось Ленину встречаться с тягчайшими и столь же необоснованными обвинениями в самых различных областях.

Случай, о котором я хочу здесь напомнить, относится к области теоретической экономии. Всем известно, что не может быть теоретика, более непримиримого к капитализму и к его защитникам, чем Ленин. И, однако, эклектики находили к чему можно заносчиво придраться и у Ленина и брали на себя смелость обвинения Ленина в буржуазной апологетике.

Отстаивая в борьбе с народническим романтизмом возможность развития капитализма в России, Ленин видел в этом, прежде всего, необходимое условие для победоносного рабочего движения. Он в своих ранних экономических работах («Заметки к вопросу о теории рынков» и «Развитие капитализма в России»), вопреки народническим декламациям, утверждал в полном согласии с учением Маркса, что реализация в капиталистическом обществе возможна. Защищая это положение, Ленин рисковал навлечь на себя обвинение в буржуазном апологетизме, в преувеличении исторической прогрессивности капитализма, в подрыве об'ективной неизбежности социалистического переворота.

И, действительно, противники Ленина в один голос назвали его апологетом.

В самом деле, никто другой как Струве писал в 1899 г.: «Ильин излагает буржуазно-апологетическую теорию», «Ильин апологетически-буржуазную теорию Сэя-Рикардо приписал Марксу» («Научное Обозрение» 1899, кн. I). Через пять лет, в 1905 г., с аналогичным обвинением против Ленина выступил теоретик меньшевизма, Плеханов (в примечании к новому изданию «Наших разногласий»). С этой поры в меньшевистской литературе при всяком случае повторялось это традиционное обвинение Ленина в тенденции к бернштейнианской теории притупления классовой борьбы и органического развития к социализму» [2]).

От этого обвинения меньшевики не отказались и после Октябрьской революции. Так, в 1918 г., в № журнала «Рабочий Интернационал», посвященном меньшевиками 100-летней годовщине со дня рождения К. Маркса, А. Мартынов брал за одну скобку и Ленина, и ревизионистов, Булгакова и Туган-Барановского.

«Стремясь в споре с народниками доказать, что капитализм может беспрепятственно развиваться в России, марксисты Ильин (Ле-

[1]) Вывод, к которому окончательно приходит Житловский в «Русск. Бог.», таков: «Философски она (диалектическая логика) не обоснована, для науки излишня, на практике более вредна, чем бесполезна, а, стало быть, во всех областях не выдерживает критики» (Цит. журн., № 7, стр. 103. Подчеркнуто в подлиннике).

[2]) См. Сочинения В. И. Ленина, т. II, стр. XXIX и сл. по 3-му изд.

нин), Булгаков, Туган-Барановский в 90-х годах в своих статьях о теории рынков и теории кризисов, сильно перегибая лук, замазывали как-раз те наиболее глубокие социальные противоречия, свойственные капитализму, на которые неоднократно указывали Маркс и Энгельс» (статья А. Мартынова «Марксизм в России»).

Это один из любопытнейших образчиков исторического маскарада. Вернейшему ученику и продолжателю идей Маркса бросается обвинение в отступлении от марксизма и в отказе от социальной революции. Надобно отметить, что подобное же отношение к позиции Ленина можно найти и у Р. Люксембург (см. «Накопление капитала»).

Нечего, конечно, и говорить, что все эти обвинения Ленина в апологетике вздорны. Ленин только отстаивал подлинно марксову теорию реализации, справедливо считая ее, во-первых, единственно научной и, во-вторых, подлинно-революционной, приводящей к об'ективной неизбежности крушения капитализма на основании его собственных законов развития. Ленин, как марксист, как диалектический материалист, не боится признать даже историческую прогрессивность капитализма и возможность его развития у нас, в России, потому что это он считал фактически верным, отвечающим реальной действительности, которую только и должна отображать всякая наука. Ведь если бы марксисты стали отрицать эти факты, их бы стали выдвигать подлинные апологеты капитализма, которым нужно было доказать не только неизбежность капитализма, но и его вечность. Ленин, как диалектик, видит свою задачу в другом: он, без страха признавая об'ективные факты, доказывает, что капитализм неизбежно погибнет от внутренних противоречий, несмотря на то, что реализация в капиталистическом обществе возможна. В самом деле, даже при идеально-гладком и пропорциональном воспроизводстве и обращении всего общественного капитала неизбежен рост противоречий между производством и потреблением и неизбежна замена капитализма социализмом [1]).

Таким образом, внешняя «уступка» Ленина (уступкой это является лишь с точки зрения слепых противников Ленина) лишает апологетов капитализма последней лазейки: у них выбивается из рук и такое оружие, как учение о реализации. Только для слепых могут показаться тождественными взгляды Ленина, с одной стороны, и взгляды Булгакова, Тугана, с другой. Но, с другой стороны, Ленину, как диалектику, нечего было бояться признать факты, которые названные «критики» незаконно фетишизировали и возводили в абсолют.

Все эти исторические справки помогут правильно подойти и к современным обвинениям Энгельса и его последователей в витализме со стороны ретивых механистов. Диалектика утверждает господство и полную победу материализма над идеализмом и витализмом, несмотря на признание качественного своеобразия жизненных процессов. Признавая это своеобразие относительным (в отличие от виталистов), диалектика в то же время выбивает из рук витализма его оружие, которым он незаконно пользовался против материализма.

III.

Обратимся теперь к выяснению принципов диалектики у Ленина. Прежде всего следует оговориться, что Ленин в девяностых годах еще мало уделял внимания чисто-философским вопросам. Только в

[1]) Ср. II том Ленина, стр. 437 и сл. по 3 изданию.

самом конце девяностых годов он засел за изучение истории философии, начав с XVIII века. Занятия Гегелем и специально теорией диалектики, как известно, у него приходятся уже на второе десятилетие XX века. Когда же он писал, главным образом, против народников, он в философии признавал весь авторитет Плеханова, считая себя его учеником.

2 сентября 1898 года из с. Шушенского Ленин писал А. Н. Потресову: «Обратили ли Вы внимание в «Русском Богатстве» на статью Н. Г. (в двух последних книжках) против «материализма и диалектической логики» [1]). Преинтересны ведь — с отрицательной стороны. Я должен сознаться, что некомпетентен в поднятых автором вопросах, и меня крайне удивляет, почему это автор «Beiträge des Geschichte на то, что действительность рассматривалась им «только в форме des Materialismus» [2]) не высказывался в русской литературе...» [3]).

В том же письме В. И. Ленин просил Потресова прислать ему статью Плеханова о Гегеле, напечатанную в «Neue Zeit».

В следующем году, в связи с вопросом о неокантианстве, он писал тому же Потресову: «Очень хорошо сознаю свою философскую необразованность и не намерен писать на эти темы, пока не подучусь. Теперь именно этим и занимаюсь, начавши с Гольбаха и Гельвеция и собираясь перейти к Канту. Главнейшие сочинения главнейших классиков философии я достал, но неокантианских книг не имею» [4]).

Эти факты я привожу совсем не для умаления роли Ленина в ту эпоху. Наоборот, нам станут после этого еще более удивительными те гениальные наброски диалектической методологии, которые оставил нам Ленин от того периода. Значит, все то, что писал Ленин тогда, формулируя и применяя важнейшие принципы диалектики, это он писал на основании почти одного знакомства с сочинениями Маркса и Энгельса (которых он, конечно, знал тогда превосходно), в то же самое время не копируя их, а применяя к новым фактам и новым областям общественной жизни.

Выше я говорил о путанице противников марксизма в вопросе о суб'ективности и об'ективности категорий диалектики. Остановимся на подходе Ленина к этим вопросам.

Струве, выступая против суб'ективизма народников, стал на точку зрения об'ективизма, но об'ективизма абстрактного, совершенно оторванного от суб'екта. Именно, Струве говорил о существовании «непреодолимых исторических тенденций, которые, как таковые, должны служить, с одной стороны, исходным пунктом, с другой — обязательными границами для целесообразной деятельности личности и общественных групп».

Ленин по этому поводу говорит: «Это — язык об'ективиста, а не марксиста (материалиста)». Следовательно, материализм Маркса не сводится к абстрактному, абсолютному, об'ективному. Это именно и характеризует диалектический материализм, в отличие от старого метафизического материализма. Маркс в тезисах о Фейербахе указывал как на недостаток старого, до-диалектического, материализма, на то, что действительность рассматривалась им «только в форме» об'екта или в форме созерцания, а не как чувственно-человеческая деятельность, не в форме практики,

[1]) Статья Х. Житловского.
[2]) Г. В. Плеханов.
[3]) Ленинский сборник, изд. Института Ленина, IV, 1925, стр. 8.
[4]) Письмо от 27 июня 1899 г., там же, стр. 33.

не суб'ективно. Поэтому (случилось то, что) действенная сторона в противоположность материализму, развивалась идеализмом».

В другом тезисе Маркс подчеркивает эту разницу еще отчетливее: «Философы лишь различным образом о б ъ я с н я л и мир, но дело заключается в том, чтобы и з м е н и т ь его».

Ленин в разграничении «об'ективизма» и «материализма» говорит о том же самом. «Об'ективист говорит о необходимости данного исторического процесса; материалист констатирует с точностью данную общественно-экономическую формацию и порождаемые ею антагонистические отношения. Об'ективист, доказывая необходимость данного ряда фактов, всегда рискует сбиться на точку зрения апологета этих фактов; материалист вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет свою точку зрения... Таким образом, материалист, с одной стороны, последовательнее об'ективиста и глубже, полнее проводит свой об'ективизм... С другой стороны, материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы» [1]).

Ленин точно предвидел будущую эволюцию Струве, которая была только прототипом эволюции всех теоретиков II Интернационала, оправдывавших и империалистскую войну и империализм вообще. Методологические корни оппортунизма заложены в подобном «об'ективизме». «Об'ективизм» и «материализм» Ленина суть синонимы материализма метафизического и диалектического. Только в последнем детерминизм не исключает человеческих действий, а дает почву для разумного действования, для и з м е н е н и я мира.

Наши теперешние механисты не хотят или не способны понять этой диалектической постановки вопроса о единстве об'екта и суб'екта. Не признавая никаких качеств, кроме электронов, считая все остальное ненаучной феноменологией, они скатываются к голому, абстрактному, сухому, мрачному об'ективизму, который давно осудил Ленин.

Другой вопрос, который освещался Лениным в борьбе с народниками, и который также является сейчас злободневным, это—вопрос о реальности вида, класса, общества и т. д.

Реально ли общество? Или реальны только отдельные личности? Механисты теперь отрицают реальность всяких видовых и родовых категорий. Я могу им напомнить, что никто другой, как народники, во главе с П. Л. Лавровым, так именно относились к обществу.

По мнению П. Л. Лаврова, «реальны лишь личности», а «общество представляет не более, как формулу для удобного обобщения процессов, в них совершающихся или ими совершаемых» [2]).

Так же представлял себе дело и Михайловский.

Ленин в 1894 г. вразумлял Михайловского, что диалектика требует, чтобы общество рассматривалось «как живой, находящийся в постоянном развитии организм (а не как нечто механически сцепленное и допускающее поэтому всякие произвольные комбинации отдельных общественных элементов)» [3]).

Никто из диалектиков, конечно, не рассматривает общество реально существующим в виде особого индивида, помимо отдельных особей,—оно существует как реальная совокупность реальных личностей. В этом смысле общество есть живой организм, говоря словами Ленина, а не мертвый аггрегат отдельных элементов.

[1]) В. И. Ленин, Сочинения, т. I, стр. 288, по 3-му изд.

[2]) Лавров-Арнольди. Задачи понимания истории, 2-е изд. СПБ, 1903, стр. 125—126.

[3]) В. И. Ленин, Сочинения, т. I, стр. 84, по 3-му изданию.

Суб'ективные, т.-е. идеалистические, социологи оказывались механистами. Ленин так характеризовал такого мыслителя, имея в виду лично Михайловского: «Философ этот чисто метафизически смотрит на общественные отношения, как на простой механический аггрегат тех или других институтов, простое механическое сцепление тех или других явлений». Так, народнический культуртрегер советует (цитата из Михайловского): «брать хорошее отовсюду, откуда можно», именно, поясняет Ленин, «от средневековых форм «взять» принадлежность средств производства работнику, а от новых (т.-е. капиталистических) форм «взять» свободу, равенство, просвещение, культуру».

Суб'ективный метафизик думает, что средневековые или капиталистические формы общества состоят из суммы кирпичиков, которые можно свободно перекладывать из одного здания в другое.

«Но ведь это же значит не изучать общественные отношения, а уродовать подлежащий изучению материал», справедливо возмущается Ленин: отдельное явление представляет собой лишь одно из звеньев тех или иных производственных отношений, составляющих ту или иную общественную формацию.

Диалектический метод Маркса, по словам Ленина, обязывает смотреть на общество, «как на живой организм в его функционировании и развитии» [1]). Характерным же свойством организма является то, что он не разделяется просто механически на части [2]).

Народники, «изничтожавшие» марксизм, были механистами не только во взгляде на общество. Они механистически смотрели на природу и на естествознание.

Так, Л. Зак, в «Русском Богатстве» полемизировавший с марксистами и с самим Энгельсом, считал необходимым сводить «всю совокупность естественных наук» к теории молекулярного движения [3]).

Всем известны далее злоупотребления народников со средними статистическими цифрами.

В 80-х годах «народолюбивые» интеллигентские писатели продолжали попрежнему рассуждать о крестьянском хозяйстве, как о таковом, выражать его благосостояние в средних цифрах и обсуждать значение разных практических мероприятий по отношению ко всему крестьянству. Крестьянский мир привыкли рассматривать как нечто цельное, однородное.

Применять метод средних величин к изучению крестьянства, конечно, можно, но нельзя при этом забывать о различиях внутри крестьянства. Эти различия не только количественные, но и качественные. Это неоднократно повторял Ленин в ранних своих работах.

Уже в самой первой известной нам работе «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни» (1893) В. И. Ленин определенно настаивает на дифференциальном изучении отдельных групп крестьянского населения. Средние цифры, конечно, можно полу-

[1]) См. Сочинения Ленина, т. I, стр. 105, по 3-му изданию.

[2]) Ср. след. слова Энгельса, тогда не известные, конечно, Ленину: «Часть и целое, это — категории, которые недостаточны уже в органической природе» (Арх. М. и Э., кн. II, стр. 13). «Организм ни прост, ни составной, как бы он ни был сложен» (там же, стр. 17).

[3]) Л. Зак, Исторический материализм («Русск. Бог.» 1895, I).

чить,—но они нисколько не характеризуют основные процессы в сельской экономике. Например, такая официальная цифра, что крестьянами Таврических уездов куплено 96.146 дес. земли, может, конечно, быть переведена на среднюю величину участка, купленного каждым крестьянским двором, но этот результат не может никак характеризовать явления: почти вся эта земля находится в руках незначительного меньшинства, наиболее обеспеченного уже надельной землей крестьян «зажиточных» [1]).

Или, например, говоря, что в Днепровском уезде к аренде прибегает 56 проц. крестьян, мы даем очень неполное представление об этой аренде, потому что в тех группах крестьянства, которые недостаточно имеют своей земли, процент арендаторов гораздо ниже, между тем как высшая группа, вполне обеспеченная землей, почти вся прибегает к аренде.

Кроме того, на один арендующий двор приходится далеко не одинаковое количество арендованных десятин: высший разряд арендует в 30—15—24 раза больше низшего. Но и этого мало. Оказывается, что низшие группы платят за землю дороже (иногда вчетверо) сравнительно с высшим разрядом.

Из этих количественных различий Ленин выводит и различие качественное. В самом деле, в то время как в низших группах крестьянства аренда земли есть операция, вызванная горькой нуждой, в высшем разряде аренда—коммерческое предприятие [2]). Если оставаться на чисто-количественной точке зрения, то ясно, что эти существенные различия будут упущены, и мы придем к целому ряду ошибок.

Приводя эти соображения, Ленин следовал книге В. Е. Постникова «Южно-русское крестьянское хозяйство» (М. 1891 г.), значительно отличавшейся от массы выходивших в то время народнических изданий. Но Ленин не удовлетворяется формулировками Постникова, такими как «огромное разнообразие» положения отдельных слоев крестьянства, дифференциация» и т. д. Такие термины,—говорит Ленин,—«недостаточны для полной характеристики явления». Если один крестьянин имеет одну штуку рабочего скота, а другой—10, если один арендует десятки десятин земли сверх обеспечивающего его надела, с единственной целью извлечь доход из ее эксплоатации, и тем лишает другого крестьянина возможности арендовать землю, в которой он нуждается для прокормления своей семьи, если, далее, высшие группы крестьян основывают свое хозяйство на разорении низших, если зажиточное крестьянство в значительной степени пользуется наемным трудом, а бедное вынуждается прибегать к продаже своей рабочей силы, то перед нами уже не только дифференциация, не только «рознь» и «борьба экономических интересов» (Постников), а здесь мы имеем прямую эксплоатацию, т.-е. резко-качественные отличия различного типа крестьянских хозяйств. Так Ленин и формулирует: «Это уже, несомненно, качественные различия», и задачей дальнейшего экономического исследования (в отличие от Постникова), он ставит группировать крестьянство уже по различиям в самом характере их хозяйства, т.-е. не по количественным различиям, а по качественным [3]). «Раз признано, что между отдельными хозяйствами замечаются различия не только количественные, а и качественные, является уже безусловно необходимым разделять крестьян на группы, отличающиеся не «достатком», а общественно-экономическим характером хозяйства» [1]). Таким качественными группами крестьянства у Ленина являются: бедняки, середняки и зажиточные.

[1]) См. Ленин, Сочинения, т. I, стр. 11, по 3-му изданию.
[2]) Там же, стр. 12.
[3]) Там же, стр. 27—28.

В своем замечательном произведении «Что такое друзья народа» Ленин ополчается на Кривенко по тому же самому поводу. «Несомненно, — говорит он, — хозяйство крестьянина, живущего исключительно своим земледельческим хозяйством и держащего батрака,—по типу отличается от хозяйства такого крестьянина, который живет в батраках и от батрачества получает $^3/_5$ заработка» [2]).

В статье «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве» Ленин так характеризует дифференциацию крестьянства в пореформенной России. «Дело не ограничивается созданием одного только ему известного неравенства: создается «новая сила — капитал» [3]). «Несомненно, что возникновение имущественного неравенства есть исходный пункт всего процесса,—пишет далее Ленин в «Развитии капитализма в России»,—но одной этой «дифференциацией» процесс отнюдь не исчерпывается. Старое крестьянство не только «дифференцируется», оно совершенно разрушается, перестает существовать, вытесняемое совершенно новыми типами сельского населения» [4]). Эти новые типы—сельская буржуазия и сельский пролетариат.

Чисто-количественные деления (например, по размеру достатка) не могут нас привести к понятию о классовом расслоении. Потому, что голое количество не говорит нам, с какого момента начинается буржуазия. Здесь совершенно необходимо привлечь категорию качества.

Закон диалектики о превращении количества в качество часто превратно понимается в том только смысле, что все различие качеств обусловлено числовыми, количественными различиями.

Это толкование, само-по-себе верное, недостаточно. Тот же закон утверждает, что количественные изменения на известной ступени переходят в качественные изменения. Значит, дело не ограничивается одними количественными изменениями, как это хотелось бы многим плоским эволюционистам и реформистам.

Если же в закон вложить только первое толкование, то мы получим пифагореизм, а не диалектику.

Так это и оценивалось известным диалектикоедом, Ю. Делевским, писавшим, что гегелевский закон превращения количества в качество, означающий, что «в основе различных свойств вещей лежат различные числовые отношения», на самом деле был отрыт уже... Пифагором [5]).

Делевский не понял гегелевского закона, извратил его, а потом начал наводить справки, кто его открыл. Наши механисты теперь не лучше понимают этот закон, чем Делевский,—только они боятся (впрочем, не все) открыто признать, что они Гегеля подменяют Пифагором.

[1]) Там же, стр. 48—49.
[2]) Там же, стр. 130 и сл. О полной «фиктивности» «средних» цифр Ленин много писал и в своем «Развитии капитализма в России» (III т.), и в статье «Кустарная перепись» (II т., стр. 247).
[3]) Там же, стр. 359. «Новая сила». Подчеркнуто мною.
[4]) Т. III, стр. 127, по тому же изданию. Подчеркнуто мною.
[5]) «Русск. Бог.» 1905, VIII, стр. 106.

Ленин дает в своих первых экономических работах правильное, не пифагоровское толкование закона превращения количества в качество.

Где метафизик видит пустое абстрактное тождество, там диалектик Ленин видит конкретные специфичности. Если, как мы видели, Ленин признает реальность общества, как определенной исторической формации, то столь же решительно отвергает он абстрактное понятие общества вообще. И здесь метод Ленина прямо противоположен методу народников, субъективистов и механистов.

С точки зрения народников, социология должна была трактовать об обществе вообще, о целях и сущности общества вообще. Цель общества народнические социологи видели в доставлении выгод всем его членам, поэтому социология Михайловских начиналась с картины некоего идеального общества (с «утопии», по словам самого Михайловского), к которому и нужно стремиться подогнать наше реальное общество.

В силу этого ни о каком развитии общества не может быть и речи. Речь может итти только о различных уклонениях от «желательного», о «дефектах», случившихся в истории благодаря недостатку просвещения и благодаря непониманию требований человеческой природы. Вот придут умные люди, подлинные цивилизаторы и осуществят подлинно-разумные порядки.

Ленин, отстаивая марксизм, отказывается говорить об обществе вообще, подчеркивая, что Маркс в «Капитале», который, не понимая, хвалили народники, говорит только об одной конкретной общественно-экономической формации, именно о капиталистической. Основная идея Маркса, по словам Ленина, заключается в том, что общественно-экономические формации последовательно сменяют одна другую, что развитие общественно-экономической формации есть естественно-исторический процесс. Там, где народники видели однородность, тождество (общество вообще), Ленин, в полном согласии с Марксом, видит многообразие, смену одной формации другой, или, короче, процесс развития. Если «социология» народников сводилась к ребячьей морали, то марксизм видит свою задачу в подлинном изучении этого процесса развития во всей его сложности [1]). Нельзя применять общие мерки для различных формаций. Нельзя переносить категории капитализма в докапиталистические формации, как нельзя это делать с категориями механики по отношению к прочим формам движения.

П. Л. Лавров, однако, например, считал, что и изготовление каменного топора, и гипноз психолога, и приемы красноречия адвоката, и, наконец, приемы ловли добычи, употребляемые инфузорией,—все это следует назвать техникой. И это принцип механистический, а не диалектический [2]).

Диалектика отвергает пустое абстрактное тождество, с другой стороны, она отвергает и абсолютное различие. Короче, она стоит на точке зрения конкретного единства с чертами различия, она стоит на точке зрения единства в различии.

Народники грешили и против принципа единства. Возьмем тот вопрос, на котором останавливается Ленин: абсолютно ли различны

[1]) См. «Что такое «друзья народа», Соч. В. И. Ленина, т. I, стр. 58—59, по 3-му изданию.

[2]) П. Л. Лавров-С. С. Арнольди, Задачи понимания истории, 2-е изд., СПБ 1903, стр. 4.

фабрика, с одной стороны, и мелкобуржуазное производство, с другой стороны?

Народники исходили из того эмпирического факта, что фабрика, это—одно, а кулаки, ростовщики и скупщики, это—другое: именно фабрика, это—капиталистическое предприятие во главе с капиталистом, тогда как купец, скупающий товары у кустарей и крестьян, представлял собой «народное производство», омраченное лишь подлостью оного купца. Только очевидный крупный промышленный капитализм народники считали капитализмом.

Ленин, возражая против этого, говорит, что фабрика не есть нечто абсолютно новое, оторванное от простого товарного (мелкобуржуазного) производства. Нелепостью он объявляет противопоставление «капитализма»—«народному строю». «Крупнобуржуазное производство на «фабрике»,—говорит Ленин,—прямое и непосредственное продолжение мелкобуржуазного производства в деревне, в пресловутой «общине» или в кустарном производстве... «Фабричная форма», это—не более как развитое товарное производство, а развилось оно из того неразвитого товарного производства, которое мы имеем в крестьянском и кустарном хозяйстве» [1]) (Курсив Ленина).

Следовательно, и фабрика, и крестьянское и кустарное хозяйство не есть абсолютные противоположности, а такие противоположности, которые составляют в то же время некоторое единство, причем одно происходит из другого. Все эти рассуждения, очевидно, можно применить ко всякого вида качествам.

Цельное знание о какой-нибудь вещи можно получить только тогда, если не ограничиваться поверхностью явлений, если вглядеться в их сущность, в их источник, в их связи и опосредствования. Следовательно, узкий эмпиризм не достаточен для полного познания реальной действительности.

В узком эмпиризме Ленин обвиняет народников, которые без критического разбора употребляют такие термины, как «капитал», тогда как их нужно употреблять лишь после обобщения наблюдаемых фактов в экономическом законе.

«Жизненная задача тех, кто не удовлетворяется участью рядового крестьянина,—приобретение капитала. Так говорит (в трезвые минуты) народник. Тенденция русского крестьянства—не общинный, а мелкобуржуазный строй. Так говорит марксист.

Какая разница между этими положениями? Не та ли только, что один дает эмпирическое бытовое наблюдение, а другой—обобщает наблюдаемые факты в политико-экономический закон?» [2]).

Эмпирик останавливается на поверхности явлений, не вглядываясь в сущность, в его источник и принимая за сущность лишь внешность. Ленин со всей энергией восстает против такой узости, которая может привести к идеалистической абстракции.

В качестве примера можно остановиться на критике Лениным Струве и его разбора народничества. Народники больше всего шумели о самобытном экономическом развитии России. Не зараженный диалектическим материализмом, Струве на этом основании и выдвигает эту теорию в качестве «сущности» народничества. Оставаясь всего лишь на поверхности явлений (идеологических явлений), Струве

[1]) Экономическое содержание народничества, т. I, стр. 364—365, по 3-му изд.

[2]) Там же, стр. 271. Подчеркнуто мною.

далее утверждает, что источниками («основными»!) этой теории являются: 1) учение о роли личности в истории и 2) убеждение в специфическом национальном характере и духе русского народа.

В отличие от этого Ленин от идей обращается к экономическим отношениям (э т о—сущность и источник теоретических идей) и говорит: «Сущность народничества—представительство интересов производителей с точки зрения мелкого производителя, мелкого буржуа... «Источник» народничества—преобладание класса мелких производителей в пореформенной капиталистической России» [1]). Таким образом Ленин не останавливался на разрушающей критике народнической теории: он дает ей политическую квалификацию и подыскивает для нее социальный базис.

Он, в качестве будущего вождя пролетарской партии, говорит о необходимости разрыва с «мещанскими идеями социализма», являющимися мелкобуржуазными идеями, которые становятся только еще более реакционными оттого, что они выступают в качестве «социалистических» теорий.

Но, раз усвоив основную мысль, а именно, что у народников на деле нет ничего социалистического, Ленин ставит следующий теоретически - практический вопрос: как следует отнестись рабочему классу и его авангарду к этой мелкой буржуазии и ее программам? И на этот вопрос Ленин отвечает диалектически: к мелкой буржуазии у пролетариата должно быть двойственное отношение сообразно двойственному характеру этого класса. Класс мелкой буржуазии в капиталистическом обществе является и прогрессивным, поскольку он выставляет общедемократические требования (требования буржуазной демократии), и он же является реакционным, поскольку он старается «задержать, повернуть назад общее развитие страны», выдвигая требования вроде неотчуждаемости наделов и т. п. [2]).

Ленин одинаково считает неправильным игнорирование как одной, так и другой стороны класса мелкой буржуазии. Эта основная черта ленинизма, неведомая тогда даже Плеханову, ясно обрисована была Лениным еще в 1894 году.

Представителями интересов мелкой буржуазии Ленин считал народников. «Поэтому,—писал он в 1895 г.,—народник в теории точно так же является Янусом, который смотрит одним ликом в прошлое, другим—в будущее, как в жизни является Янусом мелкий производитель, который смотрит одним ликом в прошлое, желая укрепить свое мелкое хозяйство, не зная и знать ничего не желая об общем экономическом строе, и о необходимости считаться с заведующим им классом,—а другим ликом в будущее, настраиваясь враждебно против разоряющего его капитализма» [3]).

Как известно, эти строки Ленина направлены против легального «марксиста» Струве, склонного огульно отрицать всю экономическую программу народничества, а не одну только ее половину. Ленин устанавливает, что «отвергать всю народническую программу целиком, без разбора, было бы абсолютно неправильно. В ней надо строго различать ее реакционную и прогрессивную стороны» [4]). Реакционной стороной народничества являются его предложения привязать крестьянина к земле (неотчуждаемость наделов) и т. п. Но у того же народничества, с которым Ленин вел беспощадную теоретическую

[1]) Там же, стр. 283.
[2]) «Что такое друзья народа»,—Сочинения, т. I, стр. 189, по 3-му изданию.
[3]) Экономическое содержание народничества, т. I, стр. 378, по тому же изд.
[4]) Там же, стр 378—379.

борьбу,—не менее, а более беспощадную борьбу, чем ту, которую вел Струве,—«есть и другие пункты» (самоуправление, знания народу, дешевый кредит, улучшение техники и т. д., и т. п.), которые марксистам, по словам Ленина, надлежит не только принять, но и провести их точнее, глубже и дальше.

Тут Ленин резко отмежевывается от либералов и от появившихся затем либеральных социал-демократов, выдвигая на первый план свою гениальную идею, получившую позднее форму союза рабочих и крестьян. Уничтожающе споря с народниками, разоблачая их реакционность, Ленин в то же время пишет, что народники ближе стоят к истине, «вернее и лучше указывают подобные (общедемократические), безусловно желательные, меры», чем буржуазные публицисты типа А. Скворцова (к которому тогда же был чрезвычайно расположен «марксист» Струве).

Этого мало. Ленин, как всегда, доводя все вопросы до полного уяснения и приводя их к классовым соотношениям, говорит, что это требование,—поддержка демократических требований народников,—«вовсе не случайно вытекает из личного настроения тех или других «марксистов», а необходимо определяется положением и интересами представляемого марксистами рабочего класса» [1]).

На п о л о ж и т е л ь н ы е черты и стороны народничества Ленин вновь (уже задним числом) указывал в 1907 г. (в предисловии к сборнику «За 12 лет» [2]). Если в 1895 г. Ленин теоретически видел в народничестве «революционно - демократическое течение в стране, переживающей канун буржуазной революции», то теперь, после революции 1905 г., можно было это теоретическое положение видеть оправдавшимся на практике. Здесь оно нашло свое практически - политическое отражение в «левом блоке» на выборах во Вторую Думу, и в «левоблокистской» тактике вообще, приводившей в негодование многих меньшевиков.

В своем антинародническом произведении «Что такое друзья народа» Ленин подробно останавливается на истории народничества в России. Эта история, по - Ленину, была историей перерождения. Именно, вначале народничество было гораздо более положительным фактором, но в нем были заложены такие противоречия, которые диалектически привели к половинчатым «друзьям народа» из «Русского Богатства».

Как же совершался, по - Ленину, этот диалектический процесс перерождения народничества? В первоначальном своем виде р е в о л ю ц и о н н о е народничество имело достаточно - стройное коммунистическое мировоззрение. Оно верило в коммунистические инстинкты русского крестьянина, живущего особым «общинным» укладом; поэтому старое народничество смотрело на крестьянство, как на прямого борца за социализм. Это была довольно стройная схема, которая, однако, очевидно, нуждалась в дальнейшей теоретической разработке, с одной стороны, и в практической проверке путем соответствующей политической работы, с другой.

Развитие народничества шло в обоих этих направлениях. Теоретическая работа была направлена, главным образом, на изучение общины, той формы землевладения, которая считалась началом коммунизма. Идя по этому пути и собрав огромнейший фактический материал, народнические исследователи уходили все далее и далее от точ-

[1]) Там же, стр. 380.
[2]) Сочинения Л е н и н а, т. VIII, стр. 475, по 1 изд.

ного изображения всей совокупности экономических, производственных отношений в деревне. Увлекшись этими детальнейшими исследованиями форм землевладения и не имея в руках подлинно-научного метода для подхода к сложным общественным явлениям, народники, не рассмотрев из-за деревьев леса, сосредоточили свое внимание на вопиющих безобразиях в положении крестьянства именно в области земельного вопроса (малоземелье, высокие платежи, бесправие крестьянского сословия), совершенно игнорируя экономическую структуру самой деревни. В результате народничество, желая быть защитником интересов хозяйства, угнетенного малоземельем и т. д., оказалось защитником «интересов того класса, который держал в руках это хозяйство, который один только и мог держаться и развиваться при данных общественно-экономических отношениях внутри общины», т.-е. класса мелкой буржуазии [1]).

Таким образом, стремясь к полному устранению эксплоатации и к созданию социалистического общества и не владея при этом «твердой теорией о методе в общественной науке», т.-е. не владея марксистской теорией исторического материализма, народничество принялось за теоретическое изучение того института (общины), который, по его схеме, и должен был бы послужить основанием и оплотом для социалистического общества. В результате этого оно пришло к выработке програмы мелкой буржуазии, которая, на общем фоне развивающегося капитализма, уже не имеет ничего общего с социализмом [2]).

Такова диалектика развития народничества по линии теоретической, как ее наметил Ленин.

Такое же диалектическое перерождение претерпело народничество и по линии практической. Не останавливаясь на этом подробно, мы укажем лишь те этапы, через которые прошло народничество, бывшее вначале революционным.

Вера в коммунистические инстинкты мужика приводила к «хождению в народ». Убедившись в наивности такого представления о мужике, народники устремились на борьбу с правительством уже без участия крестьянства.

Осуществляя террор во имя социализма, народовольцы еще держались теории о готовности народа для социализма, но беспочвенность и такой политики привела в конце концов к тому, что теперь в 90-х годах «друзья народа» превратились в простых радикалов, борющихся за политическую свободу.

И с этой стороны, следовательно, «работа привела к результатам, прямо противоположным ее исходному пункту». И здесь от крестьянского революционного социализма народничество перешло к радикальной буржуазной демократии [3])

Таким образом, конечным пунктом ленинского анализа всех категорий, получаемых из опыта, было указание на развитие, исходя из принципа единства противоположностей.

К малейшим вопросам Ленин нередко применял принципы диалектики, и притом главнейшую роль у него, пожалуй, играл принцип единства противоположностей. Взять хотя бы вопрос (очень важный тогда) о взаимоотношении интеллигенции и рабочего класса. Можно было тогда встретить горы рассуждений о том, кто кого должен вести за

[1]) См. «Что такое друзья народа», Сочинения В. И. Ленина, т. I, стр. 178-179, по 3-му изданию.
[2]) Там же, стр. 179.
[3]) Там же, стр. 180.

собой, рабочие интеллигентов, или наоборот. Ленин разрешает этот вопрос опять-таки диалектически: по его словам, роль «интеллигенции — при правильной постановке социал-демократической работы, сводящейся к организации пролетариата, роль «интеллигенции» при этом условии должна сводиться к тому, чтобы сделать ненужными особых, интеллигентных руководителей. Другими словами, социал-демократические интеллигенты организуют рабочих, но в результате этой организации рабочие должны «эмансипироваться» от интеллигенции. На поставленный вопрос мы получаем не сплошной ответ по принципу «да-да, нет-нет», а ответ диалектический: «да-нет, нет-да».

Эта-то самая противоречивая логика и приводила в особое негодование всех врагов марксистской диалектики. Журнал «Русское Богатство» был очень богат различными статьями, «уничтожающими диалектику». И больше всего в этих статьях уделяется внимания принципу противоречия.

В апрельской книжке «Русского Богатства» за 1895 год появилась большая статья некоего И. Б—ского, посвященная критике произведения Энгельса «Анти-Дюринг». Эта статья содержит столько путаницы и невежества, что она может составить честь многим из теперешних механистов.

Так, например, не понимая, о каких противоречиях говорит Энгельс, совершенно не понимая и не зная Гегеля, шустрый Б—ский понимает противоречия чисто в субъективном смысле и потому кривляется по тому поводу, что Энгельс в одних случаях сам ищет противоречий, в других случаях обвиняет в противоречии Дюринга. Как будто, если Б—ский, путаясь в трех соснах, противоречит самому себе, то марксист должен признать это верхом диалектики!

Диалектику критиковали народники много, с усердием, заслуживающим лучшего применения. Разобрать некоторые образцы такой критики, которая нашла неполное отражение в марксистской литературе, и составляет мою последнюю задачу.

IV.

Критика диалектики направлялась, главным образом, на разбор отдельных примеров, приводимых Энгельсом в «Анти-Дюринге». От общей теоретической критики наши старые противники воздерживались, полагая, что в такой критике диалектика, как противоречащая обывательскому «здравому смыслу», не нуждается.

Больше всего подвергался рассмотрению пример с противоречивостью движения.

Парадокс Зенона о движении стрелы до последнего времени не сходил со страниц философской и математической литературы. При этом лучшим подтверждением трудности безукоризненного об'яснения процесса движения, с точки зрения формальной логики, может служить то обстоятельство, что парадокс Зенона с этой точки зрения до сих пор не разрешен.

Энгельс в «Анти-Дюринге» писал: «Само движение есть противоречие; уже даже простая механическая перемена места может осуществиться лишь таким образом, что тело в один и тот же момент находится в одном месте и в то же время в другом месте, что оно находится и не находится в одном и том же месте. И постоянное осуществление и одновременное разрешение этого противоречия и есть движение».

Ю. Делевский считает это рассуждение совершенно неправильным. Посмотрим, как аргументирует этот наиболее образованный из народников анти-диалектик. «Время может быть, — говорит он,—

наглядным образом представлено в виде бесконечной линии, каждая точка которой представляет мгновение. Пространство и время изменяются непрерывно; движение, как процесс пространства во времени, также непрерывно и наглядно изображается траекторией, т.-е. линией движения, каждая точка которой соответствует определенной точке первой линии, которую мы назовем линией времени. Любой части траектории соответствует строго определенная часть линии времени; любой геометрической точке первой линии соответствует определенная точка второй. При этом следует принять во внимание, что точка коррелативна точке; элемент—элементу; но никоим образом точка не может соответствовать элементу, и наоборот. В противном случае противоречие неизбежно...

Деление любого, сколь угодно малого элемента—времени или пространства—может быть проведено до бесконечности. Мы приходим к тому, что в течение бесконечного числа мгновений тело находилось в бесконечном числе точек, но что в каждое мгновение оно было в в о д н о й, и т о л ь к о о д н о й (курсив подлинника. В. Е.) соответственной, строго определенной точке».

«Но в этой точке,—продолжает Делевский,—тело находится в течение м г н о в е н и я б е з п р о д о л ж и т е л ь н о с т и (подчеркнуто Делевским), в течение н у л я в р е м е н и (подчеркнуто им же). Следовательно, если тело, находящееся в этот момент в определенной точке пространства, можно считать неподвижным, то эта неподвижность продолжается нуль времени, т.-е. она невозможна [1]).

Вот все аргументы Ю. Делевского против противоречивости движения. Далее он сам говорит, что мгновение без всякой величины, которым он оперировал для ликвидации противоречия, как и точка без протяжения, суть только «идеальные и предельные об'екты» «Бремя не может быть разложено на мгновение без продолжительности, как линия не может быть разложена на точки без протяжения» [2]).

Последнее соображение Ю. Делевский приводит, как новый аргумент против диалектики, не замечая того, что он этим разрушает все логическое здание, построенное им ранее для об'яснения движения, и подтверждает как раз противоречивый характер движения. Легко видеть, что он, якобы устраняя противоречивость движения, сохраняет противоречие в своей решающей фразе: в т е ч е н и е н у л я в р е м е н и, в т е ч е н и е м г н о в е н и я б е з п р о д о л ж и т е л ь н о с т и тело находится в определенной точке. У него получается здесь, что нуль времени тоже течет, он оперирует понятием «мгновение без продолжительности», забывая, что время—и есть сама продолжительность. Противоречие в самом времени заключается уже в том, что оно как бы состоит из отдельных моментов, «мгновений», будучи в то же время непрерывным. Этого противоречия совершенно не разрешил Ю. Делевский.

Другой теоретик «Русского Богатства», Х. Житловский, хотел опровергнуть Энгельса в этом вопросе, подходя несколько с другой стороны. Он приводит известную уже цитату из «Анти-Дюринга» о противоречивости движения и далее говорит: «Его (Энгельса) толкование должно быть, конечно, понято в том смысле, что в с е тело находится в одном месте и в то же время в другом. Но если это так, если оно в с е м и с в о и м и ч а с т я м и находится в одном месте, то его равновременное пребывание в другом месте представляет собой несомненное возникновение из ничего, ибо откуда же ему

[1]) Ю. Д е л е в с к и й, Диалектика и математика («Русск. Бог.» 1902, VI, стр. 148).
[2]) Там же, стр. 150.

попасть в это другое место? Из первого? Но ведь тело еще не оставило своего прежнего места, так как еще находится в нем. А когда тело оставляет свое первое место, оно не может в то же самое время и оставаться в нем просто потому, что это пребывание в старом месте было бы опять-таки равносильно возникновению из ничего» [1]).

Притязательный критик думал этим уничтожить Энгельса, но что же он этим показал? Только то, что движение действительно невозможно, если оставаться в рамках формальной логики.

В самом деле, если признать, вслед за Делевским, что каждой точке линии времени будет соответствовать определенная точка линии пространства, то такое параллельное сосуществование двух линий нисколько нам не об'яснит движения. Мы можем лишь повторить вопрос г. Житловского: почему тело переходит по линии от точки к точке? Линия г. Делевского есть застывшая линия, которая есть след движущейся точки. Процесс самого движения здесь устранен: Делевский считает, что он устранил противоречие. На самом деле он устранил противоречие вместе с самим движением.

Можно пытаться опровергать Энгельса и исходя из других соображений, как это, например, делал А. Богданов. Я ограничусь только что сказанным, так как в мою задачу не входит разбирать здесь теории Богданова.

Уже самый факт появления многоразличных подходов к этой проблеме показывает все неблагополучие формальной логики в этом вопросе.

С вопросом о механическом движении тесно связан и вопрос об изменении вообще. И здесь Житловский хочет опровергнуть положение Энгельса о том, что живой организм есть в каждое мгновение то и, вместе с тем, не то, что оно есть. Посмотрим, как он это делает. Он вместо организма берет пламя, и относительно его он рассуждает следующим образом: «Пламя в каждое новое мгновение действительно состоит из других вещественных частиц, чем в предыдущее, но так как эти частицы вещества обладают теми же свойствами, что и предыдущие, то пламя остается тем же пламенем... Оно поэтому остается тем, что оно есть лишь постольку, поскольку... и т. д. Оно сделалось другим лишь постольку, поскольку... и т. д.». Другими словами он своими рассуждениями подтвердил диалектику Энгельса.

Умный Житловский, сражавшийся в целых двух книжках «Русского Богатства» против диалектики, а потом выпустивший отдельную книжку, гораздо беспомощнее, чем его собрат по оружию, Делевский. В отдельных вопросах он открыто сознается в своем бессилии. Например, вопросу о бесконечности и ее диалектике он посвящает такие строки:

«Что касается бесконечности, то приходится сознаться, что мы, в самом деле, не знаем, как обстоит с ней дело в действительности». Только что признавши свое бессилие, автор пытается высказать все же свою точку зрения: «Наука, по нашему мнению,—говорит он,—не совсем неправа, когда ограничивается лишь конечными явлениями, оставляя небо бесконечности den Philosophen und den Spatzen» [2]).

Останавливаться на несостоятельности этого «аргумента», являющегося свидетельством о бедности, здесь незачем.

Остановимся еще на одном примере, приводимом Энгельсом: это на вопросе о диалектике в дифференциальном исчислении.

[1]) «Русск. Бог.» 1898, № 7, стр. 94. Курсив подлинника.
[2]) «Русск. Богатство» 1898, № 7, стр. 97.

В основе высшей математики лежит понятие производной. Это, как известно, есть предельное отношение двух величин, одновременно стремящихся к нулю. Эта операция дифференцирования является, по Энгельсу, противоречивой, т.-е. она не может быть обоснована с точки зрения формальной логики.

Делевский и здесь, конечно, встает на защиту формальной логики в целом [1]). Символ $\frac{0}{0}$, говорит он, не есть противоречие, а неопределенность, которую и раскрывает высший анализ. К этому одному и сводится аргументация Делевского. Неопределенность символа $\frac{0}{0}$ раскрывает математика, но какими методами? Методами дифференцирования; т.-е. в результате противоречивой, по Энгельсу, операции мы получаем вполне определенное число или функцию. Но определенность результата и не думал отрицать Энгельс.

Что же доказал Делевский? Ровно ничего. Дифференцирование есть нахождение предела отношения двух бесконечно убывающих величин. Эти бесконечно малые величины - отличны от наших обычных конечных величин, но они и не нули, ибо от деления нуля на нуль мы никогда не получим определенного результата. Дифференцирование есть не простое деление, где мы имеем дело с постоянными величинами, а это есть деление sui generis, где делимое и делитель бесконечно стремятся к нулю!

Неясность и необычность этой операции хорошо сознавал Лагранж, цитату из которого приводит Делевский, - себе самому на посрамление. Точно так же против Делевского говорит и другой, приводимый им же «аргумент»,—что на противоречия операции дифференцирования указывали противники Ньютона и Лейбница в их время. Это говорит только о том, что изобретатели дифференциального исчисления явно переступали границы, дозволенные формальной логикой, и бессознательно пользовались более общей логикой диалектической.

В заключение нужно сказать, что если некоторые примеры, на которых иллюстрирует Энгельс законы диалектики, действительно несовсем удачны (например, получение из $+a$ отрицанием отрицания $+a^2$), то огромное большинство примеров совершенно правильны, и они Ю. Делевскому остались совершенно не понятными.

Перейдем теперь к другому кругу вопросов, именно к критике теории исторического материализма, но опять-таки к критике с диалектической стороны.

Делевскому, конечно, совершенно недоступно диалектическое понимание категорий причинности и связанной с ней категории взаимодействия.

Диалектический материализм признает взаимодействие различных общественно-исторических факторов, но взаимодействие в его понимании не есть плюрализм; он предполагает примат некоторой конечной определяющей причины, например, в области истории—примат производительных сил.

Сочетание взаимодействия и примата не возможно усвоить, если не принять во внимание, что диалектический материализм не тождественен с абсолютным детерминизмом—фатализмом, что необходимость в диалектическом понимании не есть однообразная, абстрактная, серая необходимость, необходимость одного порядка. Есть необходимость первого порядка, определяющая процесс в его общем

[1]) Ю. Делевский, Диалектика и математика («Русск. Бог.» 1902 г., VI стр 156).

виде. Этот процесс может обрастать совокупностью более мелких явлений, несущественных для процесса в целом; эти явления, являющиеся побочными ветвями, подчинены необходимости второго порядка, т.-е. они случайны. Они, безусловно, оказывают влияние на весь процесс в целом, не изменяя, однако, его сущности.

Состояние производительных сил есть основная пружина истории. Оно определяет, в конечном счете, все надстройки и идеологии. Последние, однако, могут иметь свою закономерность и оказывать обратное влияние на состояние производительных сил, но эта закономерность и это влияние более мелкого порядка по сравнению с историческим процессом в целом. Они могут вызвать временные отклонения, зигзаги, но они не могут повернуть обратно колеса истории в целом. Они—случайны.

После этого нам смешными покажутся следующие рассуждения Делевского:

«Что такое история? Это—процесс развития общественной жизни со всеми ее элементами.

Видеть основную причину истории в одном из этих элементов, в элементе экономическом, значит предполагать, что, в последнем счете, изменение экономического элемента обусловливает изменение всех других элементов, не будучи в то же время обусловлено последними. Но в таком случае,—ликующе спрашивает далее Делевский,—зависит ли, во-первых, развитие каждого из этих элементов только от экономических причин. И, во-вторых, от чего зависит самое развитие производительных сил» [2]) (Курсив наш).

Ю. Делевский читал в марксистских сочинениях, что между различными элементами существует взаимодействие. Раз взаимодействие, то—кончено: ни о каком примате не может быть и речи. Вот что говорит Делевский: «Раз говорится о взаимодействии между элементами общественной жизни, то каждый из них является фактором общественного процесса. Последний определяется совокупным влиянием всех действующих факторов, составляющих сложную причину процесса» [2]).

Совокупное влияние всех действующих факторов, конечно, как-будто составляет сложную причину процесса. Но здесь-то Делевский и запутался в совокупности различных причин. Он все причины считает однородными, одинаково существенными и важными, он не видит основной, определяющей причины, которая одна и заслуживает этого названия. Делевский, как эмпирик, здесь из-за деревьев не видит леса,—он не понял диалектики.

Следующим противоречием в историческом материализме Делевский считает следующие его положения.

Производительные силы—основной движущий фактор в истории. Но, с другой стороны, на развитие производительных сил оказывает влияние, например, географическая среда. Это дает Ю. Делевскому право лишний раз обвинить марксистов в непоследовательности [3]).

Делевский не понимает того обстоятельства, что производительные силы, будучи категорией общественной, связывают человеческое общество с природой. Географическая же среда, входя, с одной стороны, как один из элементов, в понятие производительных сил, является в то же время понятием и общебиологическим.

[1]) Ю. Делевский, Исторический материализм в его исторической аргументации («Русск. Бог.» 1905, VIII, стр. 85).
[2]) Там же, стр. 86. Курсив мой.
[3]) «Русск. Бог.» 1905, VIII, стр. 88.

Следовательно, из общественно-исторических категорий марк-
сизм признает примат производительных сил, нисколько не отрица-
этим влияния неисторических факторов, куда входят, кроме понятия
географической среды, еще и такие факторы, как физико-химиче-
ские свойства атмосферы и воды, космические свойства земного
шара и т. д.

Таким образом, снова и снова Делевский не понял одной из чер
диалектики, а именно специфичности научных законов, категорий
изучаемых в той или иной отрасли науки.

В большинстве случаев, народники критиковали не исторически
материализм, а какую-то карикатуру на него, лишенную основного
звена, диалектики.

Также и Михайловский, критикуя марксизм, приписывал после
нему черты фатализма, не признающего в истории никаких случай-
ностей (в то время как Маркс крайне резко отзывался о таком исто
рическом взгляде); Михайловский так понимал марксизм, будто гов
рить о вождях, о руководителях, о великих людях, с точки зрени
этого «марксизма», является «вздором». С другой стороны, эконом
ческий фактор, будто бы, растет и развивается сам по себе, по свои
имманентным законам, в которых «не при чем-чья бы то ни бы
личная воля или желание» («Рус. Бог.» 1894, январь).

Я уже затрагивал вопрос об обратном влиянии «надстроек» н
производительные силы и на экономику, когда рассматривал вопр
о причине и о взаимодействии. Сейчас можно пройти мимо этого. Н
нельзя обойти молчанием еще одной «работы» уже много раз вс
встречавшегося Ю. Делевского, работы, носящей заглавие: «Эко
мический материализм и история науки» (Спб. 1907).

Понимая марксистский взгляд на историю, только как «эконом
ческий материализм» в узком значении этого слова, Делевский дума
что ему легко будет опровергнуть марксизм, если он приведет н
сколько фактов из истории науки, противоречащих сочиненному и
самим «экономическому материализму».

Марксистское понимание истории естествознания Делевски
трактуется до-нельзя грубо, упрощенно. По его мнению, марксиз
утверждает, что наука развивается исключительно в целях «удовл
творения материальных нужд и экономических интересов. «При эт
Делевским совершенно не учитывается связь наук о природе с общ
мировоззрением эпохи, с психологией общества, что всегда рекоме
довали учитывать и Энгельс и Плеханов.

Упрощая подлинно марксистское понимание истории науки, Д
левский легко может привести факты, говорящие против... узк
схемы, которую самому Делевскому было угодно навязать марксизм

Делевский, например, признает, что анатомия, химия и ботани
играли всегда служебную роль для медицины, и это положение авт
ухитряется выставить против исторического материализма: меди
цина-де не есть производственный момент (за исключение
по его словам, приготовления лекарств) [1]. Точно медицина не ес
элемент человеческой общественной практики, которая даже, ес
говорить строго, безусловно связана с экономической задачей сохр
нения рабочей силы от преждевременного уничтожения!

Но нет никакой необходимости всегда эту общественную пра
тику, вызывающую к жизни ту или иную отрасль науки, отожд
ствлять с экономикой в узком смысле этого слова. Известно, что Э

[1]) Делевский, Эконом. мат. и ист. науки, стр. 4—5.

гельс приветствовал исследования Моргана, в основание которых положена не экономика в узком смысле, а родовые связи. По этому поводу еще в 1894 году Михайловский не мало издевался над Энгельсом, которому он, ничтоже сумняшеся, приписывал узкий «экономический материализм».

На это Ленин с негодованием отвечал: «Но где вы читали у Маркса или Энгельса, чтобы они говорили непременно об экономическом материализме? Характеризуя свое миросозерцание, они называли его просто материализмом. Их основная идея состояла в том, что общественные отношения делятся на материальные и идеологические. Последние представляют собой лишь надстройку над первыми, складывающимися помимо воли и сознания человека, как форма деятельности человека, направленной на поддержание его существования» [1]).

Возвращаемся к Делевскому.

Делевский находит, что, если бы правильна была «марксистская схема» (схема, которую сочинил сам Делевский), то наиболее раннее развитие должны были получать те отрасли знания, применение которых имеет особо важное практическое экономическое значение. «В действительности же,—говорит Делевский,—это далеко не так. Из систематических областей знания более всего прогрессировали в древности арифметика, геометрия, астрономия, оптика, акустика, анатомия. Из последних четырех наук оптика, акустика и анатомия не имели никакого промышленного применения или значения, а экономический интерес разработки астрономии был ничтожен» [2]).

Таким образом, арифметику и геометрию даже Делевский отдает в распоряжение «экономическим материалистам». Относительно же оптики я должен заметить, что Ю. Делевский несколько переоценивает ее развитие в древности. До Евклида философы останавливались, главным образом, на умозрительных теориях о сущности света (господствовала теория об исхождении лучей из глаз); в связи с этим могла несколько развиваться физиологическая оптика, связанная с физиологией и медициной вообще. Евклид (300 лет до н. э.) ставит впервые на ноги геометрическую оптику, практически связанную с астрономией, а с другой стороны—с геометрией. Физическая же оптика принадлежит, как известно, к отделам физики, развившимся всего позже.

Что касается акустики, то Делевский и здесь явно ошибается. Акустические принципы, выработанные в пифагорейской школе, помимо их философского значения для самих пифагорейцев, имели весьма важное техническое значение. Пифагореец Филолай, как и Архит, были не только математиками, но и механиками, а Архит был и полководцем в вековой сицилийской войне, применявшим метательные орудия. Витрувий показывает, что от артиллерийского офицера, наблюдавшего за равномерным натяжением жил на катапульте, требовалось музыкальное образование, потому что о равномерности натяжения судили по тону, который издается этой «струной» при прицеливании.

Анатомия, по словам самого Делевского, была тесно связана с медициной, что вполне соответствует теории исторического материализма.

[1]) В. И. Ленин, «Что такое друзья народа», — Сочинения, т. I, стр. 71, по 3-му изданию.

[2]) Ю. Делевский, Экономический материализм и история науки, стр. 2

Наконец, что касается развития астрономии, то доминирующе значение практики в ней совершенно очевидно. К числу стимуло развития астрономии в древнее время принадлежали следующие мо менты: 1) потребности мореплавания, сказывающиеся как п линии мореходного дела («морская астрономия»), так и по лини географической ориентировки в незнакомых пунктах земного шара 2) потребности устроения календаря, связанные с определение продолжительности года, и т. п.; 3) измерение времени — часы 4) потребности астрологического «мастерства», имевшего больш значение в общественной жизни; наконец, 5) потребности различны общественных классов в своем мировоззрении, проникающе во все ветви идеологии и, между прочим, в космологию.

Делевский ставит астрономию в связь с одной календаристикой а последнюю—с религией. Но календарь имел значение не только религиозном культе, но и в сельском хозяйстве (как показывает Ге зиод в своем сочинении «Дела и дни»), и в мореплавании, и в обще ственной жизни вообще. Наконец, если бы календарь связан был искл чительно с религией, то и тогда Делевский не может видеть в это ниспровержение исторического материализма, как это он пишет:

Если какая-нибудь часть астрономии (например, вычисление д празднования пасхи) и была связана исключительно с потребностя церкви, то и это нисколько не противоречит историческому матери лизму, ибо последний стремится вывести содержание той или ин идеологии из всей совокупности общественных потребностей, ли в конечном счете обусловленных развитием производительных с В самом деле совершенно ясно, что доминирующая роль сам церкви, как общественной организации, об'ясняется производстве ными отношениями, имевшими место в данную эпоху.

«Самый могучий импульс,—говорит далее Делевский,—пор ждающий и двигающий вперед науку, заключается... во внутрен познавательной потребности, в стремлении определить свое отно ние к окружающему миру» [1]).

В ранние эпохи научные представления, по словам Делевско были тесно связаны с религиозными, с философскими и просто мис ческими представлениями. Пифагорейцы развивали математику п влиянием своей мистической системы. Лукреций считал, что над изучать природу вещей для борьбы с религиозными суевериям Развитие астрономии было тесным образом связано с развити астрологии, как химия была связана с алхимией.

Все эти данные приводит Делевский для опровержения теори исторического материализма. Но ведь высшие идеологии, согласн этой теории, развиваются как раз под непосредственным влияни общественной психологии, в которой иногда философия, иног религия играют первую скрипку. Непосредственное воздействие эк номики здесь вовсе не обязательно. Так что, если Делевский хоч это сказать, то он ломится в открытую дверь. Но он утверждает нечт большее. Вслед за Таннери, он говорит, что «наука развивается толь тогда, когда она разрабатывается для себя самой» [2]). Вот с эт диалектический материализм никак согласиться не может. Но ве с этим утверждением не мирятся те факты, которые, следуя Деле скому, мы только что указали. Эти факты говорят, что наука разв

[1]) Делевский. Экон. мат. и ист. науки, стр. 6.
[2]) Там же, стр. 8. Подчеркнуто мною.

вается, как часть общей культуры той или иной общественно-экономической формации. Она развивается не под стеклянным колпаком, и не для самой себя, а независимо от суб'ективных намерений творцов науки, она служит, на ряду с другими идеологиями, средством для укрепления идейного господства соответствующего класса. Это идейное господство, в свою очередь, подчинено экономическому господству.

Таким образом Делевский ничего не доказал, прибегнув к такому якобы архи-научному анализу с массой имен, цитат, хронологических данных из истории науки. Чего он и здесь не понял в теории исторического материализма, так это—диалектики.

Диалектика была всегда, есть и будет основным стержнем, становым хребтом революционного учения марксизма-ленинизма.

Был ли Н. Г. Чернышевский утопистом?[1])

Ю. Стеклов.

На такой вопрос многие готовы ответить положительно. Впрочем, если бы Чернышевский и был утопистом, это было бы неудивительно. Утопические системы естественно возникают «в первый, неразвитый период борьбы между пролетариатом и буржуазией» («Коммунистический Манифест»). А Чернышевский жил и работал в обществе, только начавшем переходить от крепостного хозяйства к капиталистическому, в обществе, где не было еще даже и зачатков борьбы между буржуазией и пролетариатом, где, если и шла борьба, то между крупными землевладельцами-плантаторами и крестьянством, жившим в условиях натурального хозяйства. Наличие утопических элементов в мировоззрении Чернышевского было бы поэтому вполне естественно.

К какой же категории утопистов надлежало бы отнести Чернышевского? Что по общему характеру его взглядов он никак не может быть причислен к представителям консервативного, реакционного или буржуазного социализма, это совершенно ясно. Из тех разрядов, которые установлены в «Коммунистическом Манифесте», его можно было бы отнести только к школе «критическо-утопического социализма и коммунизма», точнее—последнего, ибо Чернышевский был именно коммунистом.

Но не был ли он представителем «мелкобуржуазного социализма», что по тогдашним социальным отношениям России было бы не удивительно? И на этот вопрос некоторые пытались дать положительный ответ.

В русской литературе имеется специальная работа, стремящаяся доказать, что Чернышевский в своих экономических построениях исходил из мелкобуржуазной точки зрения, иначе сказать, что он в своей критике капитализма и в своих проектах общественного переустройства исходил из идеологии мелкого крестьянина, ведущего натуральное хозяйство. Мы имеем в виду статью П. Маслова «Идеализация натурального хозяйства», напечатанную в №№ 1 и 3 «Научного Обозрения» за 1899 год.

Маслов знает, что Чернышевский относился отрицательно к мелкому производству. Казалось бы, это одно должно разрушить все его построение, ибо идеология собственников натурального хозяйства прежде всего стремится к увековечению мелкого производства. И действительно, в начале своей статьи Маслов уверяет, что «Чернышевский и был первым в числе защитников интересов крепостных крестьян, как мелких собственников» [2]), и приводит соответствующую цитату из Чернышевского, гласящую: «То, что мы допускаем к должному участию в установлении политико-экономических принципов понятие о поселянине-собственнике, и служит одною из главных причин раз-

[1]) Извлечение из тома моей подготовленной к печати книги «Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность». Автор.

[2]) «Научное Обозрение» 1899, № 1, стр. 159.

ницы наших мнений от господствующих». Но в дальнейшем он сам себя блестяще опровергает и разоблачает всю надуманность и предвзятость своего подхода к Чернышевскому.

Рассматривая общественные отношения русской действительности,—говорит Маслов,—Чернышевский становится на точку зрения мелкого предпринимателя, так как в эту действительность товарное производство вторгалось с такой настойчивостью, что приходилось оставить в стороне идеал общественных отношений и становиться непосредственно на защиту или крупной, или мелкой собственности, говорить не о желательном, а о возможном. В тех же литературных работах, которые не касались русской экономической действительности, Чернышевский якобы вполне определенно становится на точку зрения собственников натурального хозяйства.

Так! Что же это за таинственная «точка зрения» мелкого предпринимателя и мелкого собственника натурального хозяйства? Оказывается, что при ближайшем рассмотрении она неожиданно переходит в свою полную противоположность, весьма сближаясь с точкой зрения пролетария. Не верите? Слушайте.

«Точка зрения собственника натурального хозяйства, разрушаемого товарным производством, довольно близко подходит к точке зрения пролетария, являющегося результатом разрушения мелкого хозяйства. И та, и другая заключают в себе отрицание товарного хозяйства... С точки зрения собственника натурального хозяйства в своих теоретических статьях Чернышевский и анализировал товарное хозяйство».

В отличие от Сисмонди Чернышевский «рассматривал товарное хозяйство с точки зрения собственника и в то же время собственника-не-буржуа, производителя продуктов, но не пролетария,—обладателя орудий производства, но не капиталиста. Поэтому он мог рассматривать товарное хозяйство как нечто постороннее, чуждое, не вдаваясь в апологию интересов крупной буржуазии или мелкого товарного производства, как делают защитники мелкого предпринимателя-товаропроизводителя—современные народники» [1]).

Тщетно вы будете доказывать Маслову, что «собственник» и «в то же время собственник-не-буржуа»—это contradictio in adjecto, что это—пустая абстракция, придуманная Масловым для подтверждения его противоречивой точки зрения, и что Чернышевский на самом деле в своих экономических работах критикует капитализм с точки зрения пролетариата,—все это будет напрасным трудом. Маслов сам сбил себя с толку, забыв, что коммунистический строй и есть отрицание товарного производства, восстановление натурального хозяйства на новой базе и в новой общественной обстановке, что это коммунистическое натуральное хозяйство ничего общего не имеет с натуральным хозяйством мелких разрозненных производителей, крестьян-собственников, что с точки зрения этого будущего натурального хозяйства на коммунистической основе, а вовсе не с точки зрения натурально-хозяйственного мелкого собственника Чернышевский критиковал капиталистический строй. Более того, когда он встречает у Чернышевского планы будущего коммунистического уклада, основанного как раз на коллективном товарищеском производстве, он упорно подводит их под свою предвзятую точку зрения, пытаясь и их истолковать в смысле идеологии... мы хотели было написать «мелких собственников натурального хозяйства», как это вытекает

[1]) Ibid., стр. 160.

из исходного положения Маслова, если бы наш критик вдруг сам не забыл про свой исходный пункт и не завел песню из совершенно другой оперы.

«Для натурального хозяйства кооперативный труд является не только полезным, но прямо необходимым, так как чем больше работников в хозяйстве, тем лучше будут удовлетворены их потребности. Технический прогресс, введение машин тоже ничем не угрожает такому предприятию...

Чернышевский и не задавался (неужели не задавался?! Ю. С.) вопросом о том, возможно ли при данных общественных отношениях осуществление такого развития хозяйства, и указывал лишь на разумность и выгодность кооперации и техники при сокращении товарного обмена...

Идеал автора стоит выше существовавшего раньше натурального хозяйства, которое является у него лишь исходным пунктом развития» [1]).

Итак, теперь уже речь идет не о мелком собственнике натурального хозяйства, с точки зрения которого Чернышевский якобы подходил к критике капитализма, а о крестьянской производительной кооперации, как ячейке коммунистического строя, использующей завоевания техники, машины и пр. для коллективного труда. С идеологией мелкого собственника это имеет весьма мало общего. Каким же иным путем, кроме кооперирования разрозненных сельских производителей на базе машинной кооперации, возможно ввести крестьян в общую систему социалистического хозяйства? И разве в государстве победившего пролетариата, как сейчас в нашей Советской Республике, развитие совершается иным путем? Или же и точку зрения Ленина, который именно этот практический путь рекомендовал, и точку зрения Маркса, который несомненно смотрел на дело таким же образом, можно об'явить идеологией и идеализацией натурального хозяйства? Правда, при охоте можно сделать и это, но только при одном условии: если на место термина «коммунистический строй» подставить словечко «натуральное хозяйство», что, с одной стороны, будет как будто верно, но—с другой—будет произвольным непростительным смешением понятий.

Мы видели уже, что Маслов не сумел до конца удержаться на своей надуманной позиции и неожиданно перескочил на другую зарубку. Это еще более выясняется из его дальнейших замечаний относительно «поправок» Чернышевского к учениям буржуазных экономистов. Вот по этому поводу говорит Маслов:

«В этих поправках вовсе не видна з а щ и т а старого натурально-хозяйственного строя, не видно стремления восстановить этот строй в таком виде, в каком он существовал во время крепостного права, остановить или повернуть назад колесо истории, а видна и д е а л и з а ц и я натурального хозяйства, отрицание как отживших так и нарождающихся экономических отношений и стремление найти такую форму экономического быта, которая была бы более совершенной, чем отжившее натуральное крестьянское хозяйство и чем наступавшее товарное... Чернышевский, стоя на крестьянской (?) точке зрения, не идеализировал к р е с т ь я н с к о е хозяйство, но хотел внести такие поправки в существовавшие хозяйственные отношения, которые бы дали возможность крестьянскому хозяйству не только вынести напор капитализма, но и перешагнуть через него. В изложенных воззрениях Чернышевский выступает не как защитник существовавшего раньше натурального хозяйства, а как идеолог, который, стоя на точке зрения собственника натурального хозяйства, относится критически и к старому натуральному, и к товарному хозяйству, и очень близко подходит к идеологии бесхозяйных производителей» [1]).

[1]) «Научное Обозрение» 1899, № 3, стр. 622.

Вот и извольте понять здесь что-нибудь! «Идеолог» и не идеолог—чей, в чем? Вся беда Маслова проистекла оттого, что он позволил себе играть термином «натуральное хозяйство», каждый раз придавая ему другой смысл. То под ним у Маслова разумеется докапиталистическое не-товарное хозяйство (хотя во времена Чернышевского такового в настоящем смысле уже и не существовало), то Маслов отождествляет его с грядущим коммунистическим строем или, точнее, с переходным периодом от капитализма к социализму, характеризующимся кооперацией крестьянства, организацией сельскохозяйственных коллективов на основе машинизированной техники. А так как по форме оба они в некоторых отношениях (главным образом, в отрицании товарного хозяйства и разрозненного мелкого производства) совпадают, то Маслову и нетрудно было превратить Чернышевского, идеолога г р я д у щ е г о «натурального хозяйства», т.-е. коммунизма, в идеолога д о-к а п и т а л и с т и ч е с к о г о натурального хозяйства.

Окончательно разрушает сам Маслов свое искусственное построение, основанное на сплошной путанице понятий и недопустимом смешении терминов, следующими двумя указаниями:

П е р в о е. «Знаменитый русский экономист наряду с прогрессивными требованиями не выставлял никаких реакционных требований задержать, остановить экономическое развитие: он надеялся на возможность развития мелких хозяйств рядом с крупным капиталистическим хозяйством и на возможность превращения их в кооперативные. Э т и надежды и были основанием той горячей защиты общинного землевладения, которой Чернышевский посвятил значительную часть своих литературных работ» [2]).

Итак, идеолог мелкого собственника натурального хозяйства не высказывается против развития прогрессивных экономических форм, в частности крупного капиталистического производства, убийственного для мелкого земледелия—для натурального еще больше, чем для товарного, и стоит за превращение его в кооперативное! Может ли что-либо определеннее свидетельствовать о неосновательности попытки Маслова превратить Чернышевского в идеолога и идеализатора «собственника натурального хозяйства»?

В т о р о е. В примечании к странице 632 своей второй статьи, Маслов говорит: «Представительство интересов производителей как таковых унаследовали идеологи бесхозяйного производителя (т.-е. пролетариата. Ю. С.), развивши основные идеи Чернышевского и давши им научное обоснование. Поэтому никак нельзя согласиться с Влад. Ильиным («Экономические этюды и статьи»), который идеологию бесхозяйных считает наследством от либералов-просветителей 60-х годов [3]). От буржуазных «просветителей» получили и могли получить наследство буржуазные же «просветители».

[1]) Ibid., стр. 632—633.
[2]) Ibid., стр. 639.
[3]) Речь идет о статье Л е н и н а «От какого наследства мы отказываемся?», напечатанной в сборнике В л а д. И л ь и н — «Экономические этюды и статьи». Спб 1899, и перепечатанной во втором томе Сочинений Л е н и н а.

В этом пункте Маслов, конечно, прав. Русские марксисты, поскольку они преемственно связаны с русскими политическими течениями, являются преемниками и наследниками того направления, наиболее блестящим представителем которого был Чернышевский. Но ведь этот констатируемый Масловым факт окончательно кладет в лоск всю его незадачливую «теорию». Каким же это чудом идеологи пролетариата могли бы оказаться наследниками идеолога мелких собственников «натурального хозяйства», развившими дальше его основные положения, если бы Маслов просто не выдумал всей этой характеристики Чернышевского и если бы «идеализация» последним натурального хозяйства не была бы просто идеализацией... коммунистического строя?

А именно так дело и обстоит. Утопистом вроде Сисмонди и других действительных идеологов мелкого производителя Чернышевский никогда не был, а вся искусственная конструкция Маслова при первом прикосновении критики рассыпается в прах, тем более, что, как мы видели, сам Маслов достаточно позаботился о том, чтобы ее основательно разрушить...

Идеологом мелкобуржуазного социализма Чернышевский не мог быть уже по тому одному, что в анализе и критике капиталистического хозяйства он стоял на историко-критической точке зрения и прекрасно понимал неизбежность смены одной экономической формации другою, в частности мелкого производства крупным. Он неоднократно и упорно подчеркивает исторический и преходящий характер не только капиталистической системы, но и частной собственности. У разных народов и в разные эпохи у одного народа,—говорит он,—мы видим чрезвычайно разнообразные формы экономического устройства. У разных варварских и полуварварских племен до сих пор сохранились формы, представляющие видимое сходство с коммунизмом и некогда господствовавшие среди европейских наций, а отчасти сохранившиеся среди них и доныне, как, например, общинное землевладение, водное право и т. д. [1]). С другой стороны, среди передовых наций за последнее время начинают намечаться некоторые тенденции, противоположные абсолютному праву частной собственности; Чернышевский указывает на акционерные общества, захватывающие все больше места в промышленной деятельности, и на экспроприации, совершаемые государством в интересах предприятий, имеющих общеполезный характер. Нынешний капиталистический строй развился исторически; он не представляет чего-нибудь естественного, вечного, и с дальнейшим историческим развитием он неминуемо должен исчезнуть [2]).

[1]) Эти рассуждения Чернышевского напоминают рассуждения Гэда и Лафарга в их комментариях к программе Французской рабочей партии, выработанной при участии Маркса. В программе говорится: «Форма личная... никогда не существовала, как общее явление, и... все более и более вытесняется промышленным прогрессом», а в комментариях: «Последние исследования о человеческих обществах и происхождении их показывают нам, что все они отправляются от владения сообща землей и ее продуктами... Личная собственность на землю и на ее произведения — сравнительно недавнего происхождения... Однако она никогда не могла поглотить коллективную собственность целиком даже в наиболее обуржуазившихся странах, что доказывают повсеместные пережитки общественного владения (общинные земли, государственные леса и т. п.)». В дальнейшем также указывается на акционерные компании, восстановляющие безличную собственность (Гэд и Лафарг, Программа рабочей партии, Спб. 1906, изд. «Знание», стр. 3, 7, 8).

[2]) «Примечания к Миллю», стр. 308—309. Ср. стр. 314. «Принцип соперничества не может считаться всеобщим принципом экономической деятельности. Лишь с недавнего времени, даже и в передовых странах, стал он господствовать хотя над некоторыми сторонами экономической жизни».

Не менее интересны соображения нашего автора о взаимоотношении крупного и мелкого производства. Еще буржуазная экономия установила преимущества крупного производства над мелким; социалисты-утописты еще глубже развили мысль о вытеснении мелких предприятий крупными, ремесла мануфактурой и машинной индустрией, и использовали ее для критики современной экономической системы. В этом пункте Чернышевский имел таких предшественников, как Фурье, Консидеран, Пеккер и Сисмонди, не говоря уже о теоретиках крупной буржуазии. Перевес и победа крупного производства над мелким в промышленности кажутся ему настолько бесспорными и ясными, что он на них и не останавливается, а сосредоточивает главное свое внимание на вопросе о крупном производстве в сельском хозяйстве.

В настоящее время,—говорит он (и поясняет в скобках: в 1860 году),—земледелие еще стоит на низкой стадии развития, «или, выражаясь экономическим языком, к нему еще в слишком слабой степени прилагается капитал». Но для него не подлежит сомнению, что эта экономическая отсталость сельского хозяйства долго не удержится. Торговля и промышленность в передовых странах уже переполнены капиталом, и он рвется к тому, чтобы захватить новые отрасли деятельности. «Ему остается одно производительное помещение—в сельском хозяйстве» [1]). Указавши на успехи техники, механики, химии и пр., Чернышевский заключает: «Кажется, всех этих фактов довольно, чтобы убедить нас в приближении коренной реформы земледельческого производства, реформы вроде той, какая произведена в мануфактурном деле открытиями конца прошлого и начала нынешнего столетий».

Чернышевский прекрасно знает, что «земледельческий процесс отличается от промышленного гораздо большей сложностью элементов, участвующих в нем. Тут входят климатические и геологические условия, которых не знает фабрика». Этим и об'ясняется, почему наука стала управляться с вопросами земледелия гораздо позднее, чем с промышленностью; решение более сложных задач требовало большего запаса знаний. В этом отношении наука уже прошла значительную часть нужного пути и быстро движется к дальнейшим завоеваниям. «Из этого надобно заключать,—смело делает вывод наш диалектик,—что скоро исчезнут причины различия между земледелием и фабричной промышленностью по отношению к выгодности производства в большом размере».

Чернышевский признает, что это еще—не факт, а гипотеза, имеющая большую степень вероятности. Предоставляя следующим поколениям детальный анализ вопроса о полном сходстве, или о существовании некоторой внутренней разницы между земледелием и промышленностью, он обращается к общему разбору экономических свойств производства в большом и малом размере, независимо от частного вопроса о грядущем преобразовании сельского хозяйства.

[1]) Чернышевский указывает, что на очереди стоит вопрос о паровом плуге; удачны или неудачны первые опыты его применения, это все равно, говорит он: не ныне — завтра явятся паровые плуги удовлетворительной конструкции. «Применение паровых машин к земледелию распространяется в передовых странах Европы с каждым годом и скоро должно перейти на главнейшие операции земледелия, на пахание и на уборку хлеба. Вместе с этим приложением больших машин к прямому земледельческому труду начинается производство приготовительных работ в большом размере. Довольно указать на дренаж» (Ibid., стр. 208). Здесь сказалась вся глубокая проницательность нашего автора.

Все преимущества мелкого земледелия сводятся к одному: работы исполняются людьми, непосредственно заинтересованными в их успешности (крестьянином и его семьей). Все преимущества крупного хозяйства также сводятся к одному: «оно имеет очень хорошие средства к успешному ведению дела, имеет лучшие орудия, имеет экономное распределение земли. В малом хозяйстве значительная пропорция земли пропадает, нельзя так удобно расположить разных полей и угодий, нельзя иметь таких хороших угодий» [1]).

Очевидно, технические преимущества крупного сельского хозяйства («большее сочетание труда, употребление более могущественных способов производства и... перевес большого хозяйства в некоторых специальных отраслях сельской промышленности, например, в овцеводстве»)—эти технические преимущества перевешивали в его глазах моральное преимущество мелкого хозяйства крестьян-собственников. Ибо в результате своего анализа он приходит к тому выводу, что сельское хозяйство не является исключением из общих законов промышленной деятельности: и здесь крупное производство должно одержать верх над мелким. «Перевес выгод, даваемых делу усовершенствованными процессами, требующими обширных размеров производства, так велик, что ни в какой отрасли экономического быта мелкое хозяйство не может выдержать соперничества с большим, как скоро прогресс технологии и механики открывает возможность усовершенствованных процессов в этом деле, и начинает прилагаться к делу капитал большими массами: никакое усердие в труде не спасает мелкого хозяина, когда являются у большого хозяина усовершенствованные процессы, недоступные мелким. Если при нынешнем общественном устройстве поселяне-собственники еще сохранились на континенте Западной Европы, это лишь потому, что земледелие в их местах еще сохранило неразвитые процессы производства и в больших хозяйствах. Когда оно станет (а оно уже начинает становиться) не патриархальным, а коммерческим делом, мелкие хозяйства должны погибнуть при нынешнем экономическом устройстве» [2]).

Как видим, в этом вопросе Чернышевский стоит гораздо ближе к «догматикам»-марксистам, чем к эпигонам народничества, которые вслед за ревизионистами старались доказать преимущество мелкого земледелия перед крупным и чуть ли не его победу. И как бы предчувствуя, что найдутся охотники зачислить его по ведомству идеологов или идеализаторов мелкого хозяйства, Чернышевский подчеркивает, что, критикуя капиталистическое общество, он отнюдь не впадал при этом в приторное прикрашивание докапиталистических отношений и доброго старого времени. «Доказывая неудовлетворительность соперничества, выражаются или думают так, как-будто лучше его были формы, им вытесняемые. Мы не имеем ничего подобного такому взгляду в своих мыслях и стараемся (не

[1]) «Примечания к Миллю», стр. 210. Правда, Чернышевский клонит все время к доказательству своей излюбленной мысли о необходимости коллективного хозяйства, соединяющего в себе все хорошие стороны крупного и мелкого производства; но эта тенденция ничуть не умаляет значения его аргументации и не ослабляет ее силы.

[2]) Ibid., стр. 361.—Это, впрочем, было для него ясно уже в 1857 году. «И земледелие, и заводско-фабричная промышленность, — писал он (Соч., том III, стр. 182), — находятся под властью безграничного соперничества отдельных личностей; чем обширнее размеры производства, тем дешевле стоимость произведений, потому большие капиталисты подавляют мелких, которые мало-по-малу уступают им место, переходя в разряд их наемных людей».

знаем, успеваем ли) выражаться так, чтобы не возбуждать ошибочных мыслей в этом отношении» [1]). Итак, Чернышевский старательно избегал всего, что так или иначе могло бы показаться идеализацией патриархальности, рутины и застоя. Отрицая капитализм с точки зрения будущего, а не прошлого, он не побоялся прямо поставить капиталистическую систему, систему конкуренции, гораздо выше патриархального, докапиталистического быта.

«Какие данные для своей расчетливости,—спрашивает он,—имеет производитель в патриархальном быте? Только свой личный или фамильный опыт, с прибавкой довольно скудных сведений о производстве у некоторых соседей. Когда является биржа или возникают хотя зародыши ее, ярмарки и покупки товаров купцами для перепродажи, круг сравнения чрезвычайно расширяется. Являясь на базар, на ярмарку, на биржу, производитель видит свой товар сравниваемым с подобными товарами всех производителей целого обширного округа или целой страны, целого света; формой сравнения успешности производства тут служит цена. Производитель возбуждается к заботе об усовершенствованиях уже не одними своими личными наблюдениями и знакомствами, а всяким усовершенствованием, у кого бы то ни было, где бы то ни было достигнутым. Словом сказать, перевес соперничества над патриархальными средствами расчета тот, что оно сближает расчеты гораздо большего числа производителей.

Есть у него и другое преимущество. При патриархальном расчете остается на произвол производителя, принимать или не принимать даже те усовершенствования, с которыми они знакомятся из скудных источников сведений того быта... При форме соперничества расчет выгоды приобретает силу физической необходимости; в этой форме он довольно быстро одолевает и рутину, и фальшивое самолюбие» (Ibid., стр. 322).

И если Чернышевский не останавливается на этих преимуществах системы соперничества, то «потому, что они очень подробно и резко выставляются на вид в каждом рутинном курсе политической экономии». Но капиталистическая система, хотя и стоит «гораздо выше» патриархального быта, отнюдь не является венцом творенья. Критикуя ее, мы «судим тут по требованиям науки, по средствам, какими снабжает она человека, а не по старинному, еще менее удовлетворительному быту. Не о том речь, лучше ли старого новое, удовлетворительнее ли настоящее прошедшего; речь о том, не следует ли искать еще лучшего и не имеет ли человек уже и теперь средств ввести в свой быт принципы, которые были бы настолько же лучше нынешних, настолько нынешние лучше каких-нибудь чисто-варварских старинных». Говоря, например, о тяжелом положении современного рабочего, мы отнюдь не выказываем этим какого-либо пристрастия к невольничеству,—нет, мы сравниваем положение наемного рабочего, эксплоатируемого капиталом, с положением свободного производителя, члена социалистического общества.

Капиталистическая система сыграла в истории положительную роль тем, что обеспечила юридическую свободу личности—и в этом

[1]) Ibid., стр. 323.—Еще Фурье понимал превосходство «цивилизации» над докапиталистическими формами быта и, на ряду с отрицательными ее сторонами, указывал и ее положительные стороны: «цивилизация создала средства для осуществления будущего строя, ассоциации; она создала крупное производство, науки и искусства».

Чернышевский признает ее громадную заслугу [1]). Но тут же он указывает на отрицательные стороны капиталистической эволюции (пролетаризация самостоятельных производителей, сосредоточение богатств в руках кучки магнатов, систематическое ухудшение положения пролетариата и пр.). При этом он подчеркивает, что все эти вредные действия капитализма «коренятся в самом принципе, в самой логике соперничества» и не могут быть устранены без устранения ее самой [2]). Раскрепостивши личность юридически, капитализм, с другой стороны сковал ее иными, не менее тяжкими, чем прежние, цепями. В результате капиталистической эволюции, охарактеризованной вышеуказанными чертами, и возник, по словам нашего автора, социализм, как продолжение, дальнейшее расширение и дополнение борьбы за права личности, за права труда.

Теперь ясно, в каком смысле Чернышевский говорит о необходимости для наемного рабочего сделаться самостоятельным. Этих слов Чернышевского отнюдь нельзя истолковать в смысле мелкобуржуазного утопизма. Как мы видели выше, Чернышевский определенно утверждал, что при нынешних общественных отношениях мелкое производство обречено на гибель как в промышленности, так и в земледелии, что производство в крупных размерах является исторической и общественной необходимостью. Его слова о превращении рабочих в самостоятельных хозяев означают лишь экономическую необходимость организации производства на коллективных началах [3]). Никакими мелкобуржуазными иллюзиями Чернышевский никогда не обольщался, и в статье «О поземельной собственности» он подробно доказывает, что источником бедности французского крестьянства является как раз его мелкая раздробленная собственность (Соч., т. III, стр. 459), да и вообще в жизнеспособность мелкого земледелия он, как мы видели выше, не верил.

Утопистом не был Чернышевский и в том смысле, что прекрасно сознавал необходимость развития производительных сил. Меньше всего его можно обвинить в желании «повернуть назад колесо истории». Интересно в этом отношении то, что Чернышевский говорит об экономическом развитии России. Пусть он энергично защищал общину как институт, способный при известных исторических комбинациях облегчить переход к социализму; это не мешало ему смотреть на действительность об'ективным взглядом. До сих пор,—писал он в 1857 году,—Россия была преимущественно государством земледельческим, и таковым она останется надолго. «Но того нельзя скрывать от себя, что Россия, доселе мало участвовавшая в экономическом движении, быстро вовлекается в него, и наш быт, доселе оставшийся почти чуждым влиянию тех экономических законов, которые обнару-

[1]) «Обеспечение частных прав отдельной личности было существенным содержанием западно-европейской истории в последние столетия... В чрезвычайно высокой степени эта цель достигнута на Западе... Юридическая независимость и неприкосновенность отдельного лица повсюду освящена и законами, и обычаями» и т. д. («Заметки о журналах», апрель 1857 г., I. с., стр. 181—182). Ср. что он говорит о влиянии капиталистической эволюции на завоевание политической свободы.

[2]) «Примечания к Миллю», стр. 325.

[3]) «Примечания к Миллю», стр. 538—539. «Искать надлежащего благосостояния будет работник только тогда, когда станет хозяином, с тем вместе принцип сочетания труда и характер улучшенных производительных процессов требует производительной единицы очень значительного размера, а физиологические и другие естественные условия требуют сочетания очень многих разнородных производств в этой единице; и поэтому отдельные хозяева-работники должны соединяться в товарищества».

живают свое могущество только при условии экономической и торговой деятельности, начинает быстро подчиняться их силе. Скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции» (Соч., т. III, стр. 185, 1857 г.).

Правда, в России существует общинное землевладение, обеспечивающее право массы населения на землю. Но этот институт не вечен, и легко может случиться, что он не устоит перед законами капиталистического развития. «При новой эпохе усиленного производства, в которую вступает Россия, многие из прежних экономических отношений, конечно, изменятся сообразно потребностям времени». Дальше Чернышевский рассматривает роль железных дорог, внутренней и внешней торговли и развития промышленности, при чем его анализ сильно напоминает соответствующие страницы в марксовой «Нищете философии». Раз вступивши на путь капитализма, Россия должна будет подчиняться всем его законам [1]).

Но не свидетельствуют ли об утопизме Чернышевского его надежды на возможную роль общинного землевладения?

Прежде всего заметим, что Чернышевский меньше всего обманывался насчет содержания русской общины. Он прекрасно видел все варварство и всю отсталость, лежавшие в ее основе. В этом отношении он был гораздо менее утопистом, чем, например, Герцен. Прочтите его рассуждение о русской общине и западной цивилизации в статье «О причинах падения Рима», направленной против славянофильских уклонов Герцена, и вы убедитесь, что говорить об утопических увлечениях Чернышевского общиной приходится с большой и большой осторожностью.

Община, неоднократно доказывает Чернышевский, вовсе не есть какой-нибудь чисто славянский институт: она составляет принадлежность всех народов на известной стадии их развития, а сохранение ее в России свидетельствует только о нашей отсталости, «о медленности и вялости исторического развития». Разглагольствования о том, что Россия признана обновить жизнь цивилизованного мира и внести в нее высшие элементы, которых сама она выработать не в силах, приводят Чернышевского в негодование. Европе нечем позаимствоваться от нас, утверждает он: «Если сохранился у нас от патриархальных (диких) времен один принцип, несколько соответствующий одному из условий быта, к которому стремятся передовые народы, то ведь Западная Европа идет к осуществлению этого принципа совершенно независимо от нас» (Курсив мой. Ю. С.). Европе тут позаимствоваться нечем и не для чего: у Европы свой ум в голове и ум гораздо более развитый, чем у нас. «То, что существует у нас по обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей, более усовершенствованной техники». Этому обычаю Европе поздно научиться от нас, да и не нужно учиться, потому что сама она гораздо лучше нас понимает, какие новые порядки ей нужны, как их устроить и какими способами вводить [2]).

В другом месте (еще в 1855 году) Чернышевский утверждал, что не современная община, остаток варварских времен, является идеалом будущего. «Идеалы будущего осуществляются развитием цивили-

[1]) Соч., т. III, стр. 186. — О том, что, по мнению Чернышевского, частная земельная собственность представляет неизбежный результат развития сельского хозяйства, см. Соч., т. I, стр. 389 и 429.

[2]) «О причинах падения Рима (подражание Монтескье)», — Соч., т. VIII, стр. 171—172 (1861 г.).

зации, а не бесплодным хвастовством остатками исчезающего, давно прошедшего» [1]).

Этой далеко не апологетической оценке общины ничуть не противоречило то, что Чернышевский дорожил сохранившимися остатками этого института, допуская, что при известных условиях он может сыграть важную роль в деле облегчения перехода от капиталистического строя к социалистическому. Зная по опыту Европы, что крестьянство с его мелкособственническими инстинктами оказалось одним из главных препятствий на пути к социальной революции, Чернышевский полагал, что община не дала развиться в нашем крестьянстве такой исключительно-собственнической психике, и что в будущем она легче поддастся преобразованию в коллективистском духе, чем частная мелкая собственность.

Но он вовсе не думал, что в самой общине заложено начало коллективного производства и что она разовьется к социализму каким-то самопроизвольным путем. По его мнению, это могло случиться лишь при определенных исторических условиях.

В 1857 году, говоря о том, что под влиянием капиталистического развития община должна будет уступить место частному землевладению, Чернышевский предостерегал от насильственного разрушения общины, называя ее «драгоценным наследием». В то время, да, вероятно, и позже, он надеялся, что, с развитием в России машинизма, община, при условии демократического переворота в России и социалистической революции на Западе, может послужить базисом для организации коллективного земледелия на научных началах. Что он связывал эту возможную роль общины с наличием именно таких условий, видно из его знаменитой статьи «Критика философских предубеждений против общинного землевладения», написанной в 1858 году. Собственно говоря, когда Чернышевский писал эту статью, он сильно уже разочаровался в практических шансах не-капиталистического развития общины ввиду того оборота, который приняла крестьянская реформа, и зло издевался над своими прежними надеждами (вряд ли, впрочем, сам он когда-либо увлекался такими беспочвенными мечтаниями, и соответствующее место статьи можно скорее рассматривать как особый способ логического доказательства, как прием убеждения читателя). Теперь он подчеркивает, что вопрос об общине, как и вообще вопрос об экономическом преобразовании, предполагает решенным вопрос о политическом преобразовании, предполагает данными «низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора», словом, предполагает предварительный политический переворот. И при том переворот радикальный, сопровождающийся конфискацией помещичьих земель, что видно из его слов о «принадлежности земельной ренты трудящимся». Но этого мало. Другим необходимым условием для ускорения перехода общины в высшую форму Чернышевский признает социалистическую революцию в передовых государствах Западной Европы, наличность «опередившего пособника» в лице пролетариата передовых стран, ставшего у власти и оказывающего помощь странам более отсталым вроде тогдашней России.

Расшифровывая те нарочито абстрактные формулировки, к которым Чернышевский был вынужден условиями тогдашней цензуры, мы получаем следующую простую и ясную схему:

Россия является отсталой страной, которую в статье «Суеверие и правила логики», относящейся к тому же периоду, Чернышевский сравнивает с Турцией. Ее экономика только начинает развиваться, при чем все вероятия говорят за то, что это развитие пойдет по обычному капиталистическому пути. Но от прежнего своего быта она, благодаря именно своей отсталости, сохранила одно учреждение, общинное землевладение, которое при известных условиях может сыграть благотворную роль при переходе России к высшим формам общественного устройства, к социализму. Для Западной Европы, вопреки мнению Герцена, этот институт не имеет никакого значения: более передовая Европа пойдет к социализму путем пролетарской революции и захвата власти социалистической партией, путем революционной диктатуры рабочего класса. В России дело обстоит иначе: ей придется еще много ждать и страдать, пока в ней выработаются новые формы жизни и сложится рабочий класс. Но если общинное землевладение сохранится в ней до того момента, сравнительно недалекого, когда в передовых странах осуществится социальный переворот, то при условии сближения русского народа с победоносной европейской революцией и под ее влиянием община может оказаться опорным пунктом для ускорения перехода России к социалистическому строю, минуя или сильно сокращая переходную фазу капитализма.

Таким образом, в отличие от Герцена, у которого вопрос о грядущих судьбах и роли русской поземельной общины укладывался в какую-то национальную конструкцию, изолировавшую развитие России от эволюции Запада, у Чернышевского, наоборот, вся конструкция носит интернационалистический характер, предполагая прямую зависимость судеб нашей страны от влияния (идейного, технического и политического) более передовых стран, от связи ее с победоносной социалистической революцией в более развитых капиталистических государствах. Построение Чернышевского стоит довольно близко к рассуждениям Маркса и Энгельса в тех случаях, когда они касались того же вопроса о возможной роли русской поземельной общины в деле ускорения социалистического переустройства нашего отечества и всего мира.

В настоящее время представляется совершенно излишним критиковать это логическое построение, доказывать его абстрактный характер и слабые стороны. Эту критику дала сама история, наилучший и безапелляционный судья в подобных вопросах. Действительное историческое развитие пошло не так, как предполагалось или, лучше сказать, допускалось схемой Чернышевского, а если угодно, и Маркса и Энгельса. В деле социальной революции в России главную роль сыграл пролетариат, созданный капитализмом. Россия, выражаясь известными словами Маркса, превратила значительную часть своего населения в пролетариев и этим создала могильщиков как для самодержавия, так и для буржуазии. Но мы не должны забывать, что Чернышевский, рисуя изложенную выше схему, вместе с тем в работах, относящихся к тому же времени, допускал также возможность того, что Россия пойдет по капиталистическому пути, и вовсе не считал свою схему единственно возможной и безусловно осуществимой. Напротив, как мы видели, Чернышевский, допуская теоретическую

[1]) Рецензия на «Архив историко-юридических сведений, относящихся до России» Н. Калачова. Соч., т. I, стр. 430.

возможность прямого перехода от общины к социализму, указыва
на определенные условия, которые делали эту возмож
ность вероятной: это—наличность стран, достигших высокой степен
развития, и наличность «опередившего пособника».

Надежды на возможную при известных условиях в будуще
великую историческую роль общины уживались в голове Чернышев
ского с самым скептическим к ней отношением в настоящем, в ее кон
кретной реальности. Но здесь двойственность заключалась, собствен
говоря, в самом предмете. Вернее было бы говорить здесь не о двой
ственности, а об альтернативности. По существу Чернышевский ста
вит вопрос так: если дворянство в России будет лишено власти,
земля достанется народу без выкупа, что поможет общине удер
жаться, и если, с другой стороны, община сохранится до того времен
как в Европе начнется социальная революция, то в таком случае об
щинное землевладение сможет послужить исходным пунктом для не
капиталистического развития, для перехода в высшую социалистиче
скую форму [1]). Когда же он убедился, что нет основания рассчитыват
даже на осуществление первого условия, он готов был признат
неосновательность своего расчета [2]). В общем это приблизитель
та же мысль, какая высказана в предисловии к русскому издани
«Коммунистического Манифеста» 1882 года: «Если русская револ
ция послужит сигналом рабочей революции на Западе так, что об
они пополнят друг друга, то современное русское землевладение м
жет явиться исходным пунктом коммунистического развития» [3]).

Что Маркс в общем смотрел на этот вопрос приблизитель
так же, как и Чернышевский (если только правильно понять точ
зрения последнего), видно еще из известного «Письма к редактор
Отечественных Записок» вызванного статьей Н. Михай
ловского «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского» («От. Зап
1877, октябрь). В этом, в свое время неопубликованном письме
Маркс писал: «В послесловии ко второму немецкому изданию «К
питала» я говорю о некоем «великом русском ученом и критике» с т
высоким уважением, какого он заслуживает (стр. 817). Ученый эт
в своих замечательных статьях исследовал вопрос, должна ли Ро
сия, чтобы перейти к капиталистическому строю, начать с уничтож
ния поземельной общины, как того добиваются либеральные эконо
мисты, или же, наоборот, она может, не переходя через все му
этого строя, усвоить все плоды его путем развития своих собственны
исторических данных. Он высказывается в смысле последнего реш
ния. И мой почтенный критик имел, по меньшей мере, столько о
основания из моего уважения к этому «великому русскому ученом
и критику» вывести, что я разделяю взгляды последнего на эт

---

[1]) В статье «Критика философских предубеждений» первое условие выр
жено в словах «принадлежность ренты» общинникам, притом ренты «чистой
всяких обязательств», а второе условие—в словах о «влиянии высокого развит
которого известное явление... достигло у передовых народов», на ускоренный п
реход этого явления «у других народов с низшей степени прямо на высшу
(Соч., т. IV, стр. 306—307 и 331—333).

[2]) Эту же мысль высказывает Пажитнов («Развитие социалистических и
в России», т. I, Петр. 1924, стр. 100—101). Только напрасно он воображает, бу
до сих пор никто не понимал действительного смысла этой статьи.

[3]) «Коммунистический Манифест», М. 1923, стр. 52.

[4]) Письмо Маркса было опубликовано в «Юридическом Вестнике» 1888, №
в книге Л. Слонимского—«Экономическое учение Карла Маркса», Спб. 18
в «Научном Обозрении» 1899, № 3; в изданных Адоратским «Письмах Марк
и Энгельса», М. 1922.—Мы исправили текст «Юр. Вестника» по Адоратскому

вопрос, как и, наоборот, из моей полемической выходки против не
коего русского «беллетриста» и панслависта (т.-е. Герцена. Ю. С.)
сделать вывод, что я их отвергаю».

Но дальше Маркс показывает, что для той эпохи он теорети
чески допускал правильность взгляда Чернышевского. «Я,—говорит
он,—пришел к такому выводу: если Россия будет продолжать итти
по тому же пути, по которому она шла с 1861 года, то она лишится
самого прекрасного случая, какой когда-либо предоставляла история
какому-либо народу для избежания всех злоключений капиталисти
ческого строя».

А ведь Маркса никто не решится на этом основании зачислить
в утописты. Почему же это с легким сердцем делается по отношению
к Чернышевскому? Ведь последний, как мы видели, решал вопрос о
будущем русской общины условно и допускал способность ее
сделаться исходным пунктом некапиталистического развития лишь
при определенной исторической обстановке (революции в России и
социального переворота в передовых странах Запада). Это-то обыкно
венно упускается из виду [1]).

Еще характернее отношение Чернышевского к вопросу о разви
тии производительных сил, где мы уже не заметим никакой двой
ственности. Правда, о последнем предмете Чернышевский писал
меньше, чем об общине, но мы нигде не могли констати
ровать у него отрицательного отношения к раз
витию производительных сил. Все работы Чернышев
ского свидетельствуют о том, какое крупное значение он придавал
промышленному развитию страны. Заявлений в таком смысле мы най
дем у него сколько угодно. В «Современном обозрении» за сентябрь
1857 года Чернышевский выражает сожаление о том, что Россия
является страной торгового, а не промышленного капитала, и при
ветствует поворот в экономической политике правительства [2]). По его
мнению, такая мера правительства, как понижение банкового про
цента, выдаваемого частным лицам за вклады, с 4 до 3 проц., будет
сильно содействовать отливу капиталов, бездейственно лежащих
в банках, в область промышленных начинаний. Какое значение Чер
нышевский придавал развитию крупной промышленности, видно из
той оценки, какую он дает этой правительственной мере: «Понижение
процентов с 4 на 3 процента,—говорит он,—есть важнейшее событие
последних месяцев». И Чернышевский подробно рассматривает раз-

[1]) Замечательно, что и Ленин, вообще относившийся к Чернышевскому
с величайшим уважением, тоже готов отнести его к утопистам как раз на осно
вании его воззрений на возможную будущую роль общины, впадая в этом отно
шении в обычное недоразумение. Правда, Ленин находит для Чернышевского смяг
чающие обстоятельства, когда говорит: «Чернышевский был социалистом-утопи
стом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную,
крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века
видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать мате
риальные условия и общественную силу для осуществления социализма. Но Чер
нышевский был не только социалистом-утопистом». И дальше он переходит
к восхвалению Чернышевского за его революционность и правильное понимание
тогдашней политической обстановки (Ленин, Собр. соч., т. XI, ч. 2, стр. 263).
Но Чернышевский смотрел на вопрос об общине не так просто и вдобавок поним
мал значение пролетариата, предварительную победу которого в Европе он при
знавал необходимым условием для развития русской общины в социалистическом
направлении. Впрочем, специально вопросом о Чернышевском Ленин не зани
мался; иначе, мы не сомневаемся, он пришел бы к другому выводу об утопизме
Чернышевского.

[2]) Соч., т. III, стр. 392.

личные проявления, начавшегося в стране промышленного ожи-вления [1]).

Вообще Чернышевский не только не боялся развития капитализма, но, напротив, ожидал от него общего прогресса русской жизни. В статье «Суеверие и правила логики» (1859 г.) он доказывает, что развитие капитализма даст толчок и развитию сельского хозяйства. «Успехи земледелия,—говорит он,—зависят от густоты населения и от развития городов, т.-е. от развития промышленности и торговли, а также путей сообщения» [2]). А в этой области, как констатирует Чернышевский, после крымской войны замечается значительное движение вперед. Железнодорожное строительство в России усиливается, и Чернышевский приветствует его развитие, несмотря на то, что оно имеет тенденцию разлагать устои патриархального быта. Он даже утверждает, что железные дороги в России должны сыграть еще бо́льшую роль, чем в Северной Америке, в том отношении, что у нас они будут еще относительно сильнее способствовать расширению товарного оборота [3]).

Вообще Чернышевский, в отличие от сложившегося впоследствие народничества, ничуть не страшился всесторонней европеизации наших общественных отношений и в частности развития производительных сил. С этой точки зрения он отрицательно относился к протекционизму. Протекционизм, по его мнению, не ведет к увеличению государственных доходов, а только стесняет развитие промышленности [4]). В противность протекционизму предрассудку национальная промышленность в общей своей массе выигрывает от понижения тарифа, а развитие промышленности ведет к увеличению государственных доходов. Придавая громадную важность развитию производительных сил, Чернышевский всегда высказывался против покровительственных пошлин и приветствовал всякое понижение тарифа. В частности он решительно протестовал против предложения (1857 г.) повысить пошлины на английский каменный уголь ввиду того, что промышленность нуждается в дешевом топливе для паровых машин. Если же он вообще посвящал сравнительно мало внимания защите свободной торговли, то это об'ясняется следующими его словами: «Мы сами, вовсе не сочувствуя протекционизму и полагая, что теория свободной торговли гораздо более соответствует выгодам наций, никогда не имели счастья находить, что хлопоты о низком тарифе должны быть для нас предметом первостепенной важности при нынешнем положении дел. Есть для России десятки экономических потребностей более важных» [5]).

Чернышевского гораздо больше интересовали вопросы аграрный и рабочий. Их он решал в духе социализма. Социализм Чернышевского, конечно, не был свободен от некоторых утопических элементов, но признать на этом основании Чернышевского только и просто утопистом мы не решаемся. Чернышевский занимает промежуточную стадию между утопическим и научным социализмом, в большинстве случаев стоя ближе к последнему. Так, мы можем встретить у него случайное указание на необходимость «заботиться о развитии

[1]) Ibid., стр. 393—398, 553.
[2]) Соч., т. IV, стр. 551—555.
[3]) Соч., т. III, стр. 118 (1857 г.).
[4]) «Протекционизм относительно обеих своих целей (содействие развитию отечественной промышленности и увеличение государственных доходов), производит действие, противное тому, какого желал» (Соч., т. IV, стр. 451).
[5]) О Кэри,—Соч., т. VIII, стр. 26.

домашней выделки фабричных изделий» [1]). Но, по существу, этому нисколько не противоречит все то, что Чернышевский говорит о непреодолимых законах капиталистического строя (в том же 1857 г.; см. выше) [2]). В частности, говоря о нездоровой обстановке конфекционного производства, этой типичной формы домашней промышленности при капиталистическом строе, он высказывается в пользу введения машин в этом промысле. Ибо, понимая все гибельное действие машинизма на трудящихся при современных общественных отношениях, Чернышевский все-таки видел в машине фактор обновления и прогресса, подготовляющий условия рационального общественного строя. «Машина не терпит подле себя невольничества»,—замечает он [3]). В другом месте у Чернышевского попадается заявление: «Я не знаю и не хочу знать», что больше способствует производительности труда—капиталистическое производство или ассоциация; для него важно лишь то, что товарищества соответствуют стремлениям рабочих. Но тут же он спохватывается и старается доказать, что рабочее товарищество выгоднее для производительности труда, чем частно-капиталистическое хозяйство [4]).

В той же статье Чернышевский развивает подробный план организации производительных ассоциаций с ссудой от казны,—план, сильно напоминающий соответствующие планы Луи Блана и Лассаля [5]).

[1]) Рецензия на брошюру А. Шипова «Хлопчатобумажная промышленность и важность ее значения в России»,—Соч., т. III, стр. 249 (1857 г.). Ср. «Примечания к Миллю», стр. 98, прим.

[2]) Вдобавок, это входило в его общий план поддержки крестьянского хозяйства, которое он при известных условиях (см. выше) признавал способным к переходу в социалистическую форму путем машинной кооперации. Ведь и в Советской Республике кустарные промыслы пользуются покровительством в период «новой экономической политики», также возлагающей надежды на кооперирование крестьянства под влиянием и при поддержке обобществленной промышленности.

[3]) «Примечания к Миллю», стр. 212.

[4]) Капитал и труд, l. c., стр. 41—42.

[5]) Маркс относился к плану Лассаля крайне отрицательно, как к попытке вернуть социализм от классового движения к сектантскому. Он издевается над надеждой, что «при государственной субсидии так же легко построить новое общество, как новую железную дорогу», и продолжает: «Что же касается до самого рецепта, который при Луи-Филиппе Бюше прописал против французских социалистов, а реакционные рабочие из «Atelier» приняли, то на нем не стоит останавливаться... Когда говорят, что рабочие подготовляют условия общественного производства, сперва у себя в национальном масштабе, а затем в социальном, то это только то и значит, что они подготовляют переворот в современных условиях производства. Устройство кооперативных товариществ при помощи государства не имеет с этим ровнехонько ничего общего. Что же касается современных кооперативных товариществ, то они чего-нибудь стоят лишь в том случае, если создаются совершенно независимо самими рабочими без всякой протекции как правительства, так и буржуазии» («Критика Готской программы», стр. 24—25). Женевский конгресс Интернационала (1866 г.) признал крупной заслугой кооперативного движения то, что оно доказывает практически возможность устранения капитализма и грядущее торжество системы ассоциации свободных и равных производителей, но при этом подчеркнул, что кооперативное движение, ограниченное своими размерами, не в состоянии собственными силами осуществить социалистический переворот; последний предполагает общее изменение всего социального строя и всех существующих отношений, что не может быть осуществлено иначе, как посредством организованной силы общества, т.-е. путем перехода государственной власти из рук капиталистов и землевладельцев в руки самих рабочих. При этом резолюция конгресса рекомендовала рабочим обратить преимущественное внимание не на потребительные товарищества, а на производительные ассоциации, так как первые затрогивают только поверхность современной экономической системы, а последние подрывают ее в самом корне.—От этого взгляда Чернышевский стоял не так уже далеко.

Вот в общих чертах этот план «осуществления теории трудящихся», рассчитанный или на Францию, или на Россию после переворота (Чернышевский называет его «своим», что можно принять и за иронию, и за выражение серьезной мысли). Правительство за определенный процент назначает известную субсидию для первоначального пособия основанию промышленно-земледельческих товариществ. Число участников в каждом товариществе полагается около 1.500—2.000 человек обоего пола (вспомним, что таков же был и состав фаланстера у Фурье). Ассоциация, опять-таки, как у Фурье, построена на принципе соединения промышленности с земледелием. Каждый занимается, чем угодно, но товарищество не обязано доставлять средств производства для промысла, ему ненужного. Во главе товарищества стоит выборный административный совет, контролирующий директора и выбранных им чиновников (директор назначается правительством только на первый год: со второго года все управление делами переходит к самому товариществу). Часть его идет на содержание общественных учреждений, находящихся при товариществе, другая—на уплату процентов по ссуде из казны и на ее погашение; третья—в запасный капитал. За покрытием всех этих расходов остается еще значительная сумма, которая распределяется в качестве дивиденда между членами товарищества пропорционально числу проработанных каждым дней. При товариществе имеются дешевые квартиры, кооперативные лавки, школы, больница и пр., что сокращает расходы членов на их личное потребление. При этом члены ассоциации пользуются полной свободой [1]).

По поводу этого плана Плеханов (т. VI, стр. 27—28) говорит: «Чем отвлеченнее была точка зрения Чернышевского в вопросах социализма, тем легче ему было отвлекаться от индивидуальных особенностей каждой данной социалистической системы и беспристрастно защищать только то, что составляло, по его мнению, общую душу всех этих систем, т.-е. отвлеченные положения вроде того, что наука должна заботиться об интересах трудящейся массы, а не об интересах людей, эксплоатирующих эту массу и т. п. И тем естественнее было для него, нисколько не противореча себе, излагать под видом своего собственного плана общественного переустройства план того или другого, более или менее случайно выбранного социалиста-утописта. Так, например, в статье «Капитал и труд», он изложил план Луи Блана, придав своему изложению, как этого и надо было ожидать, до последней степени отвлеченный характер» [2]).

[1]) Соч., т. VI, стр. 45 и сл. — Чернышевский считает такие товарищества жизнеспособными и экономически выгодными. Допустим, что он даже преувеличивает их значение. Но такое ли уже это преступление? В те времена социалисты вообще готовы были преувеличивать значение производительных ассоциаций, как это видно и из резолюции Первого Интернационала. Да, наконец, и сам Маркс разве не писал в «Учредительном Адресе», что успех кооперативного общества «рочдельских пионеров» и аналогичных социальных опытов доказал на практике, что рабочие способны самостоятельно организовать и вести производство в крупных размерах и что наемный труд представляет историческую форму, которая уступит место свободному ассоциированному труду? А ведь это еще до завоевания власти пролетариатом! Однако до сих пор никто не об'являл за это Маркса утопистом. Правда, Маркс дальше прибавляет, что для освобождения пролетариата кооперативный труд должен быть организован в национальном масштабе, а для того рабочий класс должен добиться власти. Но это была и мысль Чернышевского, досказать которую он обещал «в другой раз», ибо в отличие от Маркса он писал под бдительным надзором царской цензуры.

[2]) Туган-Барановский (речь на торжественном заседании В.-Эк. общества 17 октября 1889 г., стр. 7) замечает: «Между прочим, у нас совершенно неправильно истолковывают точку зрения Ч. в этом вопросе. Плеханов и Стеклов говорят, что Ч. повторяет план Луи Блана. Но тут ничего общего нет: Лассаль и Луи Блан проектировали профессиональные организации труда, между тем как Чернышевский проектировал вовсе не организацию трудящихся, об'единенных по специальностям, а коммуны типа Оуэна или Фурье. Ч. вовсе не имел в виду плана Луи Блана, а целиком воспроизводит план Оуэна, который был выдвинут последним в 1848 г., выдвигался им и позднее, отчасти же Ч. примыкает и к проектам Фурье». Но, во-первых, я прямо указываю на влияние Фурье в вопросе о соединении земледелия с промышленностью, а Плеханов (ib., стр. 28) говорит о Роберте Оуэне, которого он даже считает более близким к Чернышевскому, чем Фурье. А, во-вторых, по общей конструкции плана ассоциация Чернышевского все-таки напоминает соответствующие проекты Луи Блана. Наконец, сам Чернышевский (т. VII, стр. 640) заявляет, что он заимствовал свой план у Луи Блана.

Туган-Барановский готов даже усмотреть в этом плане доказательство частичного утопизма Чернышевского. «Для всех утопистов,—говорит он,—характерны вовсе не исторические их построения и не общий их социальный идеал, а характерна их своеобразная тактика». Они—сторонники социальных экспериментов, производящихся в небольшом масштабе, а не в государственных рамках (в пример приводится Оуэн и др.). А Чернышевский, по мнению Туган-Барановского, стоял в этом пункте на той же точке зрения, что и Сен-Симон, Оуэн, Кабэ, и поэтому его можно квалифицировать как утопического социалиста. «Нельзя отрицать, что у Чернышевского была склонность к социальным экспериментам. Вспомните хотя бы мастерские Веры Павловны, новых людей, описанием которых занимается Чернышевский, тех новых людей, которых роль сводится (?) к устройству швейных мастерских. Возьмем его практические предложения, его единственный формулированный проект социальной реформы, где он указывает на необходимость денежной субсидии со стороны государства ассоциациям, в которых будет соединяться земледельческий труд и фабричный... При этом он оговаривается, что нет абсолютной необходимости, чтобы государство непременно поддерживало ассоциации, государственная помощь имеет значение разве только для ускорения. Чернышевский в данном случае становится на точку зрения Оуэна, который тоже предлагал устройство ассоциаций с государственной помощью».

Но,—спешит оговориться Туган-Барановский,—«на ряду со сходством мы имеем перед собой весьма характерное различие: утопические социалисты относились враждебно к политике; что же касается Чернышевского, то в вопросе о политике Чернышевский как раз держался диаметрально противоположной позиции. А потому и черты соприкосновения его с утопическими социалистами нельзя считать существенными, характерными для его духовной физиономии» [1]).

Но вот вопрос: действительно ли Чернышевский, подобно Фурье, Оуэну и пр., смотрел на свой план, как на социальный эксперимент, как на практическое доказательство осуществимости социализма? Если бы это было так, если бы он считал свой план осуществимым при всяком политическом режиме, то пришлось бы признать, что у него этот план носит еще более утопический характер, чем у Лассаля, так как у последнего он связан с мыслью о влиянии рабочих на государство, осуществляемом с помощью всеобщего избирательного права; у Чернышевского же этого не видно. Но в том-то и дело, что это не так. Как мы знаем, Чернышевский полагал, что при существовании самодержавного правительства нельзя провести ни одной малейски серьезной социальной реформы, даже такой, как освобождение крестьян от крепостного права. Для этого Чернышевский считал необходимой радикальную революцию, вырывающую существующий

[1]) Цит. речь, стр. 6—8.

политический режим с корнем. Следовательно, к тогдашней России его план совершенно не относится. Но допускал ли Чернышевский возможность широкого осуществления своего плана в буржуазных государствах (сам он намекает или на Францию, или на Россию после революции)? Думаем, что и это не соответствует его действительной мысли. Мог ли Чернышевский допустить возможность широкого развития производительных ассоциаций, входившего в его общий план социального преобразования, без предварительного социалистического переворота, без захвата власти революционной партией? Сомнительно. Основываясь на известных нам политических взглядах Чернышевского, мы приходим к тому выводу, что в его мысли план насаждения производительных ассоциаций связывается именно с диктатурой революционной партии [1]).

Что это так, что наше толкование является единственно правильным, видно из заключительных слов статьи, на которые ни Плеханов, ни другие, писавшие о плане Чернышевского, не обратили внимания, тогда как в них заключается ключ ко всей статье. Вот, что там сказано: «Почему же такая простая и легкая мысль до сих пор не осуществилась, и, по всей вероятности, долго не осуществится? Почему такая добрая мысль возбуждает негодование в тысячах людей добрых и честных? Это вопросы интересные. Но ими мы займемся когда-нибудь в другой раз». Ответ на вопрос «почему» ясен: потому, что власть находится в руках буржуазии; для насаждения же производительных ассоциаций нужна социальная революция. Не имея возможности поставить точку над i, Чернышевский и обещает поговорить на эту тему в другой раз. У него это значило: ответить на вопрос мешает цензура [2]).

---

[1]) Что Чернышевский имел в виду положение, при котором власть находится в руках социалистической партии, видно, между прочим, из того, что, по его плану, директор товарищества на первый год назначается правительством. Разумеется, он ни за что не пошел бы на это, если бы предполагал наличие царской или буржуазной власти. Это, впрочем, еще более ясно вытекает из заключительных слов статьи, приводимых нами дальше в тексте.

[2]) То, чего не заметил Плеханов, очень хорошо понял автор третьеотделенской записки о литературной деятельности Чернышевского. Прежде всего он устанавливает, что план относится к России на том основании, что Чернышевский говорит, де, о государстве, где правительство «ежегодно бросает десятки миллионов на покровительство сахарным заводчикам и оптовым торговцам, дает десятки миллионов взаймы компаниям железных дорог и тратит десятки миллионов на разные великолепные постройки» (как видим, хорошего о себе мнения было царское правительство!). Но главное внимание свое автор записки останавливает на четвертом признаке, указываемом планом, а именно, что в государстве, к которому относится план, находится среди полей множество старинных зданий, стоящих запущенными и продающихся за бесценок. Как об'яснить эту загадку?—вопрошает автор записки и отвечает: во Франции после революции стояло много запущенных, разрушавшихся, продававшихся за бесценок зданий, замков и домов, из которых крестьяне выгнали помещиков. Но так как Чернышевский говорит не о далеком прошлом, а о будущем, то ясно, что это государство—Россия. «Это на русских полях Чернышевский предполагает в будущем множество опустевших и запущенных зданий. Но что же это за здания? Кем и зачем они будут разрушены? Кто их будет продавать за бесценок? Не монастыри ли это, уничтожения которых так пламенно желает «Молодая Россия»? Не помещичьи ли дома, из которых большие землевладельцы должны быть выгнаны по исповедуемой Чернышевским теории уничтожения частной собственности и математически равномерного распределения богатства?» (Лемке, Политические процессы, стр. 434—435). Надо признать, что враги часто бывают проницательнее друзей. Возможно, что план Чернышевского имел в виду не Россию, а Францию (хотя не исключено и первое), но что он предполагает предварительную революцию и захват власти революционной партией, это III отделение поняло правильно.

А в таком случае его план утрачивает характер «социального эксперимента», о котором говорит Туган-Барановский, сам, впрочем, принужденный ограничить и в сущности отвергнуть свое толкование указанием на позицию Чернышевского в политических вопросах. При нашем толковании плана Чернышевского становится не только понятным, но и вполне естественным указанное Плехановым обстоятельство, т.-е. то, что Чернышевский при выработке своего плана мог взять отдельные черты его из различных социалистических систем. Для него важны были не их индивидуальные черты, а именно общее им предпочтение принципа ассоциации, осуществимого, по мнению Чернышевского, лишь в определенной политической обстановке. Самому же плану Чернышевский, видимо, придавал просто агитационное, показательное значение, стремясь с его помощью дискредитировать капиталистическую систему, и, подчеркнув выгоды коллективного хозяйства, внушить читателю ту мысль, что оно неосуществимо при сохранении власти в руках буржуазии.

Такое же значение имеют и описанные в романе «Что делать?» швейные мастерские, организованные Верой Павловной и являющиеся, по словам Лопухова, «опытом применения к делу тех принципов, которые выработаны в последнее время экономической наукой». Характерно, что дальнейшее развитие мастерских в романе приостанавливается вмешательством полиции, и кружок Веры Павловны начинает задумываться над мыслью о политической борьбе [1]).

В этом пункте мы согласны с Н. Русановым, который именно в таком смысле толкует план Чернышевского и роман «Что делать?», хотя и не связывает их с взглядом Чернышевского на революционную диктатуру. В статье «Ученики Маркса о Чернышевском» («Рус. Бог.» 1909 г., № 11, стр. 66) он, по поводу склонности утопистов решать социальный вопрос «лабораторным путем» с устранением политики, говорит: «План промышленно-земледельческих ассоциаций, который он двоекратно. в «Труде и капитале» и в «Очерках», развертывает (главным образом, по Луи Блану) и радостные, вдохновленные преимущественно Фурье, видения будущего общества в «Что делать?», равно как описание швейной кооперации Веры Павловны,—все это является для Чернышевского только орудием пропаганды и агитации, лишь средством убедить людей, что социализм не только желателен, но и возможен... И в смысле выработки первых кадров проповедников социализма в России действие этих приемов Чернышевского было колоссально» [2]).

Плеханов держится на этот счет иного мнения. Указывая на то, что роман Чернышевского появился в 1863 году, когда Лассаль рекомендовал немецким рабочим ассоциации, как единственное средство хоть некоторого улучшения их быта, Плеханов (т. V, стр. 67—68) проводит между обоими этими деятелями параллель к невыгоде Чернышевского, который ничего, мол, не говорит в романе «Что делать?» о политической самодеятельности рабочего класса. «По сравнению с Лассалем, Чернышевский является в своем романе настоящим утопистом. По сравнению с Чернышевским, Лассаль является в своей агитации истинным представителем новейшего социализма». Более того,

---

[1]) «Что делать?»,—Соч., т. IX, стр. 117—122, 266, 306—315.

[2]) Зато другой эсер, М. Антонов, плохо понявший Чернышевского, хотя и написавший о нем целую книгу, уверяет, будто, «подобно большинству социалистов его времени, Чернышевский был убежден, что социальный вопрос (по крайней мере, на некоторое время) легко и просто разрешается устройством и распространением рабочих ассоциаций» («Н. Г. Чернышевский», М. 1909, стр. 265).

«в своих практических планах Чернышевский был гораздо ближе к Шульце-Деличу, чем к Лассалю».

Но, во-первых, если уже сопоставлять роман Чернышевского с каким-нибудь проявлением деятельности Лассаля, то его нужно было сопоставить тоже с каким-либо художественным произведением последнего, а не с его агитацией, т.-е. чисто политической работой, в которой, разумеется, элемент политический неизбежно проявляется. Было бы странно, если бы в агитации, обращенной к рабочим, Лассаль ничего не говорил о задачах рабочих. Но ведь, как дальше вспоминает Плеханов, Маркс и Энгельс усматривали в планах Лассаля,—действительно практических его планах, а не в беллетристическом произведении,—самую настоящую утопию и на этом основании отказались поддержать его агитацию. В действительности вывод, к которому приводит Плеханова сравнение Чернышевского с Лассалем, надлежит вывернуть наизнанку. Лассаль, рассчитывавший на помощь прусского королевского государства и на конкурентную победу производительных ассоциаций над капиталистическими предприятиями, был утопистом с ног до головы, да еще утопистом мирным (мы уже не говорим о практических шагах Лассаля вроде его секретных переговоров с Бисмарком и т. п., граничивших с ренегатством). Чернышевский же в сравнении с ним был настоящим революционером,—даже в столь неудачно использованном Плехановым романе. Плеханов забывает, что роман печатался в подцензурном издании, в разгар реакции, ставил себе специальные цели и нигде не говорил о неминуемо предстоящей победе швейных мастерских над сталелитейными и другими заводами. Это раз. Роман, по существу посвященный вопросу о женской эмансипации и лишь слегка затрагивающий некоторые социальные мотивы, нельзя брать и оценивать как политическую программу. А главное—даже в этом романе Чернышевский выступает перед нами как революционер, ибо роман заканчивается намеком (по цензурным условиям только легким намеком) на социальную революцию, доставляющую власть революционно-социалистической партии. Вот это была действительная мысль Чернышевского, ставящая его головою выше Лассаля, о чем Плеханов как-будто и не догадывается [1]).

Во всяком случае, если в плане Чернышевского и имеются некоторые следы утопизма, то они не настолько велики, чтобы на их основании зачислять его в представители утопической школы [2]).

У Чернышевского можно найти еще некоторые другие элементы утопизма, но они так тесно переплетены у него со здравыми мыслями и реалистическими замечаниями, что трудно выделить их из общей системы его взглядов. Вспомним его утверждение, что наука политической экономии не должна ограничиваться анализом фактов, а должна указать способы рационального устройства общества [1]). Допустим, что это требование утопично. Но дело изменяется, когда Чернышевский прибавляет, что «формулы абсолютно-выгоднейшего сочетания элементов производства наука может давать лишь самым отвлеченным образом, и лишь в самых общих выражениях, не представляющих никакой определенной картины нашему воображению» [2]). Указание общих основ будущего строя не противоречит современному социалистическому пониманию. И сам Чернышевский набрасывает эти основы социалистического строя в таких общих принципиальных очертаниях, что ничего возразить против них нельзя: «Производители, работая сами на себя, будут, конечно, соображать не случайную принадлежность продукта—цену, потому что главная масса их продукта вовсе и не пойдет на рынок, не будет выходить из их рук, стало-быть, и не будет искать себе цены; работая на собственное потребление, они будут соображать коренные элементы дела: мы располагаем известным количеством рабочего времени и рабочих сил; в какой пропорции выгоднее всего для нас распределить эти силы, это время между разными производствами для удовлетворения разных своих надобностей? Основанием расчета тут будет служить классификация надобностей с соображением того, какая доля труда может быть обращена на удовлетворение известной надобности без вреда для других надобностей, не менее или более настоятельных». Дальше Чернышевский указывает, что только с изменением производства, т.-е. с заменой капиталистической формы социалистической, возможно осуществление условий, требуемых принципом экономического расчета. «Главное из этих условий—точный счет общественных сил и потребностей» [3]), как сказали бы теперь, плановое хозяйство [4]).

(Окончание следует).

---

[1]) Дальше Плеханов цитирует статью, повидимому, не принадлежащую Чернышевскому, и делает из нее вывод, будто Чернышевский не понимал, что «экономическое освобождение пролетариата явится следствием его политического господства, захвата им политической власти в свои руки» (стр. 70). Мы уже не говорим о том, что инкриминируемая статья не содержит того, что вычитал из нее Плеханов, упорно забывающий о тогдашних цензурных условиях, заставлявших говорить намеками. Когда мы встречаем там разговоры о кредите французского правительства лионским рабочим и т. п., мы вправе скорее об'яснить их как надежды на будущее революционно-социалистическое правительство, которое обратит государственные средства на помощь пролетариату. А то, что Чернышевский не возлагал на всеобщее избирательное право неограниченных надежд, в чем также упрекает его Плеханов, говорит скорее в его пользу, чем против него.

[2]) Об этом плане говорит и К. Пажитнов в брошюре «Н. Г. Чернышевский как первый теоретик кооперации в России», М. 1916. Там он, между прочим, уверяет, будто Чернышевский верил в мирные пути (стр. 16). Надо знать сочинения автора, о котором берешься писать.

[1]) Соч., т. VI, стр. 33; т. VII, стр. 81, 364.
[2]) Соч., т. VII, стр. 367.
[3]) Ibid., стр. 328—329, 336.
[4]) Кстати, Плеханов несколько раз (т. V, стр. 67, 99; т. VI, стр. 29) высказывал ту мысль, что «социалистический строй представлялся Чернышевскому в виде ассоциаций». Это неверно. Чернышевский имел в виду национальное (а в будущем и интернациональное, вероятно) хозяйство, организованное по единому плану с учетом производительных сил и потребностей населения. Первичной ячейкой этого общества могла быть ассоциация, но только ячейкой. План его, как мы указывали, имел для него лишь агитационное значение.

Очерки по теории советского хозяйства.

Статья II.

Диалектика развития производительных сил.

Я. Берэтыс.

Итак, начало развития коммунизма в нашей стране положено октябрьским переворотом 1917 г. Условия для его победы в мировом масштабе созданы самим капитализмом. Теперь мы попытаемся установить, через какие стадии будет проходить развитие коммунизма, т.-е. того, по выражению Маркса, «реального движения, которое уничтожает теперешнее состояние», в каких формах происходит это движение и какие факторы обусловливают смену одной стадии другою, более высокой.

Основоположников научного социализма занимала, главным образом, проблема развития капитализма, теоретический анализ законов движения капиталистического способа производства, формы сочетания труда и движение этих форм в рамках буржуазного общества. Однако они не могли пройти мимо такого вопроса, как развитие коммунизма, и оставили нам очень ценное наследство в виде общей наметки пути развития коммунизма и основных этапов этого пути, которые, при всей своей громадной теоретической ценности, конечно, не могут не отличаться своей абстрактностью. Поэтому наша задача сводится к тому, чтобы, основываясь на работах Ленина и на конкретном опыте нашего социалистического хозяйственного строительства, попытаться заполнить эти абстрактные формы более конкретным содержанием, конкретизировать намеченные еще Марксом общие линии и этапы движения, коммунизма.

Из всего разнообразия конкретных явлений в области строительства коммунизма в нашем Союзе мы попытаемся абстрагировать моменты, которые характеризуют процесс развития коммунизма в целом, и моменты, характеризующие отдельные фазы этого процесса. Само собой разумеется, что нам придется ограничиться в этом направлении только крупными, общими характерными чертами, ибо, как подчеркивает Маркс, «эпохи истории общества, подобно эпохам в истории земли, не отделяются друг от друга абстрактно-строгими разграничительными линиями» [1]).

Но самое ценное, что нам оставили в наследство основоположники научного социализма, что облегчает решение нашей задачи, это—метод, подход к ее решению. На анализе развития капитализма

[1]) Капитал, т. I, стр. 361.

Маркс создал богатую методологию по изучению переходной экономики вообще. Такие главы «Капитала», как «Кооперация», «Разделение труда и мануфактуры», «Машины и крупная промышленность», представляют из себя неисчерпаемую сокровищницу богатых мыслей и методологических положений, связанных с исследованием развития капитализма через его последовательные стадии, перехода от феодализма к капитализму. «Начиная с учения о кооперации,—как совершенно справедливо замечает Н. И. Зибер,—мы входим, вместе с Марксом, в область философской истории капиталистической эпохи в ее целом, иными словами,—получаем представление об отношениях развития капитализма. Можно сказать без малейшего преувеличения, что эта попытка изобразить главные моменты постепенного развития новейших способов ведения общественного хозяйства является не только самой удачной как в методологическом, так и во всех прочих отношениях, но также и первой в своем роде» [1]).

Остается только пожалеть, что как раз эти главы «Капитала» в этом аспекте, меньше всего получают места в программах соответствующих курсов нашей высшей школы, несмотря на особую актуальность, которую они, в этой связи, приобретают в условиях нашего социалистического строительства.

В этих главах Маркс дает анализ перехода от феодализма к капитализму, началом которого служит отделение промышленности от сельского хозяйства. «Отделение города от деревни,—говорит Маркс,—можно рассматривать, как отделение капитала от земельной собственности, как начало независимого от земельной собственности существования и развития капитала, начало собственности, имеющей свою основу только в труде и в обмене» [2]). Поэтому капиталистическое производство начинается в промышленности и затем лишь постепенно захватывает земледелие. И в первом очерке мы старались показать, что все развитие капитализма одновременно есть перемещение центра экономической базы общества с земледелия на промышленность, которая при переходе от капитализма к коммунизму снова служит той сферой общественного производства, в которой начинается развитие коммунизма, который затем постепенно будет вовлекать в орбиту своего развития и земледелие.

Отсюда для нас приобретает громадное значение данный Марксом и Лениным анализ развития капитализма через его последовательные стадии, как простое товарное производство, капиталистическая мануфактура и фабрика, к которым Ленин впоследствии добавляет еще новейшую стадию капитализма, это—империализм или монополистический капитализм. Такое расчленение процесса развития капитализма нисколько не нарушает внутреннего единства процесса в целом. Только единство процесса развития капитализма в целом теперь проявляется в различиях последовательных его стадий.

И если капитализм одержал победу над крепостничеством благодаря своей более высокой производительности труда, то историческое чередование последовательных стадий развития капитализма в свою очередь предполагает, что каждая последующая стадия является носительницей более высокой производительности общественного труда по сравнению с предыдущей.

[1]) «Давид Рикардо и К. Маркс», стр. 373, изд. 1897 г.
[2]) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. I, стр. 234.

Следовательно, наша задача сводится к тому, чтобы в данном очерке выявить те основные факторы, которые обусловливают более высокую производительность труда капитализма по сравнению с феодализмом и более высокую производительность труда каждой последующей стадии капитализма по сравнению с предыдущей, чтобы затем, вооружившись методом Маркса, подойти к анализу стадий развития коммунизма.

Вообще говоря, производительность общественного труда есть функция материальных производительных сил общества. Поэтому каждая последующая историческая ступень развития производительных сил общества будет выражать более высокую производительность общественного труда по сравнению с предыдущей. В этом смысле материальные производительные силы суть, по выражению Н. Бухарина, «точный материальный показатель степени общественного развития».

Но для наших целей недостаточно ограничиться таким общим понятием производительности труда и обусловливающих ее факторов. Такое общее определение неизбежно отличается абстрактностью и поэтому не может в достаточной степени осветить интересующий нас вопрос: как, каким масштабом мы можем единый процесс развития производительных сил расчленить на отдельные эпохи—феодализм, капитализм, коммунизм—а эти последние— на последовательные различные стадии развития.

Для решения нашей задачи, поэтому, требуется более детальный анализ производительных сил, который вскрыл бы нам основные элементы их, из взаимодействия которых складывается сам процесс их развития, и которые, в своей совокупности, обусловливают производительность общественного труда на каждой данной ступени развития общества.

Бесспорно, что самой основной производительной силой является сам человек. Однако его энергия об'ективируется в материальных вещах, в средствах труда, которые передаются последующим поколениям и во все возрастающем размере участвуют на ряду с живой человеческой рабочей силой в процессе ее производительного функционирования в форме системы общественных орудий производства, т.-е техники.

В форме техники «производительные силы оказываются совершенно независимыми и оторванными от индивидов, в виде какого-то особенного мира на ряду с индивидами», в то время как на самом деле «эти силы являются действительно силами лишь в сношениях и в связи с этими индивидами» [1]).

Взятые изолированно друг от друга техника и живая рабочая сила представляют из себя производительные силы в потенции. Чтобы из потенциальных они превратились в реальные или активные, необходимо еще одно условие—их определенное сочетание. «Элементы, действующие в трудовом процессе,—по выражению Н. Бухарина,—не куча вещей и людей, а система, где каждая вещь и каждый человек поставлен, так сказать, на своем месте: одно прилажено к другому» [2]), система, в которой все элементы находятся в тесном взаимодействии. Поэтому «определенный способ производства или промышленная ступень всегда связаны с определенным способом сотрудничества или определенной общественной ступенью (рукою Маркса: и этот способ совместной деятельности есть сам некоторая «производительная сила»)» [1]).

[1]) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. I, стр. 249.
[2]) Теория исторического материализма, стр. 126, изд. 1922 г.

Следовательно, производительные силы общества включают в себе в качестве трех основных элементов—технику, рабочую силу и форму сочетания или разделения труда, которая одновременно есть форма собственности. И производительность общественного труда будет обусловливаться на каждой данной ступени общественного развития определенным состоянием и взаимодействием всех этих основных факторов.

Отсюда не трудно видеть, что та или иная ступень развития производительности общественного труда в основном будет обусловливаться двумя основными отношениями: 1) отношением живого труда к накопленному, т.-е. к технике, и 2) отношением личностей друг к другу в производстве. Сумма производительных сил,—говорит Маркс,—это—«исторически созданное отношение к природе и личностей друг к другу, передаваемая каждому поколению его предшественниками,... которые, хотя и видоизменяются с своей стороны новым поколением, но, с другой стороны, предписывают ему его условия жизни и придают ему определенное развитие, особенный характер» [2]).

И если в основе единства истории человечества покоится общий процесс развития производительных сил общества, то в основе расчленения всего исторического процесса развития человеческого общества на эпохи, а последних—на стадии лежат различия в этих, двоякого рода отношениях между тремя основными элементами производительных сил, которые имеют место на отдельных стадиях или в эпохи их развития.

Поэтому Маркс в «Капитале» в основу изучения перехода феодального общества в буржуазное и в основу изучения отдельных стадий этого перехода полагает анализ этих основных отношений: 1) отношение индивида к природе, т.-е. технику промышленного производства, и 2) отношение индивидов друг к другу, т.-е. организацию или разделение труда.

Переход от средневекового цехового ремесла к мелкому товарному производству, подчинение труда капиталу на этой начальной, исходной стадии развития капиталистической промышленности естественно не могло сразу сопровождаться изменениями в технической базе производства. «Капитал подчиняет себе труд сначала при тех технических условиях, при которых он дан ему исторически. Поэтому непосредственно он не изменяет способа производства» (Курсив мой. Я. Б. [3]). На этой стадии техническую основу производства образует ремесленный инструмент, основа производства—ремесло. «Изменение самого способа производства, как результат подчинения труда капиталу, может совершиться лишь позже» (Курсив мой. Я. Б.) [4]).

Далее, переход от мелкого товарного производства в промышленности к капиталистической мануфактуре, равным образом, непосредственно не обусловлен изменениями в технической базе производства. Мануфактура «в начале ее развития едва ли отличается от цеховой ремесленной промышленности чем-

[1]) «Архив», кн. I, стр. 220
[2]) Там же, стр. 227.
[3]) Маркс, Капитал, т. I, стр. 296, изд. 1920 г.
[4]) Там же, стр. 161.

либо иным, кроме большего количества рабочих, одновременно занятых одним и тем же капиталистом. Мастерская цехового мастера лишь расширяет свои размеры» (Курсив мой. Я. Б.) [1]). Большее количество рабочих под одной крышей, под руководством одного капиталиста образует необходимые материальные условия для разделения труда внутри мастерской, для расчленения индивидуального ремесла на частичные операции и обособления этих последних в качестве пожизненных функций отдельных детальных рабочих. На стадии мануфактуры капитал уже изменяет самый способ производства, «в корне революционизирует его». Однако это происходит не в начале, а впоследствии. Изменение техники производства не является предпосылкой мануфактуры, а ее результатом. «С того момента,—говорит Маркс,—когда различные операции данного процесса труда обособились друг от друга, с этого момента возникает необходимость изменений в орудиях, служивших ранее для различных целей» (Курсив мой. Я. Б.) [2]).

Правда, изменения в орудиях труда, в свою очередь, потом оказывают обратное действие на организацию производства, революционизируют форму промышленности, однако на данной стадии такое обратное воздействие на форму организации труда поставлено в узкие рамки консервативным характером технической базы производства, который преодолеть в корне не удается еще мануфактуре. «Раз соответственная форма инструмента эмпирически найдена, застывает и рабочий инструмент, как это показывает переход его в течение иногда тысячелетия из рук одного поколения в руки другого» [3]).

Дальнейший переход от мануфактуры к фабрике или крупной капиталистической промышленности уже обусловливается переворотом в техническом базисе производства. Сущность этого переворота, известного в литературе под названием промышленной революции конца XVIII и начала XIX веков, состоит не в переходе от одной формы двигательной силы в другой, а в переходе от рабочего инструмента к рабочей машине, т.-е. мертвому механизму орудующему одновременно со многими инструментами и приводимого в движение или рукой, или водой, или паровым двигателем.

Промышленная революция началась на технической базе мануфактуры, которая не только производила машины, но также доставляла для машины естественную основу разделения и организации процесса производства. Но свое завершение она получила только после овладения машинным производством, производством самих машин.

Если предпосылкой перехода от мануфактуры к фабрике послужила революция в технической базе производства, то преобразование последней означало начало непрерывного революционизирования форм разделения труда, или форм организации труда и производства, как внутри мастерской, так и в обществе.

Техника крупной промышленности, в отличие от техники ремесла и мануфактуры, по природе своей революционна. «Современная промышленность,—говорит Маркс,—никогда не рассматривает и не трактует существующую форму известного производственного процесса, как окончательную... Принцип крупной промышленности

[1]) Там же, стр. 309.
[2]) Там же, стр. 330.
[3]) Там же, стр 487.

всякий процесс производства, взятый сам по себе и прежде всего безотносительно к руке человека, разлагать на его составные элементы» [1]). Маркс еще в середине прошлого века так формулировал основной принцип крупной промышленности, который Вернер Зомбарт в начале XX века об'явил господствущей «тенденцией к практическому освобождению от ограничений, налагаемых организованной материей — человеком, животным, растением — за основной материальный принцип современной техники», к которому «сводятся все выдающиеся завоевания девятнадцатого века в области техники» [2]).

Крупная промышленность разлагает производственный процесс товара на его составные элементы и постепенно один за другим делает функцией машин. Крупная промышленность захватывает все новые и новые сферы производства и в максимальной степени замещает рабочих машинами. Машина внедряется во все сферы производства, овладевает изготовлением все большего и большего количества товаров или выполнением все большего и большего количества мельчайших операций в производстве одного и того же товара. Таковы те направления, по которым пробивает себе дорогу господствующая тенденция технического развития на протяжении всего XIX века.

Господствующая тенденция в первую очередь устремлялась на максимальное сокращение живой рабочей силы в производстве и, при дальнейшем развитии техники, ее завершением,—по выражению М. Рубинштейна,—должен явиться «автоматизм производственного процесса» [3]).

Благодаря быстрому развитию техники, не только рост постоянного капитала обгонял рост переменного, но также происходило постоянное увеличение размеров нормального индивидуального капитала. В условиях неорганизованного производства это неизбежно приводило к обострению конкуренции и ускорению процессов централизации капиталов и концентрации производства. А последнее, в свою очередь, подготовляло условия для возникновения монополии. «Повышение «нормального» размера экономически выгодной производственной единицы,—как совершенно правильно подчеркивает П.. Фицгеральд,—автоматически приводит к постоянному сокращению количества предприятий, при одновременном росте общей продукции, и тем самым облегчает соглашение между конкурирующими между собою предпринимателями» [4]).

Точно в таком же духе пишет американский автор Дженкс, который заявляет, что в течение всего XIX века имело место «постоянное увеличение капитала, количество рабочих и стоимость годового производства на данное предприятие во всех основных отраслях крупной промышленности. Движение трестизации есть не что иное, как новейшая стадия этой столетней тенденции к увеличению размеров предприятий, и поэтому трест есть нормальный продукт промышленной эволюции» [5]).

Следовательно, не только марксисты, но даже буржуазные экономисты сходятся по вопросу, что «переход от капитализма к империализму, как новейшей стадии капита-

[1]) Там же, стр. 487.
[2]) История эконом. развития Германии в XIX в., вып. I, стр. 124, изд. Брокгауз-Эфрон.
[3]) Современный капитализм и организация труда, «Моск. Раб.», 1923 г., стр. 34.
[4]) P. Fitzgerald, Industrial Combination in England, London 1927, p. 2.
[5]) J. W. Jenks, The Trust Problem, New-York 1925, p. 21.

лизма», во всех передовых странах совершившийся на пороге XX века, непосредственно не был обусловлен изменениями в технике производства. Техника сохранила свой прежний тип. И весь ее прогресс в течение всего XIX века есть только количественный рост данного типа. Отсюда, нет никаких оснований говорить о каком-то качественном отличии технической базы империализма от технической базы капитализма. Переход на монополистическую стадию капитализма обусловлен изменениями не в технической основе, а в организационной структуре капиталистической крупной промышленности. Основная предпосылка перехода, это — определенная ступень концентрации производства.

«Порождение монополии концентрацией производства,—говорит Ленин,—вообще является общим и основным законом современной стадии развития капитализма» [1]). И если Маркс в отношении мануфактурной стадии писал, что «мастерская цехового мастера лишь расширяет свои размеры», то в основном это можно отнести к характеристике капиталистического предприятия начала монополистической стадии по сравнению с предыдущей стадией. Больший размер капитала, больше рабочих рук под командой одного или группы капиталистов,—вот что составляет необходимые материальные условия для перехода капитализма в империалистический или монополистический капитализм, для перехода к качественным изменениям в организационной структуре капитализма.

Но революция в организационной структуре капитализма, выражающаяся в замене конкуренции монополией, не могла не оказывать своего обратного влияния на техническую базу производства. Но революция в технике не предшествовала переходу, а явилась его последующим результатом, равно как зарождение машинной техники непосредственно было подготовлено революцией в области организации трудового процесса на стадии мануфактуры.

Правда, Ленин, теоретически обосновавший империализм, устанавливает «тенденцию к застою и загниванию» также в области технического прогресса на стадии монополистического капитализма. «В отдельных отраслях промышленности, в отдельных странах, в известные промежутки времени» эта тенденция может брать верх над «тенденцией повысить прибыль посредством введения технических улучшений» [2]). «Однако,—говорит Ленин в другом месте,—было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма: нет, отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии, отдельные страны проявляют в эпоху империализма с большей или меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций. В целом, капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде, растет, но этот рост не только становится вообще все более неравномерным, но неравномерность проявляется также, в частности, в загнивании самых сильных капиталом стран (Англия)» [3]). (Курсив мой.—Я. Б.).

И, пожалуй, никто из сведущих в вопросах развития мирового капиталистического хозяйства не станет отрицать технического про-

[1]) Собр. соч., т. XIII, стр. 249, изд. 1.
[2]) Там же, стр. 314.
[3]) Там же, стр. 333.

HOOVER LIBRARY

гресса в XX веке, особенно заметного во время и после империалистической войны 1914—1918 гг.

Перевод военного и торгового флотов на жидкое топливо и быстрое строительство моторных судов, быстрое развитие авто- и воздушного транспорта, быстро прогрессирующее использование «белого угля» и низкосортных видов минерального топлива, как новых источников механической энергии на ряду с каменным углем и нефтью, переход на методы массового производства и быстрое внедрение электричества в крупную промышленность—вот те основные направления, по которым направляется техническое развитие на отдельных участках мирового капиталистического хозяйства, и общее русло которого можно рассматривать, как начало технической революции XX века.

Основное в этом многостороннем процессе развития техники, что качественно изменяет технику крупной промышленности и этим подготовляет новые условия для изменений в ее организационной структуре, это — переход с пара на электричество и переход на методы массового производства. Если промышленная революция на пороге XIX века исходила из исполнительного механизма машины, то техническая революция в XX веке своим исходным пунктом имеет двигательный механизм, а вслед за этим соответственно изменяет форму передаточного механизма. Основное в техническом прогрессе XX века, это—переход от одной формы двигательной силы к другой, более совершенной, от пара к электричеству, от парового к электрическому двигателю, который вообще начинается на монополистической стадии капитализма, при этом ускоряется во время империалистической войны, и особенно интенсивно продолжается после войны.

Электрификация, т.-е. переход от пара к электричеству, находится в тесном взаимодействии с методами массового производства и, можно сказать, в значительной мере обусловлена последними.

Среди методов массового производства первое место занимает стандартизация производства. Под стандартизацией надо понимать прежде всего сведение множества различных образцов или типов одного и того же товара к одному или нескольким образцам. Это значительно расширяет рынок для каждого стандартного типа и открывает возможность специализации заводов на производстве отдельного типа товара. Последнее обстоятельство очень важно, так как оно создает все необходимые условия для дальнейшей работы по стандартизации заводского оборудования, стандартизации процессов труда и стандартизации управления производством.

Но что заслуживает особого внимания, это то, что массовое производство стандартного товара и вся работа по стандартизации в целом революционизирует дальнейшее разложение производственного процесса массового товара на мельчайшие и простейшие операции, каждая из которых превращается в функции машины или других приспособлений. Так что стандартизация способствует широкому применению в промышленности специальных машин или автоматов, приспособленных для особого назначения. «Токарный станок,—пишет I. Гарбоц,—есть такое орудие, которому свойственно известное обобщение, иногда даже универсальность. Но если он, вследствие производства каких-либо стандартных отдельных частей, приспособляется для более ограниченного назначения, тогда может получиться, например, револьверный станок. Ограничение производства форм продукто-

исключительно одинаковыми, лишь немного отличными друг от друга по размерам, образцами, приводит в конце концов к автоматам. Здесь специализация доведена до высшей степени, а вместе с тем невероятно возрастает и производительность» [1]).

Все это еще более ускоряет процесс централизации и концентрации производства. Крупные предприятия превращаются в крупнейшие. Система расчлененных машин еще более усложняется и разрастается, а вместе с ней разрастается и территория завода. Отсюда прежде всего, вырастает экономическая необходимость механизации не только процессов выделки товара, но также внутризаводского транспорта, процессов передвижения сырья, отдельных частей и деталей и готовых изделий как внутри завода, так и в завод и из завода.

Механизация внутризаводского транспорта с изобретением конвейера достигла такового высокого развития, когда массовое производство одновременно превратилось в непрерывное производство, когда, по выражению М. Рубинштейна, «одна рабочая операция как бы цепляется за другую, в непрерывной и закономерной последовательности, восстанавливая единство разложенного на сотни частичных операций производственного процесса».

Вот как проф. Н. С. Лавров описывает поток производственного процесса на заводе Форда, который является синтезом всех тенденций и достижений технического процесса капитализма на его высшей стадии [2]):

«Так называемый цикл вращения материалов настолько грандиозен, что если бы человек мысленно представил себе течение рек черных материалов, которые влекутся для распространения массы по станкам и обратно вытекают в обработанном виде каждую секунду то это представление поразило бы всякого своей невообразимостью.

Все это движется по большой дороге, разрезающей пополам корпус, в котором идет работа. Все материалы движутся поездами, которые отправляются туда и обратно мерными количествами по одно-рельсовому пути, по изобретенной самим Фордом дороге. Затем, подведенные на этой большой дороге, они спускают готовые тележки и сейчас же берут тележки, наполненные обработанными вещами. И тут же необработанные части распределяются по всей мастерской ручьями куда следует, также по воздуху, но уже без посторонней силы, одним лишь самокатом.

На воздухе везде устроены лотки-самокаты, самоскользящие желоба, по которым необработанные и обработанные вещи, сообразно с их тяжестью, доставляются по назначению сами собой, как текучая жидкость, совершенно не занимая особого места там, где идут процессы разновидного резания.

Транспорт другого вида материалов несется под землей по трубам, подтекая к каждому станку, горну и машине, к каждой печи. Трубы, заменяя рельсовые пути, транспортируют под землей воду, газ, нефть. Мылопроводы, маслопроводы, паропроводы и вообще трубопроводы не только доставляют, но и убирают обратно излишки всяких жидкостей... Все это совершается в цикле вращения, в каждую секунду согласуясь с необходимым количеством потребления. Весь цикл вращения всех материалов представляет из себя почти часовой механизм, при котором нельзя изменить действие, подчиняя его слу-

[1]) «Стандартизация в промышленности», перевод с немецкого, изд. НК РКИ СССР, 1926 г., стр. 72.

[2]) Основы организации труда и производства, Ленинград 1926 г., стр. 43 и 44.

чайному желанию и прихоти управляющего, заведующего или даже рабочего».

Автоматизм производственного процесса, который в XIX веке рисовался еще как более или менее отдаленная цель, на стадии монополистического капитализма становится фактом действительности, имеющим все необходимые технические условия для всеобщего распространения. Повидимому, в связи с этим и науке об организации труда и производства предстоит превратиться в точную науку, применяющую математические формулы к производственному процессу в целом.

Однако технический прогресс в форме стандартизации и массового производства явно перерастает границы частной капиталистической собственности и вступает в неразрешимое мирным путем противоречие с обусловленной ею анархией капиталистического производства. «Такая специализация, которая означает планомерную организацию производства, только тогда действенна, когда она распространяется на все народное хозяйство» [1]).

Кроме того, стандартизация и массовое производство, концентрируя все больше и больше машин, механизмов, автоматов и приспособлений вокруг одного центрального двигателя, на определенной ступени развития порождает экономическую и техническую необходимость перехода к более мощной и более совершенной форме двигательной силы. При ременной передаче исполнительные машины могли отодвигаться от двигателя на определенное, относительно незначительное расстояние. За определенным пределом передача посредством ремней становится технически - затруднительной и экономически - невыгодной.

Поэтому при массовом производстве и широком применении специальных машин скоро наступает момент, когда дальнейшее усовершенствование исполнительного механизма и системы машин вступает в противоречие с господствующей формой двигательной силы—паром и соответствующей ей форме передаточного механизма.

Это обстоятельство, на ряду с другими более общего характера факторами, превратило переход от пара к электричеству из теоретической необходимости в конкретный факт последних 20—30 лет.

Электрификация охватывает все мировое хозяйство. Различия между отдельными странами в этом отношении—только в темпах процесса и в размерах достигнутых результатов.

Мировая продукция электрической энергии в 1925 г. достигла цифры в 164 миллиарда квч. [2]). Если из размеров продукции шести [3]) стран, по которым имеются данные за 1913 г., вычислить мировую продукцию электрической энергии 1913 г., то мы получим цифру в 41,0 миллиард. квч. Следовательно, мировая продукция по весьма приблизительным подсчетам за период с 1913 по 1925 г. увеличилась в четыре раза, т.-е. в среднем в год возрастала на 25 проц.

[1]) H. Lage, Vereinheitlichung industrieller Produktion, S. 132, Jena 1922.

[2]) Данные позаимствованы из докладов, представленных разными странами на международную экономическую конференцию, имевшую место в Женеве в мае 1927 г. «Electrical Industry».

[3]) Страны след.: Германия, Соед. Штаты, Великобритания, Италия, Россия и Швейцария.

Для более детального качественного анализа процесса мы остановимся вкратце на рассмотрении электрификации в четырех главных странах Америки и Европы.

С. Штаты занимают первое место в мире по размаху работ по электрификации. Об этом свидетельствует рост установленной мощности электрических станций общественного пользования, которая составляла в миллионах квт.:

		Увеличение в % за период	
1912 г.	5,6		
1917 „	9,3	292,8	66,0
1922 „	15,1		136,5
1925 „	22,0	292,8	45,6

За весь рассматриваемый период установленная мощность увеличилась на 292,8 проц., т.-е. средний годовой прирост составлял 22,5 проц. При этом более быстрый прогресс наступил после войны. Так, например, если с 1912 по 1917 гг. ежегодный прирост равнялся 13,2 проц., то с 1917 по 1925 гг. он поднимается до 17,0 проц. в год. Однако в последние три года темп прироста затухает, опускаясь до 15,2 проц. в год.

С. Штаты не только богаты каменным углем, но и белым углем. По данным первой всемирной энергетической конференции, имевшей место в Лондоне в 1924 г., в С. Ш. сосредоточено 25.975 тыс. кв. гидросилы, что составляет 64,3 проц. от всех американских запасов. Поэтому здесь наиболее благоприятные естественные условия для электрификации, которая происходит как на базе каменного угля, так и гидросилы.

Из общей мощности электрических станций общего пользования приходилось на гидроэлектрические станции [1]):

на 1 января 1913 г.	39%
„ „ 1923 г.	32%
„ „ 1927 г.	35%

Использование гидросилы, в целях производства электрической энергии, все продолжает прогрессировать. По сообщению Electrical World [2]), в постройке находятся около 1.975 тыс. л. с., из которых должны были поступить в эксплоатацию в 1927 г.—1.100 тыс. л. с., остальные 875 тыс. л. с.—в 1928 г. В течение 1926 г. поступило 102 новых проекта на сооружение гидроэлектростанций, 60 из коих на общую мощность в 4.632 тыс. л. с., а 25—на 1.323 тыс. л. с.

Германия идет во главе Европы в деле электрификации. Установленная мощность электрических станций общественного пользования быстро возрастала и составляла в тыс. квт.:

		Увеличение в % за период:	
1913 [3])	1.444		
1922 [4])	2.978	321,4	106,2
1925 [5])	5.938	321,4	99,4

Словом, мощность возросла на 321,4% за весь период, т.-е. на 26,8% ежегодно.

Но, не в пример С. Ш., темп электрификации в Германии в последние годы значительно ускоряется. Если за 1913—1922 гг. [illegible]

[1]) Electrical World, January 1927.
[2]) Electrical World, August 27, 1927.
[3]) Coal and Power, App. B.
[4]) Economist, Nov. 6, 1926.
[5]) Там же.

мощность ежегодно увеличивалась на 11,8%, то в последние три года ежегодный прирост доходит до 33,1%.

В Германии, где в общих энергетических ресурсах каменный и бурый уголь занимают (98,2 + 1,37) = 99,5% [1]), а на долю гидросилы приходится только 0,32%,—электрификация своей основной естественной базой имеет уголь, а не воду.

И, на самом деле, роль гидроэлектроустановок незначительна, хотя постепенно возрастает. От общей мощности установок на долю гидроэлек. приходилось:

1913 [2])	9,1%
1924 [3])	13,1%
1925 [4])	14,0%

В это же время в 1913 г. на угле работало 88,3% установленной мощности, а в 1924 г.—85,1%, при чем роль бурого угля за этот период возросла с 26,3 до 36,1%. Кроме того, все большее и большее применение получает газ, добываемый из каменного угля. В 1925 г. на нем уже базировалось 10% установленной мощности.

Производство энергии в Германии [5]) концентрировано в трех основных районах: 1) Рейнско-Вестфальском, 2) Саксонско-Бранденбургском и 3) Южно-Германском, которые вместе дают 80% общегерманской продукции электроэнергии. При этом первый из них главным источником первичной энергии имеет каменный уголь, второй—бурый уголь, а третий—воду. Впереди всех идет Рейнско-Вестфальский район, где на душу населения в 1925 г. приходилось 573 квч., за ним Саксонско - Бранденбурский район, где на душу приходится 407 квч., а на последнем месте идет Южно-Германский район, выпустивший в том же 1925 г. только 266 квч. на душу населения.

Франция не отстает от других стран в области электрификации. Установленная мощность всех ее электрических станций составляла в тыс. квт. [6]):

		Увеличение в % за период:	
1913	1.647		
1922	3.073	206,1	86,5
1925	5.042		
1926	5.400	206,1	75,7

Как видим, во Франции ежегодная норма прироста с 1913 по 1925 г. составляла 17,2%. Но темп электрификации после войны протекает более интенсивно, чем во время войны. Во время войны ежегодный прирост мощности 9,6%, после—18,9%.

Франция принадлежит к тем странам, которые относительно бедны запасами каменного угля, но обладают достаточно богатыми запасами гидросилы. Если, согласно данным той же Первой всемирной энергетической конференции, на всю Европу приходится половина мировых гидроресурсов, то из них на Францию падает 7,5 млн. квт., или 10% европейских запасов.

[1]) Hadbuch der deutschen Wirtschaft, 1927, von A. Nobel, Berlin 1927, S. 326.
[2]) Там же.
[3]) Там же.
[4]) Wirtschaft und Statistik, №№ 13, 15.
[5]) Там же.
[6]) J. K. Cahill, Report on the Economic and Ind. Conditions in France 1925—26, London 1927, p. 11.

Поэтому во Франции на ряду с каменным углем заметное место занимает вода в качестве первоисточника энергии. Так, из общей установленной мощности приходилось на гидроэлек. установки:

1913	39,2%
1922	51,1%
1926	35,2%

Как видно, особенно быстрый прогресс в деле использования гидросилы имел место в первые годы после войны, причину чего надо искать в тогдашней конъюнктуре мирового каменноугольного рынка и в послевоенной разрухе своей отечественной добычи. В последние годы, как видим, преимущество отдается каменному углю.

Англия, в свое время наиболее передовая промышленная страна, родина промышленной революции конца XVIII и начала XIX века, теперь плетется в хвосте всех других передовых стран в деле электрификации.

Об успехах ее на этом поприще, за неимением данных об установленной мощности станций, можно составить суждение по данным годовой продукции электроэнергии, которая составляла в миллиардах квч.:

1913 [1]	2.500	232,8	118,2 / 52,4
1923 [2]	5.456		
1925 [3]	8.320		

За весь период средний ежегодный прирост составлял 19,4%. Но такой высокий % прироста за весь период получается за счет значительных успехов последних 2 лет. В то время, как до 1923 г. средний годовой прирост равнялся только 11,8%, в последние годы он вскакивает до 26,2%.

В последние годы, повидимому, положение начинает меняться, и намечается более быстрый прогресс.

В последнее время выдвинут широкий план электрификации юго-восточной Англии, включая и Лондонский электрический район. План обнимает территорию в 8.828 кв. километров, с населением в 11,4 млн. чел. Ядро схемы составляет Лондонский электрический район, площадь которого равна только одной пятой от всей, но на ней концентрировано 8,2 млн. населения. Во всей юго-восточной Англии в 1925 году на голову населения производилось 113 квч. энергии: в Лондонском районе—125 квч., в остальной части—81 квч.

Благодаря раздроблению производства между множеством предпринимателей—производство не может быть поставлено рационально и энергия обходится очень дорого. Так, напр., для освещения отпускалась за 7d до 1s за 1 квчас, для механической работы—за 1,5 до 5,5d за квч.

Теперь Electricity Commissioners в составлении плана исходит из расчета, что во всем районе потребление энергии ежегодно будет возрастать на 20,4% и соответственно этому производство энергии к 1940/41 г. должно подняться до 5.994 млн. квч. Следовательно, согласно проекта, потребление энергии на душу должно подняться к 1940/41 г. с 113 до 400 квч.

Чтобы удовлетворить такой быстрый рост потребления, предполагается перейти к массовому производству энергии. Из ныне функ-

[1]) Electrical Industry, Intern. Econ. Konference, Geneva 1927.
[2]) World Power, July 1927.
[3]) Electrical Industry, Intern. Econ. Konference, Geneva 1927.

ционирующих 135 станций 122 намечено к закрытию. Так что будут оставлены только 13 наиболее крупных и рационально поставленных. И после известного расширения старых и сооружения еще пяти новых, все производство будет сосредоточено на 18 станциях с общей мощностью в 2.461.575 квт.

Сооружение двух главных линий передач с напряжением в 132.000 вольт возлагается на Central Board.

Осуществление плана потребует затраты в 30 млн. фун. стерл., и срок окончания—1940/41 г.

В Англии, за неимением запасов гидросилы, электрификация строится на каменном угле.

Итак, с количественной стороны электрификация главнейших капиталистических стран достигла за последние 12—15 лет значительных результатов. Но темп ее крайне неравномерен.

Но не менее важны качественные последствия, сопровождающие количественный рост. Форма электрической энергии, в отличие от паровой, обеспечивает возможность ее передачи на расстоянии в сотни верст. И усовершенствования в передаточном механизме с каждым годом все больше увеличивает это расстояние.

В силу этого преимущества электрической энергии открываются широкие перспективы для вовлечения в эксплоатацию таких источников энергии, как бурый уголь, торф, гидросила и пр., эксплоатация которых при паровой технике была невозможна. Поэтому мы видим, что электрификация совершается не только на каменном угле, но также на гидросиле и других видах так наз. местного топлива. Даже можно сказать, что преимущество отдается прежде всего гидросиле и другим малоценным видам топлива, как это мы видим на примере Германии.

Следовательно, как результат перехода с пара на электричество мы имеем децентрализацию энергетической базы мирового хозяйства. Последняя не только территориально расширяется, но в значительной мере увеличивает свою экономическую мощь, так что переход на электричество открывает новые широкие возможности в области дальнейшей замены человеческой мускульной энергии механической энергией во всех отраслях человеческой деятельности.

Рост установленной мощности электрических станций в главных странах сопровождается еще более быстрым ростом годовой продукции энергии. В 1925 г. размеры последней поднялись в С. Штатах до 65,8, в Германии до 11,5, во Франции до 9,7 и в Англии до 8,3 миллиарда квч.

Такой быстрый рост продукции одновременно означает и быстрый рост потребления электрической энергии. Как в свое время паровая техника прежде всего завоевывала себе место под солнцем в промышленности, а оттуда прокладывала себе путь в транспорте и только в последнюю очередь в сельское хозяйство, так теперь электрическая техника прежде всего вытесняет паровую в крупной промышленности. Для характеристики процесса соревнования электричества с паром за господство в крупной промышленности мы здесь приведем данные по промышленности С. Штатов [1]):

[1]) «Electrical World», Oct. 1, 1927.

ГОДЫ	Общая сумма механич. энергии в пром. в млн. лош. сил	В том числе в %	
		Паров.	Электрич.
1914	22,3	61	39
1919	29,3	45	55
1923	33,0	33	67
1925	35,8	27	73

Такая же борьба между паром и электричеством происходит в германской и английской промышленности:

	Германия [2]		Англия [2]	
	1907 г.	1925 г.	1907 г.	1924 г.
Количество механ. энергии, применяемое в промышленности, в млн. лош. сил	7,7	17,6	10,6	17,5
В том числе:				
а) паровой %	80	34	84	80
в) электрич. %	20	66	16	20

Между двумя последними переписями в германской промышленности количество применяемой электрической энергии возросло на 663,5%, а паровой только на 183,7%. И насколько головокружительным является процесс завоевания электричеством германской промышленности, настолько медленно этот же процесс протекает в Англии. Надо ли еще более яркой иллюстрации неравномерного прогресса техники на стадии монополистического капитализма?

И также во Франции в 1925 г. промышленность электрифицирована, примерно, на 40%. После восстановления разрушенного во время войны горно-промышленного района Северной Франции—Па де-Кале и Зомме, количество применяемой механической энергии к марту 1924 г. увеличилось там на 18,5%. Но одновременно с этим количество применяемой паровой энергии снизилось до 63,6% при одновременном почти девятикратном увеличении количества электрической энергии по сравнению с 1913 г. [3]).

Словом, общая тенденция наметилась твердо. Она направлена на вытеснение пара электричеством прежде всего из крупной промышленности, на замену паровой техники электрической.

Вслед за промышленностью определенно намечается электрификация ж.-д. транспорта. В Европе в 1921/22 г., из общей сети жел. дор. в 370.000 километров, 2.200 километров, или 0,6%, было электрифицировано, а в 1926 г., из общей длины сети в 380.000 килом., уже электрифицировано было 6.000 клм., что составляет около 1,6% от общей длины сети.

По отдельным странам состояние и прогресс электрификации очень пестрый [4]):

[1]) Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1927.
[2]) Manchester Guardian Commercial, Oct. 29, 1925.
[3]) «Coal and Power», App. C., p. 223.
[4]) «Electrical Industry», Int. Ec. Konference, p. 41

	Общая длина жел.-д. сети электрифицирована на %%	
	1921/22	1926
Швейцария	10,0	15,6
Швеция	2,6	5,9
Австрия	2,1	5,2
Италия	2,5	4,8
Франция	0,3	2,0
Германия	0,7	1,7
С. Штаты	0,4	0,8
Англия	0,3	0,3

Электрификация жел. дор., как видим, еще не продвинулась далеко вперед. Однако она уже выходит из экспериментальной стадии и вступает на путь быстрого прогресса. «В ближайшие годы,—заявил на одном из собраний М. Слоан, президент Бруклин Эдиссон К°,—электротехническая промышленность будет призвана участвовать в электрификации железных дорог в крупном масштабе. Опыт уже электрифицированных ж.-д. линий и технические исследования, проведенные железными дорогами и электрическими компаниями, подтверждают возможность реализации таких поразительных экономических выгод, что смена двигательной силы становится неизбежной, несмотря на масштаб и сложность самой проблемы» [1]).

И, наконец, электрическая энергия начинает проникать в сельское хозяйство. Хотя электрификация последнего еще находится на опытной стадии, все же логика развития энергетической промышленности сама по себе представляет достаточную гарантию, что и здесь прогресс будет пробивать себе дорогу.

В электрификации деревни непосредственно заинтересован капитал энергетической и электротехнической промышленности. Ведь чем дальше пойдет процесс концентрации и централизации производства в энергетической промышленности, тем длиннее линии передач, тем более широкие территории они будут пересекать, тем большее число городов, сел и деревень они смогут включать в орбиту своего возможного обслуживания. Экономическая работа такой сети предполагает, что эти высоковольтные линии передач и текущие по ним мощные потоки электрической энергии по пути своего следования отделяли от себя по всем направлениям мелкие струи самого разнообразного напряжения для удовлетворения постоянных абонентов. И чем гуще сплетется сеть подобного рода мелких ответвлений вокруг основных высоковольтных линий передач, чем гуще низовая распределительная сеть энергии, из этих мощных каналов,—тем выше будет нагрузка районных электрических станций, тем меньше станет разница между технически и экономически возможной производительной способностью, тем на большее количество произведенных киловатт-часов будет распределяться сумма эксплоатационных и амортизационных расходов, тем, следовательно, ниже будет себестоимость продукции.

Председатель правления Всеобщей Электрической Компании—О. Д. Юнг, выступая 6 апреля 1925 г. в Албании по вопросу об электрификации сельского хозяйства в штате Нью-Йорк, заявил, между прочим, следующее: «Установлено, что интересы как индустрии, так равно и общества, требуют крупных силовых станций, выгодно расположен-

[1]) Electrical World, Dec. 10, 1927.

ных и снабжающих энергией крупные районы. Они должны сменить мелкие, разрозненные по отдельным обществам, электрические станции. С переходом к таким крупным электрическим станциям достигнуто снижение издержек производства. Компании нашли выгодным выравнивать коэффициент нагрузки путем различного применения энергии в разных местах и разное время дня. Однако, когда крупные районы обслуживаются одной компанией, когда гигантские линии электропередач проходят через сельские общины, чтобы соединить один город с другим, когда фермы и мелкие деревни находят, что они не могут извлечь пользы из этих линий, проходящих прямо мимо их дверей,—они начинают спрашивать и, по моему мнению, справедливо спрашивать, почему они, входя в состав энергетического района, не должны иметь возможность ее применения».

Следовательно, способ производства и распределения электрической энергии, обусловленный более высокой формой последней, сам по себе предполагает необходимость электрификации сельского хозяйства на ряду с промышленностью и жел.-дор. транспортом. В этом отношении переход с пара на электричество создает все необходимые условия для технического преодоления отсталости сельского хозяйства и противоположности между городом и деревней. Переход с пара на электричество означает централизацию производства и распределения механической энергии при одновременной децентрализации ее потребления.

Весь процесс электрификации в целом, поэтому, надо оценивать, как начало революции в техническом фундаменте общества, поднимающей последнее на более совершенную, на более широкую и на более глубокую и мощную материально-техническую основу.

Будет ли суждено капитализму завершить начавшуюся техническую революцию и на основе ее достижений вступить в полосу нового под'ема, какая в свое время сменила техническую революцию начала XIX века?

Надо наперед сказать, что новая форма механической энергии по своей природе не совместима с формой капиталистического способа производства.

Процесс концентрации производства—закон капиталистического способа производства. Энергетическая промышленность не составляет исключения из этого закона. Быстрый приток капиталов в энергетическую промышленность, которому обязан прогресс в области электрификации за последнее десятилетие, неизбежно приводит в результате конкуренции к уничтожению электрических станций местного значения и организации гигантских электрических станций общественного пользования, рассчитанных на производство электрической энергии не для отдельного предприятия, а для удовлетворения потребностей в энергии целых прилегающих к ним районов.

Этот процесс, напоминающий как бы вытеснение мануфактуры фабрикой из энергетического производства, можно проследить на примере любой из выше нами рассмотренных стран. Для примера мы здесь приведем данные, характеризующие динамику соотношения между электрической энергией, получаемой с заводских установок, и электрической энергией—со станций общественного пользования, применяемой в промышленности Соединенных Штатов С. А.:

	1899	1904	1909	1914	1919	1923	1925
Электрические двигатели приводились в движение электр. энергией, получаемой в %%							
а) с зав. установок	63,0	72,3	63,7	55,6	42,5	39,8	39,0
в) со ст. обществ. пользования	37,0	27,7	36,3	44,4	57,5	60,2	61,0

Цифры сами говорят за себя. Соотношение, которое имело место в 1899 году, за 25 лет превратилось в свою противоположность. Этот процесс обусловливается специфическим свойством, присущим только электрической энергии—способностью быть передаваемой на значительные расстояния и технической и экономической возможностью этой передачи. И он означает развитие крупного общественного разделения труда—отделение производства электрической энергии в виде самостоятельной энергетической отрасли промышленности от всех прочих отраслей производства и хозяйства, как потребителей этой энергии.

А так как в круг потребителей электрической энергии постепенно вовлекается все население, то обособление производства электрической энергии в качестве самостоятельной отрасли промышленности означает одновременный рост экономической зависимости всего общества, прежде всего индустрии, от капитала энергетического производства. Отсюда возникает противоречие интересов между капиталом энергетической промышленности и капиталом всех прочих отраслей промышленности.

Появившись на свет, это противоречие не может исчезнуть, а, наоборот, оно с каждым днем будет усиливаться, ибо оно питается из такого неиссякаемого источника, каким является концентрация и централизация производства в самой энергетической промышленности.

Концентрация и централизация производства электрической энергии быстро идет вперед во всех странах и достигла уже высокой ступени развития.

В Германии по переписи 1925 г. насчитывается 7.492 электрических станции, в том числе и станций местного значения. Из этого общего количества станций с установленной мощностью до 2.000 квт. насчитывалось 6.577, или 88%, но доля их продукции в валовой продукции всех составляла только 10%; станций с установленной мощностью от 2.000 до 10.000 квт. было 481, или 6,6%, и они доставляли 16% продукции; наконец, станций с установленной мощностью свыше 10 тыс. квт. было всего 434, т.-е. 5,4%, но они доставляли целых 74% годовой продукции страны.

Электрические станции крупнейшей из германских компаний—Elektrowerke A. G.—в 1920 году выпустили на рынок 769 млн. квч., а в 1924 г. уже 1.410 млн. квч. энергии, т.-е. продукция за четыре года увеличилась на целых 83%.

В Париже с 1918 по 1922 г. количество электрических компаний сократилось с 8 до 3, но установленная мощность или об'единенных 12 станций увеличилась за это же время вдвое. Мощность одной из них—гидроэлектрической станции—Gennevilliers—на реке Сене в 1922 г. достигла 200 тыс. квт., а теперь уже поднялась до 340 тыс. квт.

Но самый яркий пример нам дают опять-таки С. Штаты. Компаний, доставляющих свыше 100 млн. квч. энергии в год каждая, там насчитывалось [1]):

[1]) Supplement to «Electr. World», April 1925.

ГОДЫ	Число компаний	Общая их продукция в млн. квч.	В %% от всей продукции энергет промышленности
1920	63	29,0	66,7
1922	80	34,5	72,5
1923	99	44,2	86,9
1924	106	48,7	89,3

Комментарии излишни. Число таких крупных компаний продолжает возрастать. На 1 января 1927 г. их уже насчитывалось не 106, а 118 [1]).

Если из 106 выделить 63, которые существовали в 1920 году, то по этим мы имеем за четыре года увеличение продукции с 29,0 до 40,4 миллиардов квч., т.-е. на 39,2%, а доля ее в общей продукции страны поднялась с 66,7% до 74,1%.

В числе 63 имелось 11 компаний, каждая из которых выбрасывала ежегодно на рынок больше одного миллиарда квч. энергии, а все вместе в 1924 году—33,9% от всей национальной продукции.

Одним словом, производство электрической энергии в С. Штатах, да и вобще во всех странах, об'единяется в руках крупных и крупнейших компаний. Вырабатываемая последними энергия, занимает все большую и большую долю в общей продукции энергетической промышленности. Радиус района обслуживания все увеличивается. Производство и снабжение электрической энергией потребителя быстро монополизируется.

Процесс концентрации и централизации производства в энергетической промышленности, в отличие от других отраслей промышленности, отчасти ускоряется еще техническими особенностями производства и распределения электрической энергии. В то время как в других отраслях промышленного производства функции производства и распределения товара отделимы друг от друга и по месту и по времени, здесь эти функции технически не разделимы. Технически нельзя отделить производство от распределения электрической энергии. Если под производством электрической энергии понимать ее возникновение в турбогенераторе, под действием ли давления воды или под действием тепловой энергии, то потребление ее начинается с того момента, как ток соединяется с рабочими машинами.

Распределение энергии, в широком смысле этого слова, будет обнимать передачу электрической энергии от генератора к рабочим машинам. Теоретически, таким вот манером, мы определили границы производства, распределения и потребления электрической энергии, но технически это проделать невозможно. Электрическая энергия, как товар, не нуждается в складах, ее нельзя производить про запас. Производство ее одновременно есть и распределение и потребление, и наоборот.

В силу этих технических особенностей энергетическая промышленность предполагает заранее плановое производство.

[1]) «Electrical World» January, 1927.

Здесь каждое предприятие работает на определенный спрос и регулирует свою производительную мощь и фактическое производство в соответствии с движением этого спроса. В этом отношении каждое отдельное предприятие, вместе с обслуживаемым им районом, представляет ту начальную хозяйственную единицу, в пределах которой плановое начало, диктуемое новой формой техники, вступает в противоречие с неорганизованным характером капиталистического способа производства.

Чем крупнее предприятие, тем больше круг потребителей энергии, тем шире сеть распределения, тем фактическая нагрузка станции ближе к технически возможной; следовательно, тем ниже издержки производства энергии. Поэтому в энергетической отрасли промышленности, при ограниченном технически внешнем рынке для ее товара, диктуемое конкуренцией стремление к дешевому производству непосредственно ведет к концентрации и централизации производства энергии в руках немногих гигантских компаний, т.-е. ведет к установлению монополии на снабжение общества элек. энергией.

Одновременно с централизацией производства электрической энергии растет вширь и вглубь противоречие между диктуемым формой электрической энергии плановым началом и неорганизованным капиталистическим производством. Технический базис общества на основе электричества постепенно обобществляется.

Осуществление планового начала в энергетической промышленности в масштабе целой страны предполагает также распространение планового начала на все общественное производство. Противоречие между плановым началом, навязываемым всему общественному производству, совершается технической революцией, и неорганизованным характером капиталистического способа производства из районного превращаются в национальное. Развитие производительных сил в форме электрификации, поэтому, несовместимо с анархией капиталистического производства и оно вступает в неразрешимый конфликт с формой капиталистической собственности и соответствующими ей капиталистическими производственными отношениями.

Далее, усовершенствования в технике передаче электрической энергии шагнули вперед так далеко, что линии передачи с напряжением в 110 тысяч вольт, какие имели место в С. Шт. в 1908 г., в настоящее время заменены линиями передачи с напряжением в 220 тысяч, а в Германии в ближайшие же годы рассчитано довести напряжение до 380 тыс. вольт. Это обеспечивает уже сейчас передачу энергии на расстояния от 500 до 1.000 километров. И эти расстояния постепенно будут увеличиваться в меру усовершенствования электрической передачи.

Этим путем богатые резервы гидросилы Швейцарии, Норвегии, Швеции, Канады и др. могут быть использованы для обслуживания и снабжения энергией соседних стран. Такого рода связи уже завязались между Канадой и С. Штатами, между Швейцарией и Германией и между Швейцарией и Францией.

Отдельные национальные хозяйственные организмы на основе электричества начинают технически связываться в один хозяйственный организм. Подготовляется материально-техническая база будущего общества в мировом масштабе.

Организация труда есть обратная сторона разделения труда. На самом деле, если бы труд не был разделен, то никогда не возникал бы вопрос об его организации. Отсюда понятно, что «всякое сколько-нибудь значительное усложнение в делении труда,—как пишет Зибер [1]),—необходимо и неизбежно сопровождается соответствующими усложнениями в соединении труда» (Курсив мой.—Я. Б.).

Разделение труда происходит не только внутри мастерской, но и вне ее. «Общество, как целое,—говорит Маркс,—имеет ту общую черту с внутренним устройством фабрики, что и в нем тоже существует свое разделение труда» [2]) (Курсив мой.—Я. Б.). Словом мы имеем двоякого типа разделение труда: внутри мастерской и разделение труда в обществе.

Поэтому мы будем рассматривать различные формы организации или разделения труда, какие он принимает на разных стадиях развития капитализма, в двояком разрезе.

При простом товарном производстве, на пороге развития капитализма, если откинуть в сторону начало процесса отделения функций управления от непосредственного процесса производства, в строгом смысле слова еще не приходится говорить о разделении труда внутри мастерской. На этой стадии развития капитализма мы имеем простое соединение большего количества рабочих под командой одного капитала; как говорит Зибер [3]), «назначение простой кооперации есть собирание, слияние в одно целое разъединенных и разбросанных предыдущим процессом деления труда частей экономического механизма» (Курсив мой.—Я. Б.).

Это соединение, точнее сложение, в более крупные мастерские множества самостоятельных прежде хозяев под руководством одного капитала преследовало цель перейти к совместному и планомерному выполнению одного и того же самостоятельного процесса производства. Поэтому при эту стадию развития капитализма можно сказать, что хотя здесь существует совместная работа, но все же труд превращен в общественный труд только по форме, но не по существу.

В этом сущность простой кооперации, как низшей формы организации труда в мастерской на начальной стадии развития капитализма.

При мануфактуре, которая является второй стадией развития капитализма, единый прежде процесс производства товара внутри мастерской разделяется на разные, но связанные между собою или последовательные процессы труда, каждый из которых становится самостоятельной функцией отдельного рабочего. Следовательно, товар уже является результатом работы не одного, а всех рабочих мастерской. С этого времени процесс производства товара будет происходить одновременно во всех своих последовательных фазах, благодаря сотрудничеству определенным образом расставленных друг возле друга отдельных рабочих или их групп, под руководством одного капиталиста.

[1]) «Давид Рикардо и Карл Маркс», изд. III, 1897 г., стр. 443.
[2]) «Нищета философии», Петербург 1906 г., стр. 103.
[3]) «Давид Рикардо и Карл Маркс», изд. III, 1897 г., стр. 443.

Таким образом, мануфактурное разделение труда одновременно не только предполагает, но и создает организацию процесса производства внутри мастерской как общественного процесса. «Мануфактурное разделение труда,—говорит Маркс,—не только упрощает и умножает качественно различные органы общественного собирательного рабочего, но и создает прочные математические отношения между количественными размерами этих органов, т.-е. относительным количеством рабочих и относительной величиной рабочих групп в каждой из этих специальных функций. На ряду с качественным расчленением оно устанавливает количественные нормы и пропорции в общественном процессе труда» [1]).

На этой стадии развития капитализма мастерская есть работающий организм коллективного рабочего, и в ней труд уже по существу превращен в общественный труд. В этом сущность, по выражению Зибера, «мануфактурной кооперации», которая является формой организации труда и производства на второй стадии развития капитализма.

Но эта форма организации труда включала в себе органический недостаток или противоречие, которое исключало ее широкое развитие и распространение. Мануфактурное разделение труда приспосабливалось к рабочему, а не наоборот. Поэтому ее развитие, прежде всего, упиралось в естественно ограниченную природу рабочего. Всякое дальнейшее разделение труда внутри мастерской поэтому с неизбежностью естественного закона влекло за собою увеличение количества рабочих, а это означало увеличение размеров мастерской, и, следовательно, все большее и большее изолирование отдельных последовательных фаз процесса производства, что, по Марксу, составляет основной принцип мануфактуры и лежащей в ее основе техники производства.

Но так как изолирование отдельных фаз процесса производства есть одновременно уменьшение выгод от общественно организованного труда, то отсюда становится ясным, что на определенной стадии развития разделения труда наступит такой момент, когда обусловленные этим изолированием непроизводительные расходы сведут на-нет всю экономию, обусловленную общественным характером процесса производства, и тем самым лишат ее всякого преимущества перед простой кооперацией. Вот эти два предела—естественный и экономический—которые создавали узкие рамки для развития мануфактурной кооперации и не давали ей возможности подняться на много выше простой кооперации. «Отличительным свойством мануфактуры,—говорит Маркс,—было скорее соединение многих рабочих в одном месте, в одном здании, под командой одного капитала, чем разложение труда на его составные части и приспособление отдельных рабочих к очень простым специальностям (Курсив мой.—Я. Б.) [2]).

Крупная промышленность, ставшая на базу машинной техники, заменяет принцип изолирования отдельных фаз производственного процесса принципом «непрерывной связи отдельных процессов», заложенным в ее собственной технической основе. С одной стороны, эта связь устанавливается тем, что машина, в отличие от рабочего, одновременно исполняет несколько функций, оперирует со многими инструментами. С другой стороны, отдель-

[1]) Капитал, т. I, стр. 336.
[2]) «Нищета философии», стр. 106.

ные рабочие машины или их группы связываются между собою в один материальный механизм или организм посредством передаточного механизма, передающего энергию на рабочие машины из одного и того же источника—центрального двигателя. Этим крупная промышленность, во-первых, разрешает противоречие мануфактуры, а, во-вторых, преодолевает мануфактурное разделение труда, хотя преодолевает пока только технически. Мануфактурное разделение труда воспроизводится на фабрике под видом расчленения функций машины. «На место комбинации труда живого,—как пишет Зибер,—в машинной индустрии становятся чисто технические сочетания труда уже осуществленного, умершего, на смену совокупности рабочих является машина. Но раз мануфактурная мастерская заменяется машиной, при увеличении размеров производства на ряду с одной машиной естественно становятся другие, и между многими машинами воспроизводятся все те же сочетания операций, какие существовали прежде между отдельными рабочими. Таким образом фабрика является ни чем иным, как комбинацией нескольких мануфактурных мастерских, которые превращены в машины. Понятно, что при этом кооперация живой рабочей силы приобретает совсем другой уже характер, чем в мануфактуре» [1]).

На стадии крупной промышленности организация труда на фабрике приобретает прочную об'ективную материальную основу, поскольку отдельные фазы производственного процесса приспособляются не к ограниченным способностям рабочего, а переносятся на мертвые материальные механизмы, т.-е. поскольку мануфактура вытесняется машиной в разных сферах производства. Далее, разделение производственного процесса на мелкие и мельчайшие составные элементы уже производится, по выражению Маркса, «безотносительно к руке человека», т.-е. оно превращается в строго об'ективный научный процесс, равно как и «проблема выполнения каждого частичного процесса и соединения различных частичных процессов разрешается посредством технического приложения механики, химии и т. д.» [2]). Это значит, что все преграды для дальнейшего, все бóльшего и бóльшего расчленения производственного процесса всякого товара устранены, тем самым развязывается прогресс техники и процесс вытеснения производства живой рабочей силы машиной.

Наконец, как результат такого переложения всего, что есть труд ного, искусного, умелого, ловкого в процессе производства с рабочего на машину,—является упрощение функций живого труда на фабрике, «труд, по выражению Маркса, совершенно теряет здесь характер специальности» (Курсив мой.—Я. Б.) [3]).

Поэтому Зибер совершенно правильно замечает, что «машинный способ производства сам по себе вовсе не нуждается в том, чтобы подобное разделение труда отправлялось по системе мануфактуры, т.-е. чтобы одним и тем же группам рабочих давалось постоянно все одно и то же занятие. Так как общее движение фабрики зависит не от рабочего, а от машины, то здесь может происходить постоянная перемена лиц без перерыва в рабочем процессе

[1]) «Давид Рикардо и Маркс», стр. 138.
[2]) Капитал, т. I, стр. 371.
[3]) «Нищета философии», стр. 111.

(Курсив мой.—Я. Б.) [1]). В этом состоит сущность того, что Маркс называет техническим преодолением крупной промышленности мануфактурного разделения труда.

Но такое упрощение функции живого труда на фабрике одновременно означает возможность для рабочего всестороннего развития своих способностей и подготовки себя к разносторонней деятельности. В этом заключается прогрессивная сторона разделения труда на фабрике.

Итак, можно сказать, что фабричная кооперация—форма организации труда на фабрике на стадии крупной промышленности—является более высокой, по сравнению с предыдущей, формой капиталистического способа производства, предполагающей превращение производственного процесса в об'ективный материальный процесс, и содержащей в себе начала для раскрепощения труда и превращения рабочего во всесторонне развитую личность.

Технический прогресс XIX века, кото рого мы кратко касались выше, ничего качественно различного не вносит в форму фабричной кооперации, которая устанавливается одновременно с переходом от мануфактуры к фабрике, т.-е. существует в самом начале машинного производства. Дальнейшее развитие техники, как мы видели, только развертывает количественно основные, заложенные в этой форме организации труда и производства, принципы. Поэтому для нас важно установить основное направление этого количественного роста данной формы организации, т.-е. установить к чему, к каким качественным изменениям в господствующей, на стадии нормального капитализма, форме организации труда вплотную подводит процесс развития производительных сил на стадии монополистического капитализма.

Развертывание основного принципа крупной промышленности—разложение производственного процесса на простейшие операции и возложение их выполнения на машины, а впоследствии на специальные машины,—происходившее, как мы выше отметили, на протяжении всего XIX века, плюс к тому стандартизация и специализация производства на основе электричества, процессы, получающие широкое развитие в XX века, особенно после империалистической войны,—все это вместе взятое своим последствием имело непрерывное усовершенствование об'ективно-материального организма фабрики и вместе с этим все большую автоматизацию производственного процесса в целом на фабрике. На стадии монополистического капитализма, автоматизм достигает такой широты и совершенства, когда, как пишет Рубинштейн, «личная самодеятельность работника заменяется автоматизмом всего производственного процесса, заранее предписывающего последовательность и характер трудовых операций расположением машин, передвижением материалов внутри завода и т. п. Весь завод представляет в этих случаях как бы одну гигантскую полуавтоматическую машину, отдельными частями которой являются вкрепленные в нее в различных местах подученные работники, делающие предписываемые машинным комплексом движения и действия» [2]). Автоматизация производственного процесса, это итог всего технического прогресса капитализма,

[1]) «Давид Рикардо и Карл Маркс», стр. 420.
[2]) Современный капитализм и организация труда, «Моск. Раб.», 1923 г., стр. 64.

это—основной факт XX века, от которого вытекают все прочие качества.

Наиболее полным выражением этого основного факта может служить завод Форда в С. Штатах. На фордовском заводе новейшие тенденции развития техники получили наиболее полное материальное воплощение в научно-поставленном автоматическом процессе производства такой сложной машины, как автомобиль. Обусловленные этим основным фактом новые качественные моменты в разделении труда и его организации, поэтому, на заводе Форда получили также наиболее яркие очертания. Вот почему вокруг завода Форда выросла широкая литература о новой организации труда и производства. И ни один автор, пишущий на эти темы, в настоящее время не может обойти мимо пример Форда. Не будет преувеличением сказать, что фордовский завод как в отношении постановки производственного процесса в целом, так и в отношении организации труда скорее представляет картину будущего, чем факт капиталистической действительности.

На заводе Форда материальный производственный организм достиг такой степени совершенства, когда придание формы материалу становится независимым от особого мастерства и умения рабочего. Функции живой рабочей силы достигают такой степени упрощения, когда не только отпадает необходимость в делении рабочих на квалифицированных и неквалифицированных, но когда даже стирается различие между физически здоровым и калекой для производственного процесса. «Каждая операция представляется настолько простой,—говорит проф. Лавров,—или доведенной до пределов небольшого короткого движения со стороны человека и машины, что человеку не нужно производить, а лишь участвовать в процессе действием» [1]).

При такой организации производства, как у Форда, 79% рабочих стоят именно на такой повторной, полуавтоматической работе, не требующей никакой квалификации. По словам самого Форда, «для 43% общего числа работ требуется выучка рабочих в течение одного дня, для 36%—до 8 дней, для 6%—до 14 дней. Словом, для 85% работ требуется выучка только до 2-х недель.

Одним словом, упрощение функций рабочего доведено до того предела, когда количество начинает превращаться в качество, когда различный, разделенный труд начинает превращаться в обобщенный, в качественно-равный, одинаковый труд.

Но процесс технического преодолевания специализации и, следовательно, ограниченности одновременно не только порождает «потребность в универсальности» и «стремление индивида к всестороннему развитию» (Маркс), но превращает на определенной ступени развития это стремление в необходимое условие для дальнейшего усовершенствования производственного процесса.

«В таких процессах, которые поставлены, как у Форда,—пишет проф. Лавров,—где все силы являются гармонично-комплектованными, участие человека настолько же мало, насколько и велико. Мало оно по затрате его усилий и велико по созданному им сочетанию сил. Система связует все, уделяет человеку наименьшее место, диктует научное изучение наиболее глубоко, чем только требования, обычно пред'являемые умению в изготовлении вещей» [1]).

[1]) Основы организации труда и производства, стр. 21

На стадии монополистического капитализма из «стремления индивида к всестороннему развитию», порожденного фабричной кооперацией, и выростает техническая необходимость превращения узкого специалиста-рабочего в политически-образованного человека.

Мало этого, техника в дальнейшем своем развитии уничтожает не только различие между обученным и необученным трудом, но сводит на-нет постепенно функции надзора и руководства над аккуратным, точным и своевременным выполнением возложенной на отдельного рабочего функции. «В процессе, где операции распределены правильно, а количественно выделка совершается при большой точности, в таком процессе нет необходимости в мастере... Уход за резцом лежит на обязанности постороннего, уход за определением точности измерения произведенного также отнято в теперешнем процессе от мастера и введено в процесс, как операция» [2]).

Подстегивает своевременное выполнение, контролирует и выявляет отстающих рабочих сам автоматически поставленный производственный процесс своим согласованным во всех своих частях движением. Поэтому можно сказать, что крупная промышленность на стадии монополистического капитализма частично технически преодолевает «разделение рабочих на рабочих ручного труда и надсмотрщиков за трудом, на промышленных рядовых и промышленных унтер-офицеров» (Маркс; курсив мой.—Я. Б.).

Одним словом, на стадии монополистического капитализма крупная промышленность вплотную подводит развитие, и частично уже осуществляет, к техническому преодолению всякого разделения труда на фабрике и всяких привилегий, обусловленных разделением труда, за отдельными категориями рабочих, и создает соответствующую техническую основу для осуществления принципа равной оплаты всех рабочих. Фабричная кооперация, как форма капиталистического способа производства, дает трещину и обнаруживает отчетливо-переходные черты к более высокой организации труда и производства на фабрике — к социалистической кооперации.

Итак, «кооперация остается основной формой капиталистического способа производства» на всех стадиях развития капитализма, начиная с простого товарного производства и кончая монополистическим капитализмом. Она только меняет свою форму при переходе с одной стадии производства на другую.

Организация труда или его разделение при капитализме обусловливается двумя моментами. С одной стороны, она вытекает из самой природы крупного производства, где необходимость повиновения рабочих единой воле руководителей трудового процесса во время работы обусловлена общественным характером процесса производства. Эта обусловленность чисто-технологического свойства и характеризует всякое крупное производство. С другой стороны, она при капитализме обусловливается еще другим фактором, это—монополией капитала на средства производства, или капи-

[1]) Ibid., стр. 63.
[2]) Ibid., стр. 21.

талистической формой собственности, социальным фактором, действующим только в рамках капитализма. В силу частной капиталистической собственности на средства производства, процесс труда одновременно есть процесс эксплоатации рабочей силы, производства прибавочной стоимости.

До сего мы рассмотрели только различия в формах организации или разделения труда, различия, обусловленные развитием производительных сил. Мы установили, что развитие последних обусловливает переход одной формы в другую и, наконец, вплотную подводит к полному отрицанию всякого разделения труда. Теперь остается выяснить, что общее во всех формах кооперации. превращающее их в форму капиталистического способа производства, только на различных стадиях его развития.

Общее во всех формах организации труда то, что всякая из них осуществляется капиталом, составляя его функцию управления производством. Поэтому все формы организации или разделения труда носят деспотический характер, основаны на отношениях господства и подчинения. Отсюда нетрудно видеть, что деспотизм разделения труда обусловлен монополией капитала на средства производства, т.-е. капиталистической частной собственностью.

Деспотизм разделения труда усиливается с ростом и укреплением мощи самого капитала.

На стадии мелкого товарного хозяйства нет еще отчуждения рабочего от хозяина; последний вместе с первым работает и руководит работой. На стадии мануфактуры процесс отделения рудоводства от непосредственного участия в производстве делает заметный шаг вперед, но окончательно оно обособляется только на стадии крупной промышленности. «На место двух - трех рабочих, которые были у мелкого хозяина, является теперь масса рабочих... На место отдельных распоряжений хозяина являются общие правила, которые делаются обязательными для всех рабочих» (Ленин).

Надзор за выполнением всех распоряжений и правил требует особый кадр преданных капиталу слуг. «Как армия нуждается в иерархии военных командиров, точно так же для массы рабочих, об'единенной совместным трудом под командой одного и того же капитала, нужны промышленные обер-офицеры и унтер-офицеры, распоряжающиеся во время процесса труда от имени капитала. Работа надзора закрепляется, как их исключительная функция» [1]).

И, наконец, на высшей стадии развития капитализма обнаруживается тенденция все более «отделять труд управления, как особую функцию, от владения капиталом» [2]), и превращать капиталиста в ненужного для общественного процесса производства.

Следовательно, различные формы разделения труда соответствуют различным формам собственности, через какие она проходит в своем развитии от частной собственности к своему отрицанию—общественной собственности.

Одновременно с развитием капитализма растут и средства порабощения и эксплоатации труда. Если благодаря низкому техническому уровню производства при мануфактуре «капиталу постоянно приходится бороться с нарушением субординации со стороны рабочих» то уже на стадии крупной промышленности «машина сламывает, на-

[1]) Капитал, т. I, стр. 321.
[2]) Там же, т. III, ч. I, стр. 374.
[3]) Капитал, т. I, стр. 360.

конец, сопротивление, которое мужчина-рабочий в мануфактуре еще оказывал капиталу» [1]).

Наконец, на стадии монополистического капитализма автоматически - поставленный производственный процесс стремится совершенно освободиться от квалифицированного рабочего, «часто склонного ко всякой беспорядочности»... «заменяя один класс человеческого труда другим классом: более искусных менее искусными, взрослых детьми, мужчин женщинами» [2]), а Форд даже дошел до возможности замены здоровых калеками [3]).

Если крупная промышленность технически преодолевает мануфактурное разделение труда, а на монополистической стадии даже приводит к отрицанию всякого разделения труда внутри мастерской, то все же в силу монополии капитала на средства производства оно не может быть социально преодолено в рамках капитализма. Более того, мануфактурное разделение труда «систематически воспроизводится и укрепляется капиталом в еще более отвратительной форме, как средство эксплоатации рабочей силы. Пожизненная специальность: управлять частичным орудием, превращается в пожизненную специальность: служить частичной машине... Таким образом, не только значительно уменьшаются издержки, необходимые для воспроизводства его самого, но в то же время получает завершение и его беспомощная зависимость от фабрики в целом, следовательно, от капиталиста» [4]).

Словом, технический прогресс XIX и XX веков развил капиталистическую кооперацию до такого совершенства, когда количество начинает переходить в качество, когда намечается переход к новой форме организации труда—к социалистической кооперации или сотрудничеству.

Развитие кооперации, как основной формы капиталистического способа производства, проделало диалектический круг развития и вернулось к своему исходному пункту—к простой кооперации или сотрудничеству, основанной на выполнении всеми рабочими одного и того же производственного процесса.

Однако эта простая кооперация есть несравненно более высокая форма организации труда, возникающая на основе такой высокой техники производства, когда бесконечное разделение производственного процесса на мельчайшие функции доводит упрощение труда до диалектического превращения количества в качество, когда различный, расчлененный труд превращается в обобщенный, когда различия в функциях рабочих растворяются в их единстве.

Эта новая форма организации труда, означающая отрицание всякого разделения труда, вступает в противоречие с капиталистической собственностью и может получить свое полное развитие только при коммунизме.

Разделение труда, как мы установили выше, имеет место не только внутри мастерской. Оно происходило и происходит также в обществе.

Разделение труда в обществе, с одной стороны, совершается по линии разделения всего общественного производства на отдельные

[1]) Там же, т. I, стр. 395.
[2]) Там же, т. I, стр. 429.
[3]) «Из всех 7.882 функций при 4.034 допускалась не полная физическая сила» (Н. С. Лавров, Основы организации производства и труда, стр. 123).
[4]) Капитал, т. I, стр. 417.

самостоятельные отрасли производства, а, с другой, по линии разделения труда между отдельными производителями внутри каждой из этих отраслей производства. Однако центральной осью, вокруг которой вращается весь процесс общественного разделения труда в товарно-капиталистическом хозяйстве, является процесс общественного разделения труда между промышленностью и сельским хозяйством, между городом и деревней. Последний процесс, хотя начинается еще на стадии простого товарного производства, однако свое завершение получает только на стадии крупной машинной индустрии.

Мы уже выше установили, что и каким образом разделение труда в мастерской превращает процесс труда по производству данного товара в общественный процесс. Аналогично этому, процесс общественного разделения труда превращает все общественное хозяйство как бы в гигантскую мастерскую, в которой необходимый для существования общества общественный продукт своим производством обязан «сосуществующему труду, т.-е. одновременному существованию различных видов труда, которое выражается в различных видах продуктов, или, лучше, товаров» [1]), с тем, однако, различием, что процесс его производства, с начала до конца, будет находиться в зависимости от целого ряда независимых друг от друга предприятий и отраслей производства.

Крупная промышленность, вызывая непрерывные перевороты в способе производства, тем самым постоянно революционизирует разделение труда в обществе. В этом как раз сказывается прогрессивная роль капитализма, который этим путем «создал,—как говорит Ленин,—теснейшую связь и взаимозависимость различных отраслей его. Не будь этого, никакие шаги к социализму... были бы технически не выполнимы» [2]).

Словом, разделение труда в обществе есть одновременно его обобществление. И чем дальше заходит процесс общественного разделения труда в товарно-капиталистическом хозяйстве, тем глубже и всестороннее становится процесс обобществления последнего. «Обобществление труда капиталистическим производством,—пишет Ленин в другом месте,—состоит совсем не в том, что люди только работают в одном помещении (это только частичка процесса), а в том, что концентрация капиталов сопровождается специализацией общественного труда, уменьшением числа капиталистов в каждой данной отрасли промышленности и увеличением числа особых отраслей промышленности; в том, что многие раздробленные процессы производства сливаются в один общественный процесс производства» [3]). Такой процесс обобществления труда достигает высшего предела на стадии монополистического капитализма.

При таком быстро прогрессирующем разделении труда внутри общества, обмен веществ между последним и природой, т.-е. человеческая жизнь вообще стала бы невозможной, если бы на ряду с разделением труда в обществе одновременно не совершалось в той или иной форме его об'единение, синтез, не восстанавливалась бы связь между формально друг от друга независимыми, но по существу тесно между собою связанными производителями и отраслями производства.

В обществе всегда происходит и должно происходить регулирование того количества общественного рабочего времени, которым об-

[1]) Маркс, Теории прибавочн. ценности, т. III, стр. 223, изд. 1924 г.
[2]) Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 187.
[3]) Собр. соч., т. I, стр. 102.

щество в данное время располагает для производства продуктов, необходимых для удовлетворения всех общественных потребностей. Количественно потребности общества различны, но они «внутренно связаны, по выражению Маркса, между собою в одну естественную систему», в систему подвижную. Поэтому проблема регулирования общественного рабочего времени включает в себя распределение и перераспределение средств производства и рабочей силы между отдельными независимыми сферами приложения общественного труда. Значит, об'единение разделенного в обществе труда есть его определенная организация.

Таким образом, разделение труда в обществе одновременно есть организация общественного труда. И как всегда существовало разделение труда в обществе, так равно всегда существовала та или иная форма его организации или связи.

На разных ступенях развития общественных производительных сил, в различных общественных формациях организация общественного труда проявляется в различных формах, в зависимости от того, кем и как она осуществлялась. «Если мы возьмем за образец разделение труда на современной фабрике, — говорит Маркс,—чтобы применить его затем ко всему обществу, то мы найдем, что общество, наилучшим образом организованное для производства богатств, должно бы иметь лишь одного главного предпринимателя, распределяющего работу между различными членами по заранее составленным правилам» [1]). Но, к сожалению, «по определенным правилам» организация общественного труда осуществлялась только на ранних ступенях развития производительных сил и общества, и осуществлялась авторитетом всего общества.

Последующий рост общественных производительных сил, и обусловливаемый им переход от феодализма к капитализму, разрушает в корне «планомерную авторитарную организацию общественного труда» и создает рынок, как единственно авторитетный регулятор организаций общественного труда. «Современное общество для распределения своего труда не имеет никаких правил, никакой власти, кроме свободной конкуренции» [2]).

Следовательно, в товарно-капиталистическом хозяйстве организация общественного труда осуществляется при посредстве товарного обмена в форме свободной конкуренции. Крупная промышленность преодолевает изолирование процессов труда внутри мануфактурной мастерской, как источник непроизводительных расходов, но взамен его способствует все бо́льшему и бо́льшему изолированию процессов производства в обществе путем постоянного революционизирования общественного разделения труда, осуществляющегося в форме конкуренции, роста власти рынка, роста анархии производства. Эта все растущая сфера непроизводительных расходов общества обязана своим существованием самому товарно-капиталистическому способу производства, и потому может исчезнуть окончательно только вместе с ним, может быть преодолена только коммунизмом.

Однако на основе роста общей диспропорции между ростом производительных сил и ростом общественной покупательной спо-

[1]) «Нищета философии», стр. 103.
[2]) Там же.

собности, обусловленной самой природой капиталистического способа производства, силой вещей навязывается необходимость преодоления сферы конкуренции.

При условии, когда каждый отдельный капитал своей целью ставит утвердить свою монополию на рынке, за счет других, подобного рода встречные устремления отдельных капиталов до крайности обострят конкуренцию и увеличивают анархию производства и связанную с ней непроизводительную, неэкономную трату общественного труда, и на определенной стадии своего развития создает необходимость и также возможность превращения конкуренции в свою противоположность—в монополию.

В рамках капитализма, при переходе его в высшую монополистическую стадию развития, начинается процесс преодоления рынка и конкуренции, процесс превращения одной формы организации общественного труда в другую, более высокую, устраняющую противоречия первой.

Более того, это превращение одной формы организации общественного труда в другую есть сущность самого перехода капитализма в его высшую стадию развития и то отличное, что отделяет империализм от капитализма.

Новые формы организации общественного труда и производства в основном организационно охватывают и фиксируют то «двойное движение», которое, по Марксу, «происходит в производстве».

При общественном разделении труда, выражающемся в обособлении отдельных фаз воспроизводства данного товара в самостоятельные, независимые друг от друга сферы производства, последовательность фаз процесса воспроизводства общественного продукта во времени дополняется еще последовательностью в пространстве. И как раз в последнем выражается та тесная органическая связь и взаимозависимость между отдельными сферами общественного производства, которая превращает труд общества в общественный труд.

Одно движение получается, когда данный продукт переходит все последовательные фазы своего производства во времени. «То, что здесь из одной отрасли производства выходит как продукт, то входит в другую как средства производства, и таким образом оно проходит в последовательном порядке все фазы, пока оно не будет готово как потребительная стоимость» [1]).

Другое движение образуется, когда продукт проходит все последовательные фазы своего воспроизводства не во времени, а в пространстве; оно обусловлено сосуществующим трудом, одновременно воспроизводящим все составные элементы данного продукта. Это движение, в силу непрерывного течения процесса общественного воспроизводства, обусловливает существование отдельных фаз всего процесса в виде самостоятельных отраслей производства.

Новая форма организации общественного труда должна быть направлена на фиксацию первого движения в производстве, должна организационно охватить все, по крайней мере основные, фазы производства данного товара, ныне представляющие отдельные самостоятельные отрасли производства, с тем расчетом, чтобы из всех этих фаз создать определенное производственное целое, относительно менее зависимое от стихии рынка и открывающее возможность более рацио-

[1]) Теории прибавочн. ценности, т. III, стр. 232.

нальной организации производства внутри его. Поэтому наиболее совершенной формой об'единения капиталов является вертикальное об'единение или «так наз. комбинация, т.-е. соединение в одном предприятии разных отраслей промышленности, представляющих собою либо последовательные ступени обработки сырья, либо играющих вспомогательную роль одна по отношению к другой» [1]).

Горизонтальное об'единение, которое об'единяет самостоятельные предприятия внутри определенной отрасли производства, образует подготовительную ступень по отношению к вертикальному. Как определенная ступень об'единения национального капитала служит предварительным условием для его участия в международных об'единениях, так определенная ступень об'единения капиталов отдельных смежных отраслей производства есть предпосылка или исходный пункт в образовании вертикальных об'единений.

Процесс об'единения капиталов происходил и происходит во всех сферах: и в торговле, и в производстве, и в банково-кредитной системе; к тому же он совершается в обеих конкретных формах как в довоенном мировом хозяйстве, так и в послевоенном. Хотя в послевоенном мировом капиталистическом хозяйстве, в связи с общим кризисом капитализма и широким движением в пользу рационализации производства, повидимому, большее значение и распространение приобретают вертикальные или смешанные об'единения, каковая тенденция особенно характерна для Германии.

Но в какие бы конкретные формы ни выливалась новая организация общественного труда и производства, бесспорно одно, что мы как в том, так и в другом случае имеем закономерный процесс возникновения новой формы организации из старой, себя отживающей. И то новое и отличное, что таит в себе эта более высокая организация общественного труда и производства, наиболее отчетливо проявляется в комбинации, представляющей наиболее зрелую конкретную ее форму.

Внутри вертикального об'единения или комбината рынок, как регулятор равновесия между отдельными об'единенными производствами, заменяется авторитетом капитала. Все стадии производства и обработки сосредоточиваются в одних руках. Доставка первоначального сырья организуется из одного центра. «Из одного центра распоряжаются всеми стадиями последовательной обработки материала вплоть до получения целого ряда разновидностей готовых продуктов», и «распределение этих продуктов совершается по одному плану между десятками и сотнями миллионов потребителей» [2]) (Курсив мой.—Я. Б.).

Словом, комбинат, это такая производственная единица, внутри которой, подобно тому, как внутри мастерской отдельные операции процесса производства об'единяются одним капиталом, все последовательные фазы производства какого-либо товара, прежде самостоятельные отрасли производства, об'единяются под командой об'единенного капитала, который стихию заменяет сознательностью, анархию—планом. Новая форма организации общественного труда и производства означает начало перехода от неорганизованного к организованному производству в общественном масштабе.

[1]) Ленин, Собр. соч., т. XIII, стр. 247.
[2]) Там же, стр. 335.

В комбинатах, сросшихся с подобными же банковыми концернами, общественное разделение труда в его анархической форме начинает превращаться в свою противоположность—во всеобщую организацию общественного труда, где производство совершается по заранее намеченному плану и где банк представляет «форму общего счетоводства, форму общего распределения средств производства», где учет и распределение общественного рабочего времени между отдельными сферами общественного производства совершаются не стихийно через рынок, а через банковскую, «охватывающую все это бухгалтерию» сознательно и планомерно.

В своем развернутом виде новая форма организации общественного труда и производства предполагает планомерное осуществление «связи между количеством общественного рабочего времени, затрачиваемого на производство определенного продукта, и размерами общественной потребности, подлежащей удовлетворению при помощи этого продукта» [1]).

При наличии тесной связи и взаимозависимости всех отраслей производства, созданной капитализмом, такое осуществление планомерной связи между ними, в свою очередь, предполагает обобществление производства в общественном масштабе и преодоление противоречия между обобществленным производством и частным присвоением.

Раз получивши начало своего развития, новая форма организации труда в обществе продолжает пробивать себе дорогу все дальше и дальше. Невозможность в пределах только отдельных, стихийно возникающих, производственных об'единений реализовать все заложенные в новой форме организации экономические возможности и потенции заставляет стремиться ко все большему об'единению капиталов, ближайшим пределом которого мыслится государство, конечным—мировое хозяйство. Сама логика развития новой формы организации труда в обществе толкает вперед процесс об'единения.

И хотя технический прогресс в форме электрификации подготовляет все необходимые материально-технические предпосылки для преодоления общественного разделения труда и противоположности между городом и деревней, однако новая форма организации общественного труда не может реализовать всех скрытых в ней возможностей в рамках капитализма, ибо здесь она наталкивается на частную капиталистическую собственность, раз'единяющую ряды капитала.

Итак, рассмотрев развитие отношения между человеком и природой и развитие отношения между людьми в производстве, мы весь наш обзор можем резюмировать в виде нижеследующих положений:

1) Развитие производительных сил есть процесс диалектического взаимодействия двух основных факторов: отношения между человеком и природой и отношения между индивидами в производстве. Всякое крупное изменение в отношении между человеком и природой, в свою очередь влечет за собою изменение в отношениях между индивидами в производстве. И наоборот. Такие крупные изменения в отношениях между человеком и природой, как переход с ручной техники на машинную, переход с пара на электричество, будучи обусловлены определенной степенью концентрации капитала и разделения труда,

[1]) Капитал, т. III, стр. 166.

в свою очередь, вызывают дальнейшие изменения в отношениях между людьми в производстве.

При статике производительных сил существует определенное сочетания между этими двумя отношениями или факторами. Но при динамике производительных сил сочетание этих двух факторов есть вечно изменяющаяся величина. При этом толчок к изменению данного сочетания может исходить или из изменения в отношении между человеком и природой или из изменения в отношениях между индивидами в производстве. Однако изменение, начавшееся в одном из этих факторов, только после определенного количественного роста своего вызывает изменение в другом факторе. Поэтому возможно существование таких периодов развития производительных сил, когда каждая новая производительная сила может быть функцией или изменения отношения между человеком и природой по преимуществу или изменения отношений между индивидами в производстве по преимуществу.

2) Маркс различает отдельные экономические эпохи, исходя из качественных изменений в отношении между человеком и природой. Промышленная революция конца XVIII и начала XIX века отделила капитализм от феодализма, техническая революция в форме электрификации начала XX века проводит разграничительную линию между капитализмом и коммунизмом.

3) Если перевороты в технической базе общества проводят разграничительные линии между отдельными экономическими эпохами или общественными формациями, то переход с одной стадии на другую в развитии данной общественной формации может обусловливаться качественными изменениями в отношениях между индивидами в производстве, или в форме организации труда.

Переход от ремесла к простому товарному производству, от последнего к мануфактуре, от капитализма к империализму—был обусловлен изменениями в организации труда. Единственной материальной предпосылкой во всех этих переходах данного способа производства с одной стадии на другую являлась определенная численность одновременно занятых наемных рабочих в одном предприятии, под командой одного капитала; иначе говоря, определенная ступень накопления или концентрации производства.

Количественный процесс накопления средств производства и средств существования в руках одного и того же капитала на определенной ступени своего развития превращается в качественный. И качественные изменения во всех трех случаях сводятся к изменениям в форме организации труда: или внутри мастерской, или в обществе.

Поэтому на первых двух стадиях развития капитализма кооперация, как специфическая форма капиталистического производства, составляет «первое изменение, претерпеваемое действительным процессом труда при его подчинении капиталу» [1]), равно как «монополия, вырастающая на почве свободной конкуренции и именно из свободной конкуренции, есть переход от капитализма к более высокому общественно-экономическому укладу» [2]) (Курсив мой.—Я. Б.).

[1]) Маркс, Капитал, т. I, стр. 324. Курсив мой—Я. Б.
[2]) Ленин, Собр. соч., т. XIII, стр. 331.

Различие между каждой из этих стадий и ей предшествующей, таким образом, сводятся к различиям в форме капиталистического способа производства, в форме организации труда.

4) Отсюда более высокая производительность труда капитализма над крепостничеством обусловливалась переворотом в технической базе общества, но более высокая производительность общественного труда на отдельных стадиях развития самого капитализма обуславливалась по преимуществу качественными изменениями в отношениях между индивидами в производстве или в организации труда.

На стадии простого товарного производства более высокая производительность общественного труда явилась результатом более высокой формы организации труда. «По сравнению с равновеликой суммой отдельных индивидуальных рабочих дней, комбинированный рабочий день производит большие массы потребительных стоимостей и уменьшает поэтому рабочее время, необходимое для достижения известного полезного эффекта. В каждом отдельном случае такое повышение производительной силы труда может достигаться различными способами... Но во всех этих случаях специфическая производительная сила комбинированного рабочего дня есть общественная производительная сила труда или производительная сила общественного труда. Она возникает из самой кооперации» [1]). (Курсив мой.—Я. Б.).

Также более высокая производительность общественного труда на стадии мануфактуры достигается благодаря качественным изменениям в форме организации труда. «Мануфактурное разделение труда путем расчленения ремесленной деятельности, специализации орудий труда, образования частичных рабочих, их группировки и комбинирования в один совокупный механизм создает качественное расчленение и количественную пропорциональность между отдельными процессами общественного труда, т.-е. создает определенную организацию общественного труда и вместе с тем развивает новую, общественную производительную силу труда. Как специфически капиталистическая форма общественного процесса производства... оно есть лишь особый метод увеличить за счет рабочего производство относительной прибавочной стоимости» [2]) (Курсив мой.—Я. Б.).

И, наконец, на стадии монополистического капитализма более высокая производительность общественного труда обеспечивается также по преимуществу изменениями в организации общественного труда. Целью об'единения является устранение всего комплекса непроизводительных расходов, обусловленных изолированием производителей друг от друга и отраслей производства друг от друга, что достигается «соединением операций по закупке сырья, по сбору средств и сил» [3]).

«Все преимущества,—пишет W. Onalid,—связаны с выгодами организации в противоположность невыгодам неорганизованного производства с достоинствами соглашения ожесточенной конкуренции. Достаточно напомнить, что эти преимущества настолько велики, что

[1]) Капитал, т. I, стр. 317.
[2]) Там же, стр. 356.
[3]) Ленин, Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 195.

соглашения становятся необходимыми. Они суть следствие и в то же время форма промышленной концентрации [1]).

5) Однако производительность труда, обусловливаемая качественными изменениями в организации труда, на первых двух стадиях развития капитализма не на столь высока, «при ручном производстве крупные заведения не имеют решительного преимущества перед мелкими, и даже разделение труда никогда не может составить столь решительного преимущества, которое бы совершенно вытесняло мелких производителей» [2]).

Этим основным фактом об'ясняется, во-первых, то обстоятельство, что хотя «борьба между капиталом и наемным рабочим начинается с самого возникновения капиталистического отношения», однако, «начиная с XVI столетия и вплоть до возникновения крупной промышленности, капиталу не удавалось подчинить себе все то рабочее время, каким располагает мануфактурный рабочий [3]), и, во-вторых, то, почему мануфактура «не могла ни охватить общественного производства во всем его об'еме, ни преобразовать его в самой его основе» [4]).

Словом, простое товарное производство и мануфактура суть две начальные, недоразвитые формы капиталистической частной собственности, суть две высшие стадии развития капитализма, на которых капитал не создает всех необходимых условий для постоянного расширенного воспроизводства самого капиталистического отношения и потому, как неоднократно подчеркивает Маркс, подчиняет себе труд только по форме, только формально.

Лишь на стадии крупной промышленности производительность общественного труда, обусловленная качественными изменениями в технической основе общества, по преимуществу достигает такой значительной высоты, когда борьба мелкого ручного производства с крупным машинным производством означает неизбежную гибель для первого. Мало того, само возрастание капитала при помощи машин прямо пропорционально числу рабочих, у которых они разрушают условия существования. Часть рабочего класса, которую машина, таким образом, превращает в излишнее население, т.-е. такое, которое непосредственно уже не требуется для самого возрастания капитала, с одной стороны, гибнет в неравной борьбе старого ремесла и мануфактурного производства против машинного, а с другой—наводняет все более доступные отрасли промышленности, переполняет рынок труда и понижает поэтому цену рабочей силы ниже ее стоимости» [5]).

И если сюда еще добавить увеличение рабочей армии, обусловленное упрощением функций рабочих в машинном производстве, то мы получим полное представление о том, каким образом «машина ниспровергает все моральные и естественные границы рабочего дня» [6]), создает все необходимые предпосылки для подчинения капиталу всего рабочего времени, каким располагает фабричный рабочий, т.-е. создает уже условия для непрерывного воспроизводства капиталистического производственного отношения.

[1]) «The Social Effect of Int. Industrial Agreement». Submitted to the Prepar. Committee of the Int. Ec. Conference, Geneva 1926, p. 5.
[2]) Ленин, Собр. соч., т. III, стр. 314.
[3]) Маркс, Капитал, т. I, стр. 360.
[4]) Там же.
[5]) Там же, стр. 426.
[6]) Там же, стр. 401.

Поэтому, в отличие от первых двух ступеней, на стадии крупной промышленности и стадии империализма, т.-е. на стадии машинного производства вообще, капитал подчиняет себе труд не только по форме, но и по существу, не только формально, но и реально.

6) И, наконец, капитализм в его империалистической стадии, – своим техническим прогрессом в форме стандартизации и электрификации, своими изменениями в форме организации труда в обществе, – «вплотную подводит к самому всестороннему обобществлению производства, он втаскивает, так сказать, капиталистов вопреки их воле и сознанию, в какой-то новый общественный порядок, переходит от полной свободы конкуренции к полному обобществлению» [1]).

По всей линии складывающийся новый тип производительных сил уже выходит за пределы общественной формы, обусловленной капиталистической частной собственностью, и полная реализация всех заложенных в нем производительных возможностей лежит по ту сторону капиталистической хозяйственной организации.

Противоречие между ростом производительных сил и формой капиталистической собственности империализм вводит в последнюю критическую фазу развития и во весь рост выдвигает проблему социалистической революции, как практическую задачу сегодняшнего дня.

Империализм приводит к революционному превращению капиталистической частной собственности в общественную, которая образует исходный пункт развития коммунизма.

* * *

Какие стадии проходит коммунизм в своем развитии—об этом речь будет в следующем очерке.

[1]) Ленин, Собр. соч., т. XIII, стр. 253.

О законе ценности, хлебе и методологии.

В. Позняков.

В качестве ответа на мои «Критические заметки по поводу книги проф. Любимова» [1]) мы теперь имеем возможность ознакомиться с «Плодом недолгой науки» Л. Любимова [2]). Хотя этот «Плод» написан и в очень сердитом тоне, хотя в нем Л. Любимов изо всех сил старается доказать, что я мало учился, что я учиняю на него всевозможные поклепы и занимаюсь передержками и т. д., и т. п.,—однако данный «Плод» с несомненностью свидетельствует, что вся моя критика была абсолютно верна, и буквально каждая его строка доставляет тому неопровержимые доказательства.

Курьезные потуги доказать, что я являюсь типичным стопроцентным ревизионистом, если и свидетельствуют о чем, так все о том же, что для Л. Любимова методология Маркса так и осталась terra incognita; в силу этого он или договаривается до абсурда, или докатывается до вульгарщины, или же в лучшем случае доказывает как раз противоположное.

Полемизировать с подобного рода антикритикой не приходится; да, собственно говоря, тут не с чем и полемизировать; единственное, что в таком случае можно было бы сделать,—это прочесть популярный курс об основах экономической системы Маркса в связи с основами методологии, но страницы журнала для этого совершенно неподходящее место.

Поэтому остается лишь воспользоваться этим ответом и извлечь из него возможную пользу, ибо в свете подобной антикритики некоторые сложные и мало освещенные проблемы теоретической экономии могут быть освещены лучше и с новой стороны. Попутно, в то же время, будет показана и справедливость моей критики. Для достижения этих целей будет достаточно остановиться на некоторых пунктах.

1.

Прежде всего тут встает вопрос о ценности хлеба. В своей статье я утверждал, что совершенно напрасно стараются навязать Марксу тот взгляд, что ценность хлеба определяется затратой труда на наихудшем участке или при наихудших условиях. Данное, ставшее уже традиционным, положение никак не может быть увязано с основами экономической системы Маркса и неизбежно должно опрокидывать развитый им закон ценности; это и случилось, между прочим, в теории Рикардо. Л. Любимов пытается защитить этот закон, но при этом: 1) говорит о законе хлебных цен Рикардо-Маркса, смешивая, таким образом, цену с ценностью; 2) пытается отождествить мои взгляды со взглядами Богданова, в то время как Богданов все время говорит о хлебных ценах, утверждая, что средняя цена на хлеб, совпадая с ценностью, определяется средним количеством труда.

[1]) См. мою статью «Теория ренты в «новом» освещении».—«Под Знаменем Марксизма» № 4 за 1927 г.

[2]) См. «Под Знаменем Марксизма» № 12 за 1927 г.

Л. Любимов, с одной стороны, в своем «Учении о ренте» отмечает и критикует это смешение цены с ценностью у Богданова, но, с другой стороны, в своем «Плоде» сам становится на ту же точку зрения и не только сам становится, но данную точку зрения Богданова навязывает и Марксу, дважды утверждая, что «цена хлеба по Марксу определяется стоимостью его и является лишь денежным выражением последней» [1]); и 3) в защиту своего положения о наличии у Маркса этого закона ценности хлеба Л. Любимов, несмотря на все свое знание Маркса и Ленина, не мог привести ни одной цитаты. Правда, он приводит одну цитату из Ленина и другую из Маркса, но первая говорит о цене производства хлеба, вторая—о цене хлеба, наивно замечая при этом, что цена и ценность—это одно и то же. Но это доказывает только одно, что Л. Любимов не различает цены и ценности; доказательную же силу против меня эти цитаты имели бы только в том случае, если бы Л. Любимову удалось предварительно документально доказать, что и Ленин и Маркс тоже смешивали (отождествляли) цену и ценность. А что это представляло бы заранее безнадежное предприятие, это ясно и без дальнейших слов. Но я все же приведу хотя бы следующие слова Маркса: «Товар пшеница подобно всякому другому продается (по мнению Рикардо) по его ценности, т.-е. обменивается на другие товары в соответствии с содержащимся в нем рабочим временем. Это первая неверная предпосылка, искусственно делающая проблему более трудной. Товары обмениваются по их ценностям лишь в виде исключения. Их цены производства определяются иначе» [2]).

2.

Я указывал, что Маркс увязал теорию ренты с развитым им законом ценности. Л. Любимов же утверждает, что Маркс теорию ренты увязал с законом ценности хлеба. Это—не одно и то же. По существу здесь устанавливается принципиальное отличие сельского хозяйства от остальных сфер производства. Критика Богданова по этой линии совершенно правильна, ибо здесь действительно налицо неувязка, и неувязка кардинального значения, но энергетическое обоснование своей критики Богдановым в корне неправильно; однако эта критика отнюдь не направлена против Маркса. Когда Богданов говорит, что «того принципиального уклонения от трудового закона в обмене сельскохозяйственных продуктов, которое обычно признается, при более точном анализе, как видим, найти нельзя» [3])—то он вполне прав; а когда он немного выше утверждает, что «цена товара и в сельском хозяйстве определяется средней производительностью труда, при средних природных условиях», то он сугубо неправ, поскольку тут речь идет о цене, а не это положение верно по отношению к ценности хлеба (вообще продуктов сельского хозяйства). Его энергетический подход обусловил у него смешение ценности с ценой, точно также как у Л. Любимова то же самое обусловил его рационалистический метод. Что

[1]) Подчеркнуто мной. См. стр. 85 и 107.

[2]) Собственно говоря, у Маркса сказано еще решительнее: «Dieses ist die erste falsche Voraussetzung, die das Problem schon schwieriger macht künstlich, т.-е. это—первая неверная предпосылка, которая делает проблему более сложной, вполне произвольная предпосылка. Маркс, Теории прибавочной ценности, II, 1, стр 137. В оригинале «Theorien etc.», 5 Aufl., II, 1, S. 191.

[3]) А. Богданов и И. Степанов, Курс политической экономии, т. вып. 4, изд. 2, стр. 88.

правильно относительно ценности, то может стать нелепостью в отношении цены, и наоборот.

В подтверждение правильности своей постановки вопроса сошлюсь на Маркса: «Под дифференциальной рентой я понимаю разницу в величине ренты,—большую или меньшую ренту, которая обусловлена разницей в плодородии различных участков земли. Эта дифференциальная рента соответствует лишь сверхприбылям, которые при данной рыночной цене, или вернее рыночной ценности в каждой отрасли промышленности, например, хлопчатобумажной, получает (тот) капиталист, условия производства которого лучше средних условий этой определенной отрасли производства; ибо ценность товара определенной сферы производства определяется не количеством труда, затраченного на единичный товар, а количеством труда, вложенного в тот товар, который произведен при средних условиях этой сферы. Здесь индустрия и земледелие различаются между собой лишь тем, что в индустрии сверхприбыли попадают в карманы самого капиталиста, а в земледелии—в карман землевладельца; далее тем, что в индустрии они текут, не обладают постоянством; то их получает один капиталист, то другой; то они появляются, то исчезают; меж тем, как в земледелии они фиксируются, благодаря их постоянной, по крайней мере для продолжительного времени постоянной, естественной основе, выражающейся в различиях почвы» [1]).

О том же, по существу, Маркс неоднократно говорит и в I томе «Капитала»: «Величина ценности какой-либо полезной вещи определяется только количеством общественно-необходимого труда или общественно-необходимого для ее производства рабочего времени. Каждый отдельный товар считается здесь вообще, как средний экземпляр данного рода товаров» [2]). И дальше, говоря о случае перепроизводства холста: «Весь холст на рынке считается, как один товар, а каждый кусок—лишь как известная часть его» [3]).

Но одновременно здесь мы сталкиваемся с чрезвычайно большой проблемой, развернутая постановка которой и попытка ее разрешения, конечно, не может быть дана в рамках настоящих замечаний,—это может быть предметом специальной работы; в данном случае я ограничусь приведенными цитатами, но в то же время приведу и ряд соображений, главным образом, в порядке решения ее per negationem. Теория Л. Любимова представляет для этого, кстати, весьма удобный об'ект.

В основе разногласий о существовании особого закона ценности хлеба лежит различное понимание категории ценности вообще, и именно той роли, которую играет при этом труд. Согласно моему пониманию труд является имманентным мерилом ценности, иными словами, овеществленный общественный труд и составляет саму субстанцию ценности; лишь поэтому он и может выступить таким имманентным мерилом. Величина ценности всецело определяется величиной этой субстанции, материализованной, овеществленной в данном товаре. Ценность при этом выступает в качестве абсолютной величины, или абсолютной ценности; абсолютной в том случае, что ее величина не может возрасти ни на один атом, если соответственно не

[1]) Маркс, Теории прибавочной ценности, II, 2, русск. пер., стр. 8—9; курсив мой.

[2]) Маркс, Капитал, т. I, пер. П. Струве, 1907, стр. 4—5; курсив мой.

[3]) Там же, стр. 55.

возросло количество данной субстанции. Однако можно труд считать и тем, что регулирует ценность; в данном случае так же можно говорить о труде, как мериле ценности. Это регулирование выступает здесь в качестве внешнего регулирования,—природа же самой ценности, очевидно, остается при этом не выясненной метафизической сущностью,—иногда же вообще утверждается ее иная сущность можно, например, апеллировать к пониманию социального—социального вообще.

Таков подход к вопросу в модной на Западе социально-органической школе. С точки зрения такого понимания, конечно, очень легко и принципиально вполне допустимо в качестве регулирующей ценность затраты труда взять и затрату труда при каких-либо определенных специальных условиях, например, при наихудших условиях. При этом оставляется совершенно в стороне вопрос об абсолютной величине ценности или об абсолютном количестве этой общественной субстанции, т.-е. общественного и специфически общественного труда. Во всяком случае, при такой постановке вопроса количественная сторона, если и не уничтожается совершенно, то отодвигается на задний план, об'является вещью второстепенной. В сущности в этих двух подходах мы имеем дело здесь с воспроизводством старой двойственности Адама Смита: с одной стороны—труд, как источник ценности, а с другой—как наиболее удобное мерило; но наиболее удобным мерилом он может служить и при естественной цене, слагающейся из доходов.

Повторяю, я стою на точке зрения первого толкования роли труда в процессе создания ценности, и в силу этого не вижу никаких оснований для конструирования принципиального отличия для закона ценности в одной, определенной сфере общественного производства—в сельском хозяйстве, и, пожалуй, еще уже—в полеводстве. Ибо своим основанием подобное разграничение имело бы, и только и может иметь, признание принципиального различия между сельским хозяйством и промышленностью.

3.

Это легко можно показать per negationem. Попытка встать на второй путь при последовательном ее проведении привела того же Л. Любимова к явной ликвидации закона ценности Маркса.

В предыдущей статье я приводил уже решающее в этом отношении место: «На лучшей земле производится при той же затрате труда (и капитала) большее количество килограммов пшеницы. Так как стоимость килограмма хлеба определяется тем количеством труда, которое идет на выращивание килограмма его на худшей общественно-необходимой земле, то, следовательно, на лучшей земле производится большая стоимость, чем на худшей» [1]).

Отсюда я сделал тот единственно возможный вывод, что здесь, наряду с трудом, утверждается иной ценность-образующий фактор, а так как тут речь идет о качестве земли, и величина ценности ставится в зависимость от качества (лучшие и худшие) участков, то тем самым получается, что рента произрастает из земли. Но в таком случае теория ценности Маркса терпит полное крушение, ибо труд становится здесь лишь одним из факторов ценности; в лучшем же случае он

[1]) Л. Любимов, Учение о ренте, стр. 117, курсив мой.

продолжает фигурировать в виде мерила ценности, но он перестает быть единственным источником ценности.

Л. Любимов протестует против такого единственно возможного логического вывода. Он не хочет допускать, чтобы избыточная прибавочная ценность, а стало быть и рента, росла из земли; согласимся с ним на минуту; но тогда эта большая ценность только и может проистекать из бо́льшего спроса на хлеб, который (спрос) и делает необходимым обработку такой худшей земли. Но это—уже экономическая, или потребительская, по терминологии Л. Любимова, версия общественно-необходимого труда в чистом виде.

По существу же Л. Любимов ничего не мог возразить против моего вывода. Он говорит только: «Положение, что на лучшей земле выжимается больше прибавочной стоимости, вовсе не равносильно утверждению, что добавочное количество ее выжимается из самой земли. Оно означает совершенно иное, а именно, что в капиталистическом обществе лучшая земля, подобно лучшей машине, при о́пределенных условиях дает возможность повысить норму эксплоатации занятых на ней рабочих» [1]).

В pendant к этому послушаем, что говорит Маркс буквально по этому же вопросу; я извиняюсь перед читателем, но должен буду привести длинную выписку: («Родбертус, как и Рикардо, исходит из того убеждения, что ценность и средняя цена взаимно покрываются [2]). Мы знаем, что, как общее правило, это не имеет места и проявляется лишь в виде исключения, при среднем органическом строении капитала») [3]). (Но) возможно... что известные сферы производства работают при таких условиях, которые препятствуют сведению их ценностей к средним ценам в выше указанном смысле (т.-е. к ценам производства.—В. П.), которые не допускают конкуренции одержать эту победу! Если бы это, например, имело место по отношению к ренте в земледелии или ренте с рудников, то отсюда следовало бы, что, в то время как продукт всех промышленных капиталов поднимался или падал до средней цены (в вышеуказанном смысле, т.-е. до цены производства), продукт земледелия был бы равен своей ценности, которая стояла бы выше цены производства... Если бы промышленные капиталы, которые не временно, а по природе их сфер производства, по сравнению с другими, производят на 10, или 20, или 30 процентов больше прибавочной ценности, чем промышленные капиталы равной величины в других сферах производства, если бы они, говорю я, были способны, вопреки конкуренции, удержать эту добавочную прибавочную ценность [4]) и помешать ей войти в общее исчисление, распределение, устанавливающее всеобщую норму прибыли, то в таком случае в сфере производства этих капиталов возможно образование двух различных присвайвателей дохода — одного, получающего всеобщую норму прибыли, и другого, получающего излишек, свойственный исключительно данной сфере...

[1]) «Плод недолгой науки» Л. Любимова, стр. 95.

[2]) Мы знаем, что и Л. Любимов исходит из этого же убеждения, по крайней мере, относительно хлеба.

[3]) Слова в скобках вставлены редактором К. Каутским.

[4]) Подчеркнем, что у Маркса тут речь идет о различных сферах производства, и добавочная прибавочная ценность получается в результате различия органического состава капитала, resp. массы прилагаемого живого труда.

Любимов же говорит о добавочной прибавочной ценности внутри одной сферы производства, но в разных предприятиях (сельскохозяйственных). Следовательно, они здесь пока говорят о различных вещах.

Если бы это имело место в земледелии и т. д., то распадение прибавочной ценности на прибыль и ренту здесь отнюдь не показывало бы, что труд сам по себе здесь производительнее — в смысле доставления прибавочной ценности, — чем в промышленности; следовательно, не нужно было бы приписывать земле никакой волшебной силы [1]), что, впрочем, само по себе смешно, так как ценность создается трудом, и, следовательно, невозможно, чтобы прибавочная ценность создавалась землей; хотя относительная прибавочная ценность может быть следствием естественной плодородности земли, но отсюда ни в каком случае не могла бы получиться более высокая цена продукта земли» [2]). Итак, когда говорят о том, что в определенной сфере производства—в сельском хозяйстве—труд является более производительным, в смысле создания прибавочной ценности, т.-е. что здесь выжимается большая прибавочная ценность, то Маркс: 1) называет это смешным и 2) источником этой добавочно выжатой прибавочной ценности считает землю. Если такая постановка смешна, то постановка Л. Любимова отличается от этой разве в том отношении, что она еще и нелепа. Ибо у него речь идет не об отдельных сферах производства, а об отдельных предприятиях внутри одной сферы. Маркс говорит об относительной прибавочной ценности, но ее увеличение, т.-е. увеличение эксплоатации, распространяется на все предприятия, тогда как у Любимова увеличение эксплоатации происходит в отдельных хозяйствах, и оно точно соответствует качеству земли. Наконец, если лучшая машина, примененная в каком-либо предприятии, повышает норму эксплоатации в данном же предприятии, то это есть не что иное, как теза о производительности капитала. По Марксу же в данном случае можно говорить о добавочной прибыли, действительно каковой для капиталиста то же, что и повышение эксплоатации.

Высказанное Л. Любимовым положение можно повернуть и еще иной стороной. Как во всяком подобном исследовании, так и здесь следует исходить из предположения, что рабочая сила продается по ценности. Если теперь на различных по плодородию участках затрачивается одно и то же количество труда, это значит, что переменные капиталы по своей величине одинаковы; но на лучшей земле выжимается большее количество прибавочной ценности. Сумма v + m составляет в с ю вновь созданную ценность. Таким образом, мы возвращаемся снова к исходному пункту. Итак, положение о том, что ценность хлеба определяется затратой труда на наихудшем участке, неизбежно предполагает справедливость тезы о большей производительности как в смысле прибавочной ценности, так и ценности сельскохозяйственного труда на более плодородных или на ближе расположенных к рынку участках земли. Но если говорить об авторстве по отношению к этому положению, то тут надо вспомнить физиократов, или, по крайней мере, Смита в его физиократической инфекции; да и то, у них это имело больший смысл.

Как бы то ни было, но это, во всяком случае, не положение Маркса. Более того, Маркс, когда встречался с подобным излишком ценности, создаваемой одинаковой затратой труда на лучших участках, правда, хотя и говорил в этом случае о ценности, но более точно называл ее «социально обманчивой ценностью», которая создается (производится) конкуренцией (diese (die Konkurrenz) erzeugt einen falschen sozialen Wert) [1]). В связи с этим он говорит о некоем минусе в реализации продуктов, в результате чего общество переплачивает за земледельческие продукты, при чем указывает, что эта переплата и составляет плюс для класса землевладельцев.

[1]) Этот курсив мой.
[2]) Маркс, Теории прибавочной ценности, II, 1, стр. 135—136.

Но здесь, как видим, упоминается реализация. Отсюда я делаю тот вывод, что приписывание оспариваемого мною положения Марксу основано также и на непонимании действительного соотношения реализации, т.-е. процесса обращения и процесса производства. Доказательства тому ниже; сейчас мне придется несколько отвлечься в сторону.

4.

Л. Любимов попытался выбраться из того действительно весьма неудобного положения, в котором он очутился, ибо в конце концов он ничего, кроме несколько модифицированного старого физиократического положения, подкрепленного производительностью капитала, так привести и не мог. Для этого он прибегает к дымовой завесе. Он старается отвлечь внимание читателя, и хочет отыграться на капитале в скобках, но при этом буквально поправляется «из кулька в рогожку».

Я только отметил мимоходом в своей критике, что, по Л. Любимову, величина ценности определяется затратой «и капитала». Оговорюсь, что когда марксист употребляет в этой связи понятие капитала, то под этим понимается вполне определенная вещь, — а именно: производство ради прибыли, другими словами, тем самым говорится об издержках производства и средней прибыли, как обстоятельствах, конституирующих цену (цену производства) или, как у Л. Любимова, даже ценность.

У Л. Любимова же получается вот что: «На какую сторону капитала в данном случае обращено мною внимание: на то, что капитал, это—затрата труда мертвого. А стоимость, конечно, определяется затратою труда живого (или, короче, просто труда) и труда мертвого (вместо чего мы короче сказали — капитала). Чтобы В. Позняков (и ему подобные) не поняли нас «оригинально», поясним подробнее. Мы вовсе не ставим знака равенства между понятиями «мертвый труд» и «капитал», так как не всякий мертвый труд — капитал. Мы говорим лишь, что всякий капитал — мертвый труд, а так как рента возможна лишь при капиталистическом строе, когда мертвый труд принимает характер капитала, то поэтому в данном случае вместо того, чтобы говорить о мертвом труде, можно было говорить и о капитале. Тем более можно, что употреблением слова капитал сильнее подчеркивается капиталистический, преходящий характер ренты, в непризнавании которого меня, к слову сказать, так часто, и так напрасно, упрекает тот же Позняков. Итак, получается такая картина. С одной стороны. В. Позняков обвиняет меня в непризнании капиталистического характера ренты, а с другой—за терминологию, которая ясно подчеркивает именно этот капиталистический характер ренты. Логика и последовательность изумительные» [2]).

Тут приходится только сказать,— хотя это выражение и очень не понравилось Л. Любимову,—комментарии излишни, даже для рабфаковца. Но вам, Л. Любимов, попробую это об'яснить возможно короче и возможно популярнее: всякий капитал в капиталистическом обще-

[1]) Marx, Kapital, III, 2, 6 Aufl., 1922, S. 200.
[2]) «Плод недолгой науки» Л. Любимова, стр. 94—95.

стве есть мертвый труд, это, положим, верно [1]), но отнюдь не всякий мертвый труд есть капитал, даже и в капиталистическом обществе. Вот брюки, которые вы носите, они, несомненно, мертвый труд; но являются ли они капиталом? Это другой вопрос. А раз так, то капитал и мертвый труд вообще не синонимы, а посему следовало бы прямо говорить о мертвом труде, а не о капитале.

Нет ничего легче определить, почему с Л. Любимовым мог произойти такой casus. Маркс говорит о ценности и соответственно с этим о труде, но когда выступает цена производства, то соотносительно с этим Маркс и говорит о затрате капитала. Не различая цены производства и ценности, по крайней мере, по отношению к хлебу, Л. Любимов об'единил это в свою двуединую формулу: в результате получилась вульгарщина. Отсюда проистекает мораль: смешение средней цены (или цены производства, когда средняя цена с ней совпадает) с ценностью, т.-е. возврат к позиции классиков, неизбежно детерминирует высказывание весьма вульгарных положений.

5.

Я указал выше, что обычная традиционная трактовка закона ценности хлеба основана также, в конечном счете, и на смешении процесса производства и процесса обращения. В этом отношении «Плод недолгой науки» Л. Любимова является классическим примером; ибо здесь это смешение, которое у других авторов находится в скрытом состоянии, становится явным, и видимо для всех призвано подпирать этот якобы «Рикардо - Марксов» закон ценности хлеба. Но это ведет нас уже в область методологии, а посему придется сказать несколько слов о методе.

Л. Любимов очень удивлен моим указанием, что у него насчет метода не все обстоит благополучно, или, чтобы выразиться точнее, все обстоит неблагополучно; данное указание он считает моим «очередным поклепом». «Место довода,— пишет Л. Любимов,— заступает другое голословное же утверждение Познякова, сделанное им по другому вопросу (о формах стоимости), но которому (замечанию) В. Позняков, повидимому, придает общее значение. «В самом деле, в чем, по-Любимову, отличие теории Маркса от классиков? Может быть, в методе? Отнюдь нет: о методе он не говорит ни полслова». Здесь у Познякова речь идет о моем «Курсе политической экономии». В нем, в самом деле, я не касаюсь вопроса о методе Маркса. Но почему? Потому что пока что вышел только 1-й том этого «Курса», а вопрос о методе политической экономии должен быть разработан в последнем томе. Следовательно, трактовка этого же вопроса и в 1-м томе означала бы только ненужные параллелизм и повторение. Прибавлю, что и в «Учении о ренте» нет специальной разработки вопроса о методе. И не только нет, но и не должно быть, поскольку это «Учение о ренте», а не о методе, который Маркс применял ведь не к одному учению о ренте. Кроме того, в «Учении о ренте» речь идет и должна итти не об общей

[1]) И то не совсем, ибо переменный капитал есть тоже капитал, т.-е. накопленная ценность, воплощение прежнего труда, но в процессе производства он—это уже купленная и потребляемая рабочая сила, т.-е. сам живой труд in nascendi. Сам рабочий становится лишь частью капитала. Все своеобразие капиталистического общества и заключается в том, что здесь даже живой труд самого рабочего, будучи отчужден, выступает как враждебная ему сила. Его производительная способность кажется производительной силой капитала. На этом Маркс останавливался неоднократно.

характеристике метода Маркса, который предполагается хотя бы в общих чертах, известным читателю, а о том, чтобы показать, как этот метод прилагается к вопросам ренты. А это красной нитью проходит через всю книгу» [1]).

Я привел почти все, что у Л. Любимова говорится по вопросу о методе, и здесь должен сделать, прежде всего, следующее замечание: Л. Любимов хочет показать, чем было выше учение о ренте Маркса по сравнению с теориями ренты классиков. Казалось бы, наиболее естественным было бы при этом показать, как превосходство диалектического метода по сравнению с рационалистически - метафизическим методом классиков привело Маркса и к совершенно иному, высшему по типу, построению в области теории ренты. Л. Любимов предпочел о методе ничего не говорить, он предполагал, видите ли, у читателя знакомство с ним, «хотя бы в общих чертах», зато, по его словам, он «показал», как этот метод прилагается к теории ренты, и провел его «красной нитью» через всю книгу. Что у него через всю книгу проведен вполне определенный метод, это — несомненный факт; но я утверждаю, а в своей статье и доказывал, что это во всяком случае не диалектический метод Маркса, но именно метод предшественников Маркса.

Впрочем, можно, пожалуй, говорить о «диалектике» по отношению к «Учению о ренте» и «Курсу» Л. Любимова, если... если только понимать эту диалектику весьма своеобразно,— просто как наличие противоречий. Мимоходом скажу, что могут быть самые разнообразные «толкования» диалектики; однажды мне пришлось встретиться даже и со следующим пониманием диалектики: диалектика есть просто спор—в данном случае, т.-е. в применении к политической экономии—«спор» между человеком и природой [2]). Может быть, читатель сам догадается, что под спором здесь прячется просто процесс труда вообще.

С точки зрения таких пониманий диалектики, книга Л. Любимова представляет яркий образчик диалектики,— в ней видимость самым явным образом расходится с сущностью, и они при этом находятся в перманентном споре.

Суб'ективно Л. Любимов, несомненно, желает быть марксистом,— он повторяет целый ряд совершенно бесспорных марксистских положений, цитирует Маркса, но в то же время так обосновывает эти положения, так их развивает, что об'ективно от них остается буквально одна лишь марксистская фраза. На этом, между прочим, и основана вся его полемика со мной. Меня интересовало существо его концепции, сюда я и направлял острие своей критики; понятно, что это существо в целом ряде случаев могло быть получено путем логических выводов и сопоставлений разных мест у Л. Любимова. Оспаривая их, Л. Любимов ссылается на другие свои многочисленные места, где он пересказывает правильные марксистские положения. Он при этом удивляется, как я мог не заметить этих многочисленных мест, но все дело в том, что они представляют лишь видимость, не вытекающую из сущности; а меня, повторяю, интересовала и теперь интересует именно эта сущность, хотя бы она и была явно высказана в одной какой-либо строчке.

[1]) «Плод недолгой науки» Л. Любимова, стр. 96—97.

[2]) См. любопытное в своем роде «Введение в политическую экономию» Харазова.

Так, Л. Любимов очень и очень много раз утверждает, что рента получается из общества, что источник ее—прибавочная ценность, цитирует Маркса, но когда дело доходит до решающего момента, когда нужно показать, к а к же она «растет» из общества, в действительности—мы охотно признаем, что это получается против воли Л. Любимова—она начинает произрастать у него на земле; больше того, абсолютная рента, напр., начинает расти на хлебных полях, а монопольная—на виноградниках [1]).

Или вот, например, в вышеприведенной цитате Л. Любимов упоминает о ф о р м а х ценности и тем явно демонстрирует свою позицию по отношению к диалектике. В своей статье я констатировал, что именно форма ценности остается для него (для Л. Любимова) «книгой за семью печатями», и я подробно остановился на учении о форме ценности; но Л. Любимов, очевидно, ничего здесь не понял, а потому ф о р м у наивно подменяет ф о р м а м и. Но, ведь, различные формы (во множественном числе) ценности есть только процесс развития формы ценности (в единственном числе). С другой же стороны, меновая ценность в развитом виде, т.-е. меновая ценность, выраженная в деньгах, есть цена или форма цены. Все различие между ценой и ценностью только и может быть понято, если понята сама форма ценности, которая свое реальное бытие, при том в своем наиболее развитом и конкретизированном виде, имеет в форме цены. Форма же цены характеризуется не только возможностью, но и необходимостью ее несовпадения с ценностью. Соответствующую цитату я приводил уже в своих «Критических заметках».

Какое же реальное значение имеет это несовпадение в теоретической экономии? Иными словами, как конкретизировать это в высшей степени абстрактное положение?

Как известно, Маркс начинает «Капитал» анализом товара, как такой элементарной формы (Elementarform) того «огромного скопления товаров», которым prima facie представляется (erscheint als) богатство капиталистического общества; при этом он прежде всего устанавливает двойственную природу товара: с одной стороны, товар—это определенная чувственная вещь, некая потребительная ценность, с другой стороны—он в то же время также и меновая ценность, к этому и сводится, между прочим, его мистический характер. Собственно говоря, эта двойственность товара была подмечена задолго до Маркса. «Слово ценность,—писал еще Адам Смит,—следует заметить, имеет два различных значения: иногда оно выражает полезность какой-либо особенной вещи, иногда ту возможность (the power), которую предоставляет владение этой вещи выменять за нее другие блага. Первая может быть названа ценностью в потреблении, вторая—ценностью в обмене» [2]). Однако Смит не сделал отсюда никаких дальнейших выводов; он просто отбросил ценность в потреблении (т.-е. потребительную ценность) и занялся меновой ценностью. Им руководил при этом верный инстинкт, но у него получилось в то же время любопытное qui pro quo. Меновая ценность заняла освободившееся место выброшенной ценности в потреблении, сама превратившись в некое естественное свойство вещи.

А между тем, «если у товара двоякий характер, если он, с одной стороны, потребительная ценность, а с другой стороны, ценность меновая, то и труд, воплощенный в товаре, должен иметь двоякий характер» [1]).

Но все это,—быть может, прервет тут меня читатель,—весьма элементарные вещи!—Что же делать? В полемике с автором «Азбуки политической экономии» приходится говорить и об азбуке политической экономии (без кавычек).

Итак, двойственность товара указывает на двойственный характер самого труда; но она указывает и на нечто большее. Ибо дальше Маркс снова возвращается к этому вопросу. Закончив анализ процесса труда вообще, Маркс переходит затем к общественно-обусловленной определенности и здесь констатирует ту же самую двойственность. «Мы видим,—говорит он,—что различие между трудом, поскольку он создает потребительную ценность, и тем же самым трудом, поскольку он создает ценность, различие, которое мы установили ранее путем анализа товара, теперь предстает перед нами как различие между разными сторонами процесса производства. Как е д и н с т в о процесса труда и процесса образования ценности, процесс производства является процессом производства товаров; как единство процесса труда и процесса возрастания капитала, он является капиталистическим процессом производства, капиталистической формой товарного производства [2]).

Но что значат процесс образования ценности и процесс возрастания капитала? Это влечет нас к специфической определенности структуры товарно-капиталистического общества, к тому, что здесь заранее этого общества не дано, ибо мы имеем prima facie перед собой разрозненную массу автономных товаропроизводителей. Однако процесс материального производства жизни, в основе которого лежит далеко идущее разделение труда, но где в то же время каждый рождается «свободным и равным в правах», представляя автономную и независимую личность—этот процесс в то же время увязывает их в нечто единое, целостное, но увязывает их особым специфическим образом.

«Количественное расчленение общественного производственного организма, который являет свои membra disjecta в системе разделения труда, столь же стихийно и случайно, как и качественное. Наши товаровладельцы открывают поэтому, что то самое разделение труда, которое делает их независимыми производителями, делает также независимыми от них самих и общественный процесс производства и их отношения в этом процессе, и что независимость лиц друг от друга дополняется тут системой всесторонней вещной зависимости» [3]). Однако эта вещная зависимость носит весьма своеобразные черты. «Вообще, продукты потребления делаются товарами лишь потому, что они—продукты частных работ, исполняемых независимо одна от другой. Совокупность этих частных работ составляет общественный труд как целое. Так как производители входят во взаимное общественное отношение т о л ь к о п о с р е д с т в о м о б м е н а с в о и х п р о и з в е д е н и й, то и специфический общественный характер их частных работах проявляется л и ш ь в п р е д е л а х э т о г о о б м е н а... Только в процессе обмена продукты труда приобретают общественно-одинаковую об'ективную природу, выражающуюся в их цен-

[1]) Цитированная статья, стр. 102.
[2]) Ad. Smith, Wealth of Nations, B. I, ch. IV.

[1]) Из письма К. Маркса к Ф. Энгельсу, 8 января 1868 г.
[2]) Маркс, Капитал, т. I, стр. 124.
[3]) Там же, стр. 55.

ности и отличную от их разнообразной природы, получающей свое выражение в полезности» [1]).

Таким образом мы видим, что двойственность товара увязывается с двойственностью самого процесса товарного производства, а, с другой стороны, эта последняя принимает новую форму.

Процесс товарного производства включает в себя, следовательно, и такой момент, как обмен продуктов труда, т.-е. товарный обмен. Можно сказать даже, что обмен, как тип связи, следовательно, как постоянный и всеобщий момент, а не как случайный акт единичной сделки обмена [2]) и есть то, что конституирует товарное общество. Именно благодаря наличию обмена как постоянного составного элемента процесса товарного производства, продукт труда становится товаром, т.-е. меновой ценностью, принимает на себя такую специфическую характеристику, как форму ценности. При этом, конечно, обмен не привносится откуда-то со стороны, он сам вырастает из производства на известной стадии развития производительных сил.

Товары продаются по ценам, но цена—это лишь внешняя видимая форма проявления той внутренней необходимости, которая лежит в ее основе и из которой она сама вырастает.

Но, вместе с тем, характеристика процесса товарного (товарно-капиталистического) производства принимает новую формулировку: действительный процесс производства,— говорит дальше Маркс,— есть единство непосредственного процесса производства и процесса обращения; здесь мы, таким образом, снова встречаемся с той же двойственностью, но она принимает уже новый вид. И он прибавляет, что это единство в своем развитии порождает «все новые образования, в которых все более утрачивается нить внутренней связи, отношения производства все более приобретают взаимно самостоятельное существование (sich gegeneinander verselbständingen), и составные части ценности фиксируются в самостоятельных одна по отношению к другой формах» [3]).

Форма ценности привела нас к процессу обращения; противоречие товара развилось в противоречие производства и обращения. Однако «обращение само по себе есть лишь определенный момент обмена, или обмен, рассматриваемый в целом, поскольку обмен есть посредствующий момент между производством и им обусловленными распределением и потреблением; но поскольку распределение и потребление сами являются моментами производства, постольку, очевидно, обмен заключен в последнем, как один из его моментов» [4]). «Достигнутый нами результат заключается не в том, что производство, распределение, обмен и потребление — одно и то же, но что все они образуют части целого, различия внутри единства» [5]).

Итак, производство и обращение есть единство, но единство, а отнюдь не тождество. Л. Любимов же просто отождествляет их: правда, прямо об этом он не говорит, возможно скажет об этом в последней части своего «Курса»,—но подобное отождествление лежит в основе всей его концепции.

Но при дальнейшем анализе, не забывая ни на минуту об этом единстве, необходимо строго различать и различия внутри этого един-

[1]) Там же, стр. 29—30.
[2]) Но в массе которых реально и имеет свое бытие обмен, как тип.
[3]) Маркс, Капитал, т. III, 2, 1908, стр. 357—358; курсив мой.
[4]) Маркс, Введение к критике политической экономии. См. «К критике полит. экономии», 1923, стр. 23.
[5]) Там же.

ства, при решении же ряда проблем такое различение, безусловно, необходимо, иначе можно притти к самым диковинным результатам.

Так, рассматривая под этим углом зрения такую категорию, как капитал, Маркс пишет [1]): Если мы будем рассматривать капитал прежде всего, в непосредственном процессе производства,— рассматривать как силу, выкачивающую прибавочный труд,— то это отношение еще очень просто; и действительная внутренняя связь еще прямо навязывается носителям этого процесса, капиталистам, и еще сознается ими. Это убедительно доказывается упорной борьбой из-за границ рабочего дня. Но даже внутри этой не-опосредствованной сферы (innerhalb dieser nicht vermittelten Sphäre), сферы непосредственного процесса между трудом и капиталом, дело не остается столь простым» [2]). Ибо с развитием относительной прибавочной ценности растущая производительная мощь труда представляется силой, порождаемой самим капиталом. Но все же здесь отношения сравнительно просты. Однако «потом вмешивается процесс обращения, в который, именно в его обмен веществ и превращение формы, втягиваются все части капитала, даже земледельческого капитала, в той мере, как развивается специфически капиталистический способ производства. Это — сфера, в которой отношения первоначального производства ценности отступают совершенно на задний план» [3])... Но какова бы ни была та прибавочная ценность, которую капитал в непосредственном процессе производства выкачивает и воплощает в товарах, реализация ценности и прибавочной ценности, заключающейся в товарах, предстоит лишь в процессе обращения»... «В книге II нам, естественно, пришлось изображать эту сферу обращения лишь в ее отношении к определениям формы, которые она порождает, указывать на дальнейшее развитие структуры (der Gestalt) капитала, которое совершается в этой сфере. Но в действительности эта сфера есть сфера конкуренции, над которой, если рассматривать каждый отдельный случай, господствует случайность, в которой, следовательно, внутренний закон, который осуществляется в этих случайностях и их регулирует, становится видимым лишь при том условии, если соединить эти случайности в крупные массы, и где он, таким образом, остается невидимым и непонятным для самих отдельных агентов производства» [4]). Мы проследили, таким образом, развитие такой абстрактной определенности формы, какой является форма ценности, и пришли в результате к процессу обращения и доходам агентов капиталистического способа производства. Именно здесь в сфере обращения и происходит процесс образования различных доходов, процесс расщепления созданной в процессе производства прибавочной ценности, обособление ее частей в виде более конкретных определенностей форм — в виде целого ряда категорий дохода. Прибавочная ценность превращается в прибыль — в среднюю прибыль, здесь появляется торговая прибыль и процент, здесь же часть той же прибавочной ценности обособляется и, как доход класса землевладельцев, пре-

[1]) Я извиняюсь перед читателем за злоупотребление цитатами, но я боюсь, что иначе опять найдутся Любимовы, которые закричат о передержках.
[2]) Маркс, Капитал, III, 2, стр. 356; курсив мой.
[3]) В русском издании дан не совсем точный перевод: «Es ist dies eine Sphäre, worin die Verhältnisse der ursprünglichen Wertproduction völlig in den Hintergrund träten».
[4]) Маркс, Капитал, III, 2, стр. 357. Я несколько исправил перевод, ибо он не совсем точно передает оригинал. См. Marks, Kapital, III, 2, 6 Aufl, 1922, S. 363.

вращается в земельную ренту. И это происходит единственно возможным в капиталистическом (и вообще, в товарном обществе) путем,—путем отклонения цен от ценности, при чем не тех мимолетных отклонений цен от ценности, о которых уже знал А. Смит и которые только и признает Л. Любимов; правда, когда он говорит ex professo о ценах производства, там он должен исходить из такого несовпадения; но что он при этом только пересказывает Маркса, не понимая всей сути дела, доказывает тот факт, что, по Л. Любимову, с подобным отклонением мы встречаемся только в случае цены производства: по отношению же, например, редких благ и продуктов сельского хозяйства, или—даже шире—добывающей промышленности, Л. Любимов отвергает подобное расхождение цены с ценностью. Тем самым общее правило—несовпадение цены с ценностью в капиталистическом обществе, им превращено в исключение, исключение же—в общее правило. Но это значит вернуться на точку зрения до-марксовой экономии.

«Наконец, рядом с капиталом, как самостоятельный источник прибавочной ценности, выступает земельная собственность, которая играет роль ограничения средней прибыли и передает часть прибавочной ценности [1]) такому классу, который и сам не работает, и не эксплоатирует рабочих непосредственно, и, в противоположность капиталу, приносящему проценты, не может предаваться морально назидательным соображениям, например, о риске и жертвах, как при ссуде капитала. Так как здесь часть прибавочной ценности, как представляется, связана непосредственно не с общественными отношениями, а с естественным элементом, землей, то этим завершается форма обособления и фиксирования различных частей прибавочной ценности одна по отношению к другой, внутренняя связь окончательно разрывается, и ее источники совершенно закрываются именно взаимным обособлением отношений производства, которые теперь связываются с различными материальными элементами процесса производства».

Итак, прибавочная ценность создается в непосредственном процессе производства; в процесс обращения она входит как количественно данная величина,— об этом Маркс не устает повторять, тут, т.-е. в процессе обращения, она только подвергается процессу распределения и перераспределения, но, повторяю, только внутри определенных, данных условиями ее производства, количественных границ. Механизм этого распределения — отклонения цены от ценности, но не мимолетные случайные отклонения, а длительные отклонения, которые вместе с тем и рождают новые экономические категории: цену производства,— общественную и для промышленного капиталиста, регулирующую цену производства в сельском хозяйстве, или рыночную ценность (или регулирующую рыночную ценность). Однако принципиальная возможность такого отклонения или такого несовпадения цены с ценностью дана уже в форме цены; но здесь эта абстрактная возможность превращается в реальность, даже в необходимость. И я даже решусь утверждать, что если бы Маркс в III томе «Капитала» не вывел цену производства, отличную от ценности, то мы должны были бы отбросить и I том «Капитала», как явно несостоятельное построение.

Понять происхождение различных доходов капиталистического общества, вскрыть их определенность форм и выяснить тем самым их источник можно только в том случае, если понят сам капиталистический способ производства, как некое единство, и вскрыты также и различия внутри этого единства,— иными словами, если понята форма ценности и соотносительно уяснены себе характер процесса обращения и его роль.

[1]) У Маркса тут речь не о прибавочной ценности, которая получается в земледелии благодаря большей производительности сельскохозяйственного труда, вопрос идет о всей общественной прибавочной ценности.

Непонимание Л. Любимовым формы ценности,— а это непонимание обусловливается его не-марксовым методом, а также вытекающее отсюда непонимание того, какое отношение имеет учение о форме ценности к земельной ренте,— фатально приводит его к тому, что в основных вопросах теоретической экономии он начинает утверждать такие положения, которые как две капли воды похожи на «истины» буржуазной экономии [1]).

Или, например, в своей теории редукции он начинает относить труд, затраченный в сфере обращения, к труду, создающему ценность; на это, между прочим, я прямо и определенно указал в своей критике, на что Л. Любимов не мог возразить ни одного слова. Или же он начинает утверждать, что и капиталист трудится, но если капиталист и затрачивает «труд», то исключительно в сфере обращения — ведь он «трудится» над реализацией ценности и прибавочной ценности. Правда, Л. Любимов делает неуклюжую попытку увернуться от столь нелепого положения,— здесь-де идет у него речь о труде иносказательно; вот-де и жулик трудится. Но позвольте, в «Учении о ренте» шла речь в данном случае о вполне определенной вещи—о трудовом происхождении доходов; следовательно, здесь речь шла о труде в его специфической экономической определенности. И недаром Л. Любимов сопоставляет вместе капиталиста и рабочего и их противопоставляет земледельцу. А иначе что же получается?— Что и доход рабочего—его заработная плата—вовсе не является трудовым доходом, ибо... и жулик трудится? Если здесь был просто lapsus, то Л. Любимову нужно было бы прямо это и сказать; что же делать, описался, написал вместо «Иван»—«диван». Однако сам по себе этот lapsus весьма характерен,— ибо он мог вырасти на определенной почве — на почве определенного метода, или,— пожалуй, в данном случае это будет

[1]) Справедливости ради отметим, что Л. Любимов иногда правильно подходит к этой стороне дела; плохо только то, что эта правильность не увязывается у него с методологией, и поэтому получает характер случайности, а не необходимости. Так в своем «Курсе» в итоговой главе он пишет: «Чтобы материальный антагонизм перешел в противоположность классовых интересов, требуется, — как показал опять-таки Маркс,—различное положение в процессе производства. (Положим, это показал Богданов, а не Маркс, ибо, по Марксу, играет роль и отношение к средствам производства; впрочем, и сам Любимов сейчас переходит к этому отношению.—В. П. И здесь в теории стоимости мы снова находим у Маркса прекрасный способ об'яснить характер наблюдающегося в капиталистическом обществе классового деления. С одной стороны,—класс, не имеющий собственных средств производства (пролетариат), с другой,—класс, обладающий средствами производства, имеющими стоимость (буржуазия), с третьей,—класс, собственник средств производства, имеющих высокую цену, но не обладающих никакой стоимостью (земле- и водовладельцы и т. п.). Стоит только опустить подчеркиваемую Марксом разницу между стоимостью и ценой и вы не проведете грани между буржуазией и помещиками (Курсив мой. Совершенно верно! Но вы не проведете и многих иных граней.—В. П.), так как оба эти класса живут на счет прибавочной стоимости, и тем более, что некоторые слои буржуазии (напр., монополисты) также получают добавочную прибавочную стоимость (Курсив мой.—В. П.), которая, как известно, составляет суть земельной ренты» (Курс, т. 1, 4-е изд., стр. 346). Но о чем говорит это место?—перед нами форма ценности in actu. Верно, что без различения «стоимости» и «цены» мы не поймем и земельной ренты; но тогда для чего же в «Учении о ренте» смешивать ценность и цену и уничтожать всякую грань различий между классами землевладельцев и капиталистов? Ибо там земельная рента проистекает из большей производительности труда, обязанной земле, и, следовательно, нисколько не затрагивает ни прибыли, ни интересов класса капиталистов.

вернее,—на почве отсутствия всякого определенного метода. Но крайности, как говорят, иной раз сходятся.

Но еще бо́льшим доказательством, что для Л. Любимова фактически процесс производства и процесс обращения представляют собой простое тождество, является его решение проблемы добавочной прибавочной ценности. Повторяю еще раз: в процессе обращения все дело идет только о распределении у ж е п р о и з в е д е н н о й прибавочной ценности. И если мы имеем в той или иной отрасли производства, в том или ином предприятии постоянный излишек прибавочной ценности над средней прибылью, который удается неизменно реализовать данному производителю, то это будет «излишняя» или «добавочная» прибавочная ценность, но ее источник лежит з д е с ь, в процессе обращения; источник—в смысле образования количественного избытка по сравнению с той массой прибавочной ценности, которая причиталась бы данному производителю, согласно общим законам капиталистического распределения. Но источником ее в смысле источника ее субстанции является капиталистический процесс производства вообще. И смешивать эти оба излишка нельзя; и, следовательно, приходится строго различать различный смысл термина «добавочная прибавочная ценность», в зависимости от того, о какой сфере идет речь,— о сфере производства или сфере обращения. Л. Любимов же их смешал, тем самым он смешал воедино процесс производства и обращения, и именно потому, между прочим, он и пытается под каждую цену (среднюю цену) подставить непосредственно ценность. Когда он на ряду с этим отказывается свести и цену земли к ее ценности,— то это уже непоследовательность, ибо в этом отношении цена земли и цена картины Рубенса ничем друг от друга принципиально не отличаются.

Что подобная постановка вопроса нелепа для марксиста, это понимает и Л. Любимов, и он категорически в своем «Плоде недолгой науки» отказывается от того, что он развивал в «Учении о ренте». «К слову сказать,— говорит он,— никакого другого понимания (отличного от понимания Маркса.—В. П.) термина «избыточная» (добавочная прибавочная стоимость», когда речь идет о ренте, не только нет у меня, но и вообще н е м о ж е т б ы т ь, так как Маркс говорит о ренте, как об излишке «над средней прибылью», т.-е. над пропорциональной долей всякого индивидуального капитала в прибавочной стоимости, произведенной в с е м (курсив мой.—В. П.) общественным капиталом [1]. Но такова последовательность у нашего теоретика! После этого категорического заявления, он, с милой непринужденностью, возвращается к своему, иному пониманию, которого, по его же собственным словам, «вообще не может быть». «У Маркса в отделе «Превращение добавочной прибыли в ренту» речь идет не только и не столько о самом этом превращении, но и о том, откуда и как образуется эта добавочная прибыль,—более того, Маркс, как мы видели, «всю трудность» задачи видит в решении именно этого последнего вопроса. И, разумеется, Маркс как нельзя более прав, не ограничиваясь проблемой одного только превращения (в узком смысле этого слова) добавочной прибыли в ренту, потому что надо ведь знать, как образовалось то, что превращается в ренту, д о л ж н о ли оно было образоваться, так как очевидно, что, если эта добавочная прибыль не могла образоваться (или могла образоваться только редко и случайно), то нет никакой нужды исследовать законы ее превращения в ренту. Само собою, что и я поступил таким же образом: с одной стороны, выяснил условия

[1]) Цитированная статья Л. Любимова.

образования добавочной прибыли (или, что в д а н н о м случае то же самое, добавочной прибавочной стоимости), а затем—с другой—проанализировал законы ее превращения в ренту, при чем в наиболее трудном случае посвятил этому даже особую главу, которую Позняков, к слову сказать, считает лучшей во всей книге» [1]).

Прежде всего считаю нужным устранить досадную ошибку,— особую главу в «Учении о ренте», которую я считал лучшею, я считал лучшею потому, что она сплошь представляет... цитаты из Маркса, другими словами потому, что она не принадлежит перу Л. Любимова. Так что напрасно Л. Любимов присваивает себе мою похвалу; она направлена не по его адресу. А. во-вторых, мы знаем уже, в чем видел Маркс проблему источника добавочной прибыли; слов нет,— это вопрос важный, но решение его нужно искать в н у т р и с ф е р ы о б р а щ е н и я, и оно сводится к отысканию тех законов, в силу которых, вопреки общему закону об уравнивании прибылей, часть прибавочной ценности ускользает из-под действия этого закона и обособляется в виде не мимолетной, не случайной добавочной прибыли. А где же ищет ее источник Л. Любимов? В приведенной только что цитате он отсылает к своей книге о ренте, но там этот источник вскрыт на следующем гипотетическом примере. Л. Любимов берет участок земли и предполагает, что произведенные на нем 16 килограммов хлеба стоят 1 рубль, и что за 640 килограммов хлеба с этого участка будет выручено 40 рублей, которые распределятся следующим образом: 18 рублей—заработная плата; 12 рублей—стоимость расходов на орошение, удобрение и т. п., 10 рублей—прибыль на затраченный капитал в 100 рублей. «Ясно, следовательно,—говорит он,—что прибавочная стоимость составляет в данном случае также только 10 рублей». Затем он берет лучший участок, на котором собирается 880 килограммов хлеба.

«Так как она (лучшая земля—В. П.) не требует н и б о́ л ь ш е г о к о л и ч е с т в а т р у д а, ни бо́льших расходов на орошение, удобрение и т. д., то заработная плата попрежнему составит 12 рублей (очевидно, ошибка,—нужно 18 рублей), а все остальные расходы—18 (ошибка,—нужно 12 рублей). Итого 90 рублей. С л е д о в а т е л ь н о, н а д о л ю п р и б а в о ч н о й с т о и м о с т и о с т а е т с я 2 5 р у б л е й [2]). Из них 10 составляет обычную прибыль, остальные же—ренту (разностную) [3]) С л е д о в а т е л ь н о, и п р и б ы л ь и р е н т а п о л у ч а ю т с я и з п р и б а в о ч н о й с т о и м о с т и. Первая образуется из того количества прибавочной стоимости, которая соответствует средней для данного общества прибыли на капитал, затраченный фермерами; вторая—из оставшегося сверхсметного, добавочного количества ее. Следовательно, рента, это—д о б а в о ч н а я п р и б а в о ч н а я с т о и м о с т ь» [4]) (выжатая, добавлю я, из более плодородной земли).

[1]) Цитированная статья, стр. 91.

[2]) Мы знаем уже, что, по Л. Любимову, ценность определяется затратой труда (и капитала), т.-е.—как он об'ясняет—затратой живого и мертвого труда. Но в данном случае количество ж и в о г о и м е р т в о г о труда осталось прежним, а ценность все же возросла на 15 руб. Откуда же получилась эта «выжатая на более плодородных участках прибавочная стоимость»? Так как она не выжимается ни из труда, ни из капитала, то остается только третий фактор производства—земля!

[3]) Кстати, тут заодно Л. Любимов уничтожает всякий источник абсолютной ренты. Ибо источником р а з н о с т н о й ренты он считает разницу между ценностью хлеба (он, ведь, говорит о прибавочной ценности и тем самым, следовательно, говорит о ценности) и индивидуальной ценой производства.

[4]) «Учение о ренте», стр. 117; курсив мой. Пусть читатель вспомнит приведенную мною в начале цитату из «Теории» Маркса.

Непосредственно за этим и следует то классическое место, где устанавливается, что величина ценности не зависит от количества труда (и капитала) (ибо одна и та же затрата труда создавала на различных участках различные ценности).

Мы видим, что у Л. Любимова все увязано, и одно вытекает из другого. Оторосив форму ценности, как, очевидно, пустое философическое мудрствование, он оказался не в состоянии разобраться в различиях внутри единства: смешал процесс обращения с процессом производства и проблему источника добавочной прибавочной ценности,—проблему сферы обращения—перенес в сферу производства. Один вопрос он подменил другим вопросом; когда же на это ему начинают указывать, то он делает большие глаза, а затем начинает кричать о поклепах и передержках.

Но не различали и не различают этого единства и буржуазные экономисты; что же удивительного, если Л. Любимов докатывается до вульгарщины. При такой, нелепой с точки зрения методологии Маркса, постановке проблемы источника добавочной прибавочной ценности неизбежно встают перед следующей дилеммой. Так как в процессе производства господствует один, и одинаковый для всех отраслей закон образования прибавочной ценности, то приходится или совсем отказаться от всякого решения проблемы источника «избытка» или же прибегнуть к нарочитому «закону» ценности хлеба, т.-е. установлению принципиального отличия сельского хозяйства от промышленности в отношении процесса образования ценности.

Предыдущие рассуждения, вместе с тем, показывают, что существность этого конституируемого принципиального отличия заключается в том же самом: в том, что явления, происходящие в сфере обращения и распределения пытаются перенести в сферу производства и рыночную ценность хлеба (а Маркс в таком случае говорил о р ы н о ч н о й ц е н н о с т и) пытаются сконструировать, не выходя за пределы процесса производства.

Если бы действительно существовал марксистский закон ценности хлеба, отличный от закона ценности вообще,—как это утверждает Л. Любимов, добавляя, что его признают и все марксисты [1]), то осталось бы абсолютно непонятным, почему Маркс не поставил эту проблемы там, где в таком случае было бы ее надлежащее место—а именно в I отделе I тома «Капитала». А между тем, всякому читавшему «Капитал», прекрасно известно, что этого вопроса Маркс касается в III томе, где им исследуется процесс капиталистического производства, взятый в целом, т.-е. опосредствованный процессом обращения.

Понятно, что по всем этим причинам я не могу причислить себя к адептам такого принципиального дуализма в теории ценности.

К этому пункту можно добавить одно замечание. Я указывал в своей статье, что если мы примем во внимание к о н е ч н ы й источник этой добавочной прибавочной ценности, т.-е. если мы обратимся к процессу производства, то в этом случае мы сможем также прове-

[1]) Кстати, в новейшем курсе полит. экономии Ф. И. Михалевского говорится: «Не следует думать, что с т о и м о с т ь земледельческих продуктов определяется одними худшими условиями производства. Стоимость тут, как и везде, определяется общественно необходимым трудом» (1928 г., стр. 276—277). Уже одна такая постановка—единственно возможная для марксиста—выделяет данный учебник над целым рядом других курсов и пособий. Впрочем, этот курс выгодно отличается от многих только в данном случае.

некоторое различие между той добавочной прибавочной ценностью, которая в дальнейшем превращается в абсолютную земельную ренту, и той добавочной же прибавочной ценностью, которая в конце концов обособляется в дифференциальную ренту. «Абсолютная рента,—писал я,—это часть прибавочной ценности, созданной в земледелии, та ее часть, которая превосходит обычную среднюю прибыль» [1]). К этому сейчас можно добавить, что источником добавочной прибавочной ценности или, правильнее, добавочной прибыли, превращающейся в дифференциальную ренту—это прибавочная ценность вообще, т.-е. в основном и преимущественно, прибавочная ценность, созданная н е в з е м л е д е л и и, а в п р о м ы ш л е н н о с т и, в процессе обращения перекочевывающая в карман землевладельца.

6.

В основном я исчерпал поставленную себе задачу; еще раз подчеркну, что я далек от мысли полемизировать против всех красот Любимовского «Плода недолгой науки»; это была бы очень скучная вещь и для читателя. Правда, в связи с таким разбором, можно было бы поставить и еще некоторые, очень интересные проблемы; но гораздо целесообразнее будет поставить их самостоятельно; тем более, что пример Л. Любимова даст нам мало материала в порядке доказательства от противного. Кроме того, для этого нужно время и место; пишущий эти строки не располагает ни тем, ни другим.

В заключение мне хотелось бы остановиться вкратце только на нескольких моментах. И тут, прежде всего, о порядке изложения проблемы земельной ренты. Кстати, это явится очень хорошим образчиком «диалектики» Л. Любимова. Л. Любимов,—и это для него, как я уже отмечал, очень характерно,—считает логичным переход от абсолютной ренты к дифференциальной; но Маркс, видимо для всех, учинил определенную нелогичность в «Капитале» и начал как раз с дифференциальной ренты. Поэтому Л. Любимов, считая такой порядок нелогичным, очевидно, из простого пиэтета к Марксу, сам учиняет подобную нелогичность и начинает в «Учении о ренте» с дифференциальной ренты. На это я и указал в своей критике.

В своем «Плоде» он спешит «поправиться», и ссылается при этом на самого Маркса, ибо вот-де он сам в своих «Теориях прибавочной ценности» тоже начинает с абсолютной ренты.

«Итак, рассмотрение сперва абсолютной ренты (чего я, к слову сказать, не делаю), по мнению В. Познякова, смертный грех против «методологии Маркса». Однако сам Маркс неоднократно придерживался такого именно порядка в «Теориях прибавочной стоимости». Так, например, при рассмотрении теории Родбертуса Маркс сначала почти сто страниц посвящает абсолютной ренте и лишь затем переходит к дифференциальной. И дело здесь, разумеется, вовсе не в том, что Родбертус занимается, главным образом, абсолютной рентой, потому что от этого не мог зависеть порядок Марксова рассмотрения вопроса, а самое большее это могло отозваться на числе страниц, посвященных в данном случае тому или иному виду ренты.

Итак, из слов В. Познякова выходит, что для самого Маркса «методология Маркса» «настоящая terra incognita» [2]).

Тут встают два вопроса: 1) почему, если логический порядок анализа ренты идет от абсолютной к дифференциальной ренте, Марк

[1]) См. мою статью, стр. 128.
[2]) Цитированная статья Л. Любимова, стр. 88.

в «Капитале» идет обратным путем, тогда как в «Теориях» следует этому «логическому» порядку, и 2) почему Л. Любимов, признавая данный логический порядок (от абсолютной к дифференциальной) и имея перед глазами пример «Теорий», все-таки предпочитает «нелогический» порядок и начинает в «Учении о ренте» с дифференциальной ренты. А в связи с этим естественно встает и третий вопрос: чем же обусловлено то обстоятельство, что Л. Любимов, подобно классическому пошехонцу, заблудился даже не среди трех сосен, а только между двумя порядками.

Читатель, для которого диалектика не «медь звенящая», легко разберется в этом вновь сконструированном «противоречии» у Маркса, с таким усердием создаваемом Л. Любимовым в потугах выбраться из своих собственных противоречий. «Капитал»—есть систематическое изложение. Поэтому «порядок изложения и исследования» экономических категорий «определяется скорее тем отношением, в котором они стоят друг к другу в современном буржуазном обществе»,—приводил я эти, всем известные, слова Маркса [1]). Дифференциальная же рента не предполагает ничего иного, как продажу сельскохозяйственных продуктов по ценам производства. Однако продажа по ценам производства является общим законом капиталистического общества. Абсолютная же рента, напротив, имеет своей предпосылкой реализацию сельскохозяйственных продуктов по их ценностям; однако это является в капиталистическом обществе уже исключением. Следовательно, нельзя итти, как это делает Л. Любимов, непосредственно от простого представления о ценности товаров к абсолютной ренте,—тогда у нас все смешается, и мы ничего не поймем. Тогда абсолютная рента станет неизбежно избытком над ценностью, а на стр. 117 «Учения о ренте» (смотри выше) у Любимова она и стала таким избытком. Путь к абсолютной ренте, а, стало быть, и к реализации сельскохозяйственных продуктов по ценности, идет через цену производства. Ибо только тогда будет понята их реализация по ценности, как исключение; вместе с тем, будет понята и абсолютная рента, и, кроме того, она будет увязана также и с законом ценности.

Но отсюда же вытекает и полная логичность порядка построения в «Теориях». Классики (и Рикардо, и Родбертус) исходили как раз из представления, что средняя цена всех товаров определяется непосредственно рабочим временем, т.-е., что товары продаются по ценности. Но, вместе с тем, абсолютная рента становилась излишком над ценностью товаров, т.-е. самым разительным противоречием развитому ими закону ценности. Рикардо ее просто и отбросил, Родбертус же пытался ее обосновать на принципиальном отличии сельского хозяйства от промышленности; но если это отличие и существовало, то только в том, что во времена Родбертуса померанский крестьянин еще не привык капиталистически считать.

Маркс и начинает свою критику с Родбертуса, ищет спервоначала источник ренты в низкой оплате сельскохозяйственных рабочих; но это решение приходится отбросить с самого начала, ибо отсюда рента как постоянная, так сказать, нормальная категория капиталистического общества выведена быть не может.

Точно так же источником ренты не может служить отсутствие сырья в сельском хозяйстве,—а это основное положение Родбертуса. Тут дело просто в ошибочном счете. Однако только в этих двух слу-

[1]) См. мою статью, стр. 120.

чаях мы могли бы вывести абсолютную ренту без нарушения закона ценности. Маркс и ставит основной вопрос: о ценности и цене производства и в связи с этим о ренте. Он бьет при этом по вашему основному тезису, Л. Любимов: что хлеб продается по ценности—и доказывает, что и хлеб должен продаваться по общим правилам, и что тот, кто это не понял, не поймет и ренты.

Таким образом, и построение «Теорий» строго логично, но так как здесь была иная цель, то и порядок получился иной.

7.

Еще несколько отдельных замечаний. Абсолютная рента, по уверению Любимова, абсолютно одинакова со всех земель. Но вместе с тем он попадает в непримиримое противоречие с Марксом, который выводит абсолютную ренту из разницы между ценностью и ценой производства.

Л. Любимов пытается защитить свою безнадежную позицию. Он заявляет, «что при всей решительности своих суждений» В. Познякова «не знает и не понимает даже тех основных истин, которые, по свидетельству Маркса, являются очевидными. Не всегда «смелость» города берет» [1]). Ибо «на беду Познякова у Маркса ясно и определенно указано и доказано, что все земли независимо от своего плодородия приносят ту же самую абсолютную ренту [2]), и он ссылается на стр. 23 «Теорий» (том II, 2).

К сожалению, на беду Л. Любимова, у Маркса в указанном Л. Любимовым месте не сказано ничего подобного. Ибо в указанной таблице абсолютная рента с различных участков земли (впрочем, Маркс говорит здесь об угольных копях, что, однако, дела не меняет) потому одинакова, что одинаковы затраченные капиталы. А это и значит, что и издержки производства, и средняя прибыль—одинаковы, следовательно, и рента должна быть одинакова; Маркс относит ренту к капиталу. Тогда как на следующей же таблице, данной Марксом тут же (см. стр. 23), абсолютная рента с тех же копей не одинакова, ибо неодинаковы затраченные капиталы. И Маркс опять тут же делает выводы («очень важные выводы») и говорит: «Прежде всего мы видим, что сумма абсолютной ренты возрастает или падает соответственно вложенному в земледелие капиталу».

Теперь несколько слов о «редкости» хлеба и «законе убывающего плодородия», который старается подбросить Л. Любимов, так как здесь может возникнуть недоразумение. Закон убывающего плодородия Л. Любимов может оставить себе, ибо в данном случае он или высосал его из своего собственного пальца, или взял его из своего собственного «Курса» [3]). Я говорил, что «редким» товаром я считаю такой товар, производство которого не может быть увеличено при той же затрате труда и капитала. Но у меня вовсе не говорится, что эта затрата должна быть большей, она может быть и меньшей. Но если это увели-

[1]) Цитированная статья Л. Любимова, стр. 89.
[2]) Там же.
[3]) В своем «Курсе» Л. Любимов «пресловутый» закон ценности хлеба прямо и обосновывает на законе убывающего плодородия, и даже в рикардовской постановке Читатель может это проверить сам, просмотрев стр. 49—53 в 4-м издании его «Курса». Там он признает несомненным факт перехода к худшим и более отдаленным землям и отсюда выводит, между прочим, растущую дороговизну в XX веке, имеющую место, несмотря на блестящее развитие техники.

ченное производство при пониженной затрате труда и капитала не может в то же время почему-либо быть увеличено в таком размере, чтобы покрыть весь спрос на данный товар, если, таким образом, на ряду с этим для удовлетворения спроса придется производить и при прежних условиях, то в таком случае и возникнут своеобразные явления в области ценнообразования на этот товар. Поскольку эти явления наступили, и цена будет определяться не непосредственно ценностью или просто ценой производства, а регулирующей ценой производства, и поскольку это не будет носить мимолетного характера—постольку такой товар я называю «редким» товаром.

Следовательно, и слово «раньше» указывает у меня на логическую последовательность, а не на исторический ход вещей. Тогда как и в этом вопросе Л. Любимов ухитряется встать на смитовскую точку зрения: для него редко то, что физически редко; но с такой физической редкостью нечего делать экономисту, пока она не стала еще и экономической редкостью.

P. S. Настоящим я считаю свою полемику с Л. Любимовым исчерпанной; линия нашего разногласия ясна—нас разделяет различие в методологическом подходе. Я всячески приветствую и отказ Л. Любимова от ряда ошибочных положений, имеющих место в его последней статье, и его доброе желание быть марксистом. Но для того, чтобы увязать в этом отношении концы с концами, Л. Любимову придется более глубоко продумать проблемы методологического порядка.

Новые пути в психопатологии[1]).

(К истории развития души).

М. Лахтин.

I.

Мышление и переживания первобытного человека.

За последнее время первобытное мировоззрение, первичные психические механизмы, одним словом ум дикаря, приобрели огромное значение для понимания нашей собственной психической деятельности. Новейшими исследованиями в области общей психологии, сравнительной психологии народов и психопатологии установлено, что некоторые филогенетически более ранние формы мышления широко распространены в современной цивилизации, а при некоторых психотических состояниях берут даже перевес над обычным логическим мышлением и могут его совершенно извратить. От первобытного существования человека к современной цивилизации через все исторические периоды тянутся нити, которые связывают современную стадию развития человечества с ее исходной точкой. И выступает эта связь особенно ясно при некоторых психических заболеваниях. Генетика душевной жизни проливает свет в патологии души на многое такое, что до последнего времени считалось непонятным и загадочным. Выяснению этих вопросов посвящены исследования Lévy-Bruhl, Frazer, Storch, Lévy-Sühl, Boas, Krüger, Preuss, Bychowski и др. Для более ясного понимания дальнейшего изложения я остановлюсь кратко на основных чертах первобытной психологии, как она рисуется упомянутыми исследователями.

Низшие грани развития, где человек соприкасается с животными, нам неизвестны. Большинство первобытных народов, психология которых является для нас исходной точкой развития души, находится на стадии эволюции, известной под названием тотемизма. Тотемизм есть религиозно-социальная система, покоящаяся на вере в то, что все племя происходит от одного общего родоначальника. Нет такого об'екта, который не мог бы быть тотемом—солнце, гром, ветер, дождь, отдельные животные или растения, или даже части их, как голова черепахи, желудок поросенка и проч. Чаще всего тотем бывает животное, и тогда вся жизнь представляет собой явный уклон в сторону животного мира. Вообще близость к последнему запечатлелась во всех проявлениях первобытной жизни,—в преданиях, мимических танцах, художественных и ремесленных изделиях и проч.

В тотемическом периоде человек не научился еще выделять себя из всего его окружающего, проводить демаркационную линию между

[1]) Статья печатается в качестве материала по вопросу о первобытном мышлении.

собой и внешним миром. Он мыслит себя в теснейшей связи со всем животным и растительным миром. Он верит, что многие члены его племени способны превращаться в животных. Все в природе одухотворено. Каждый предмет живет жизнью, близкой к жизни человека. Сорвавшийся с горы камень, например, свидетельствует о гневе духа горы и предвещает бедствие населению. Даже предметы искусственные, созданные рукой самого человека, как топор, лук, ружье, имеют особого духа, который может вредить и которого надо умилостивлять. Каждая вещь может быть одновременно и сама собой, и еще чем-то другим. Совершенно разнородные вещи, лица, явления отождествляются на основании трудно уловимых для нас признаков.

Даже самые обычные явления в жизни каждого индивида, совершающиеся с неизбежной правильностью, как рождение и смерть, приписываются мистическим влияниям и воздействиям. Рождение—это есть перевоплощение. Ребенок не является прямым следствием оплодотворения. Он может явиться на свет и без него. Оплодотворение только подготовляет материнскую почву к восприятию ребенка. Новая человеческая жизнь возникает благодаря тому, что дух какого-либо предка, будь то животное или человек,—проникает в организм матери. Рост зародыша в организме матери зависит от того состояния, в каком находился организм отца. Поэтому жизнь отца регулируется гораздо строже, чем жизнь беременной матери.

Смерть также не есть явление естественное. Даже в тех случаях, когда причина смерти не вызывает никакого сомнения, как, например, когда она наступает от укуса змеи или стрелы неприятеля, она приписывается волшебству и злым козням. У якутов очень недавно прекратился обычай не закапывать в землю трупы людей моложе 70 лет, умерших естественной смертью. Они видели причину смерти в таких случаях в том, что душу человека похитил какой-либо злой дух (абасы), и считали, что душа может вернуться к телу. Поэтому трупы хоронили на высоких помостах, а трупы бедняков—просто на ветвях деревьев. Напротив, стариков выше 70 лет закапывали живыми в землю. Будучи неспособны жить, они не могли и ожить. В общем смерть не противопоставляется жизни. Мертвый продолжает жить в измененной форме (Ногин, На Дальнем Севере). «Примитивный человек склоняется перед всемогуществом смерти с тем же жестом, с каким он одновременно отрицает ее»,—говорит Фрейд.

Какое большое значение играет у первобытных народов волшебство и магия, как средство оградить себя от всякого рода бедствий и угадывания будущего, общеизвестно. Первобытный человек всегда на-готове. Опасности угрожают ему со всех сторон. Враждебные духи заполняют весь небесный свод и каждую пядь земли. Они следуют за ним по пятам, летают над его головой, копошатся под ногами, живут в стенах его жилища, они вездесущи. Они олицетворяют собою все, потенциальные и динамические, силы окружающих его предметов. Предохранительная магическая практика крайне разнообразна и сопровождается у очень многих первобытных народов чрезвычайно сложным ритуалом. Lévy-Bruhl приводит слова вождя племени даяков: «Мы довольны нынешним урожаем, мы обязаны этому тем, что не пренебрегали ни одним предписанием наших знахарей. Мы успокоили всех духов. Мы убивали алигаторов и свиней, чтобы исследовать их сердце. Мы правильно толковали сны. Результат налицо—мы имеем прекрасный урожай. Те, кто принебрегали поступать так, как поступаем мы, остаются бедными; глядя на нас, и они будут более предусмотрительными».

Магическая сила может переходить с целого предмета на отдельные его части, как бы малы и ничтожны эти части ни были. Волос, коготь, перо могут быть носителями магической силы, присущей всему организму, часть которого они составляют. Далее пластическое изображение какого-нибудь существа,—нарисованное, выгравированное или слепленное,—считается таким же реальным, как и само существо. Это, так сказать, alter ego живой реальности. Все, что совершается с изображением, передается оригиналу. При жертвоприношениях часто сжигалось человеческое изображение или что-либо символизирующее собой человека, и это, повидимому, считалось адэкватным человеческому жертвоприношению. Индейцы обнаруживают панический страх при попытках их фотографировать. Они уверены, что при этом поглощается часть их собственной субстанции и что обладатель их фотографии имеет возможность причинять им вред. Свойства одного предмета или только части его легко переходят на другой предмет. Так орлиное перо сообщает человеку дальнозоркость. Один малайский вождь отказался взять к себе на судно шкуру лани из боязни, что пугливость «трепетной лани» передастся его экипажу.

Огромная магическая сила приписывается «слову». Это фетиш, перед которым дикарь покорно склоняет свою голову. «Слово не является только исходящим от человека волшебством,—говорит Preuss,—но представляет собою еще самодовлеющую субстанцию (Selbstständig wirkende Substanz), оно является почти равноценным об'екту, который оно обозначает. Название никогда не бывает индиферентным. Оно всегда связывает таинственными нитями того, кто его носит, с тем источником, из которого оно происходит. Свое имя первобытный человек считает чем-то конкретным, реальным и часто священным. Северо-американские индейцы убеждены, что человек может заболеть оттого, что носит несчастное имя,—в подобных случаях его необходимо бывает переменить (Bartels).

То же отношение распространяется и на сны. P. Lejeune пишет: «Для диких сны являются тем же, чем для нас библия,—источником божественного откровения, с той только существенной разницей, что они могут прибегать к этому источнику, когда им вздумается, при посредстве сна». Индеец выполняет немедленно, что ему предписано, или на что только указано во сне. У Cherokees,—пишет Mooncy,—если кому-нибудь приснилось, что он был укушен змеей, он предпринимает такое же лечение, как если бы он был укушен на самом деле. Это дух змеи укусил его, отсутствие из'язвления и отека ничего не говорит, они могут появиться через несколько лет. Коротко говоря, виденное во сне имеет для первобытного человека такую же реальность, как и воспринятое на яву. Дикарь не смешивает сна с действительностью, он их резко противопоставляет одно другому и в то же время в коллективном представлении дикаря сон преломляется совершенно другим образом, чем в нашем.

Даже расстояние и время не ограничивают области возможного для дикаря. Примитивное мировоззрение выходит из рамок даже этих основных категорий человеческого мышления. Живое существо может находиться одновременно в разных местах. Следствие может предшествовать причине. Так, неудача на охоте или рыбной ловле сегодня рассматривается подчас как следствие того, что произойдет только завтра. Приезд одного европейца, поразившего своим видом негров, был поставлен последними в связь с ранением их вождя слоном где-то в совершенно другом месте и задолго до приезда европейца.

Такое пренебрежение пространством и временем встречается, как известно, только в мифологии.

С приведенными воззрениями, —религиозными, медицинскими и естественно-историческими,—мы встречаемся у всех примитивных народов земного шара на определенных ступенях их развития. На первый взгляд примитивное мышление представляется бессвязным по форме и абсурдным по содержанию. Мало того, оно так далеко отходит от общепринятых норм, что кажется даже не человеческим. В самом деле, первобытным мышлением не проведена разграничительная черта не только между человеком и животным, но даже между живой и мертвой природой. Атрибуты, как болезнь, здоровье, смерть, рассматриваются, как самостоятельные сущности. Перестают существовать даже время и пространство. Однако в этом кажущемся хаосе новейшими исследованиями удалось установить вполне понятные связи, известную последовательность и даже закономерность. Но связь эта и эта закономерность не могут быть вскрыты путем изучения психики «белого, взрослого, цивилизованного человека», другими словами, базируя на интеллектуальной деятельности современного человека, к какой бы расе он ни принадлежал и на каком бы уровне развития ни находился, мы бессильны конструировать ранние стадии психической жизни человека, так как к последним совершенно не приложимы нормы нашей логики: «Уже давно,—пишет Стерн,—никто не сомневается в том, что работы философов и психологов прошлых времен оставались недостаточными и бесплодными именно потому, что они делали предметом своего исследования почти исключительно вполне развитую мыслительную деятельность научно-образованных людей». Напротив того, тщательное и совершенно об'ективное изучение того богатого материала, который дает нам знакомство с формами жизни, нравами, обычаями, установлениями и верованиями первобытных племен проливает много света на развитие современного логического мышления.

Наиболее подробно останавливается на общих принципах первобытного мышления Леви-Брюль. Оно определяется им как прелогическое и мистическое. Это две различные стороны одной и той же медали. По своему содержанию мышление дикаря имеет мистический характер, по характеру ассоциаций оно должно быть охарактеризовано, как алогическое или прелогическое. Прелогический характер первобытных ассоциаций явствует из всего приведенного выше описания первобытной психики. Напротив, мистический характер первобытного мышления требует некоторого пояснения. Первобытный человек не мыслит ни одного физического явления без скрытого за ним мистического двойника. Физическая сторона даже почти совершенно отрицается, так как все свойства об'екта связываются с его мистической сущностью. Даже сам человек чувствует, мыслит и действует, короче говоря существует, только постольку, поскольку позволяет это ему его душа, т.-е. опять-таки чуждая его материального бытия мистическая сущность. У дикаря создается своеобразная теория познания, которая прекрасно выражена Л. Штернбергом: «с одной стороны, все кажущиеся, все воспринятое так или иначе нашими внешними чувствами р е а л ь н о; с другой стороны, все реальное только формально реально: все реальное только кажется таким, а на самом деле оно только форма, за которой скрывается другой подлинный об'ект, от воли которого зависит облечься в любую желательную для него форму. Мир становится ареной беспрерывной метаморфозы, универсального оборотничества, где реальное лишь кажущееся, а кажущееся—реально. Различие между телесным и бестелесным, между об'ектом и явлением исчезает. Подлинно-реальные об'екты мыслятся телесно неуловимыми духами, а, наоборот, такие понятия, как слово, мысль, чувство и т. д., мыслятся реально-телесными самостоятельными об'ектами природы». Это состояние ума Леви-Брюль и характеризует как мистическое.

Следующею особенностью примитивного мышления, по Леви-Брюль, является к о л л е к т и в н о с т ь п р е д с т а в л е н и й. Эта особенность состоит в том, что психические комплексы каждого отдельного индивида строго гармонируют с таковыми же всей орды, всего коллектива. В первобытной культуре существует как бы коллективное мышление. Беря за исходную точку господствующие верования и традиции, оно идет по искони проторенным путям, крепко спаивая отдельных индивидов в одну монолитную массу. Если коллективное мнение признает что-либо за истину, если оно приписывает тому или иному предмету или явлению определенные мистические свойства, не средств, которые могли бы разубедить в этом дикаря. Если эти мистические свойства не могут быть восприняты внешними органами чувств, это вовсе не доказывает, что они не существуют. Их природа может быть такова, что они доступны восприятию одних и недоступны другим, или же они могут обнаруживаться только в определенных условиях, в которые не всякий человек может быть поставлен. Левингтон приводит длинную дискуссию, которую ему пришлось иметь с вызывателями дождя, и он заканчивает ее заявлением, что ему не удалось убедить ни одного из них в ошибочности их рассуждений.

И средний цивилизованный человек редко доводит анализ явлений до конца, человеческая мысль идет по проторенному пути и довольствуется приведением каждого нового явления в согласие в господствующими теориями и гипотезами. Все, что не гармонирует с господствующими воззрениями, вызывает известное противодействие, в основе которых всегда лежит эмоциональная реакция. Но в первобытной культуре традиционный материал коллективных верований приобретает характер абсолютной истины. Он является как бы окаменелым, застывшим, неподвижным. Дикарь, так сказать, аффективно прилипает к существующим верованиям, обрядам, традициям, которые представляют собою основное ядро, постепенно обрастающее новыми душевными образованиями. Индивидуальное поведение регулируется обычаями и традициями во всех деталях. Каждое нарушение традиционных, ставших почти автоматическими, норм жизни вызывает гораздо бо́льшую эмоциональную реакцию, чем это имеет место в современной среде. Это ведет, в конце концов, к такому душевному состоянию, когда все, что выходит из обычных рамок привычных впечатлений, поражает человека, пугает его, и он принимает для ограждения себя от мнимой опасности необходимые меры. Этим Левингтон об'ясняет истребление у некоторых племен альбиносов, птиц, поющих в неуказанное время, детей с неправильно прорезывающимися зубами и т. д. Некоторые племена питают страх перед рыжими людьми и всячески ограждают себя от их влияния. При большой наблюдательности дикарей, единогласно отмечаемой всеми исследователями, они легко подмечают все, что выходит из рамок повседневных впечатлений. Тут мы видим некоторую аналогию с явлениями, наблюдаемыми в животном мире. Лошадь, выросшая в городе, совершенно не реагирует на трамваи, автобусы, автомобили, но пугливо настораживает уши, когда на дороге попадается какой-нибудь совершенно незначительный, но

незнакомый ей предмет. В примитивном обществе всякое лицо, не принадлежащее к тому же коллективу, встречается враждебно. У индейцев Центральной Бразилии все положительные свойства—доброе, красивое, обильное, богатое—обозначается словами «мы», все противоположные свойства—злое, враждебное, непривлекательное, опасное—обозначается словами «не мы».

Дальнейшую особенность первоначального мышления составляет «с о п р и ч а с т и е» (participation). Фишером это свойство определяется «как поглощение среды в я» (Obserption der Umgebung in dem Ich), как «отсутствие выделения себя из среды». Дикарь сливает свое существование с жизнью окружающей его природы, он совершенно не отделяет себя от нее. Дождь, туман, небо, облака, деревья и животные все неразрывно с ним связано. С другой стороны, всю свою жизненность, свое собственное «я», себя самого он проэцирует во внешний мир. Он мыслит индивидуальное в коллективном и коллективное в индивидуальном. Весь мир он представляет себе как одно монолитное целое, в котором он сам растворяется весь без остатка. Это такое состояние души, которое можно сравнить с религиозным экстазом, любовною страстью, порывом творчества, когда человек весь находится во власти овладевшей им идеи, страсти, порыва.

Все отмеченные нами черты первобытной психологии, а именно коллективность представлений, растворение личности в среде, мистическое отношение к миру и алогический характер ассоциации, получили дальнейшее развитие и углубление в учении Фрейда, которому принадлежит совершенно особое место в истолковании первобытных психических механизмов. Блейлер считает психологические построения Фрейда одним из самых значительных достижений медицины за последнее время. Фрейд распространил данные сравнительной психологии народов на темную область психотических состояний человеческого ума, и здесь ему удалось вскрыть чрезвычайно интересные параллели. Еще до Фрейда, Юнг писал: «фантазии некоторых душевных больных (Dementia praecox) удивительным образом совпадают с мифологическими космогониями древних народов, о которых необразованные больные не могли иметь никакого научного представления. Душевный больной и невротик сближаются, таким образом, с первобытным человеком, с человеком отдаленного, доисторического времени».

Фрейд первый указал на ту исключительную роль, которая принадлежит аффективности в ассоциативном мышлении как дикаря, так и психоневротика. Это именно та база, которая ведет к возникновению однородных душевных продукций на двух крайних ступенях развития человеческого ума. Сравнительная психология народов обладает неисчерпаемым материалом, подтверждающим это положение.

У первобытных народов, у которых существует только язык корней, не может быть отвлеченных понятий, об'единяющих бесконечное множество единичных предметов и явлений. Каждый отдельный процесс, каждое отдельное явление окружающего мира имеет для дикаря свое индивидуальное самостоятельное существование. Отсюда такого рода явление, как 41 слово для об'яснения снега, 26 слов для об'яснения понятий таить и замерзать, 11 слов для об'яснения холода, 20—льда и т. д. Одним из наиболее ранних процессов сокращения серии образов, допускающих отвлеченное мышление, является спаивание отдельных образов, так называемая агглютинация их. Процесс этот происходит по преимуществу там, где нет еще строгого дифференцирования образов, где границы их неясны, легко меняют свои контуры и

без труда вытесняют друг друга. Суть этого процесса состоит в том, что отдельные образы, сходные между собою, в каком-либо отношении, хотя бы только в одной какой-нибудь детали, сливаются в один новый образ—конгломерат. В этом новом сложном образе, что особенно важно, суммируется эмоциальность всех вошедших в его состав первичных образов или их частей.

Параллельно со спаиванием идет еще другой процесс «вытеснения» (Verschiebung). Какой-нибудь один образ начинает доминировать над всеми остальными, постепенно он вытесняет их и становится на их место, при чем он впитывает в себя всю присущую вытесненным образам эмоциональность. В результате получается один образ с большим аффективным зарядом. Процесс этот легко проследить в первобытных верованиях. Так, например, амулет, представляющий собой ничтожную часть какого-либо животного или растения, является носителем свойств не только всего организма, но еще и свойств целого ряда других существ или предметов, отождествляемых с ним.

Чувства, конденсированные в таком своеобразном конгломерате, не всегда бывают однородными, т.-е. они не всегда бывают только положительными или только отрицательными, а чаще всего они являются одновременно и теми и другими. Отсюда каждый аффективно-насыщенный предмет имеет двухстороннюю значимость или, по терминологии Блейлера, амбивалентен. Он внушает и любовь и ненависть, привлекает и отталкивает, вызывает ужас и служит предметом благоговейного культа и т. д. Примером может служит табу,—термин, заимствованный из религиозно-обрядных учреждений Полинезии. Оно является понятием чрезвычайно неясным и смутным по содержанию, но крайне сильным по аффективной заряженности. Табу вызывает у дикаря целую гамму противоречивых чувствований: чего-то священного, божественного, далекого от всего обычного, и в то же время опасного, нечистого, страшного, проклятого. I. G. Frazer производит табу от глагола ta—отмечать и приставки pu: буквальный смысл его «выделенный, отмеченный». «В душевных движениях примитивных народов,—говорит Фрейд,—приходится вообще допустить большую степень амбивалентности, чем ту, какую мы можем найти у современного культурного человека».

Процесс сгущения и вытеснения у некоторых примитивных народов идет так далеко, что те ассоциативные связи, которые существуют между агглютинируемыми образами, становятся для нас неуловимыми. Так, у индейцев в Мексике кактус, утренняя звезда и олень спаиваются непонятным для нас образом в представление об одном существе (Прейсс). У северо-западных американских коренных жителей душа, покинувшая тело, изображается в виде человеческой фигуры с птичьей головой, из рта которой выползает змея. Для нас такое изображение представляется как бы символом, т.-е. отвлеченным понятием, одетым в оболочку реального образа, явившемся в результате анализа представлений. Для дикаря со слабо-развитой способностью абстрагировать это представление является не отвлеченной идеей, принявшей вещественную форму, не эмблемой, аллегорией или сравнением, а душою в собственном смысле этого слова. Другими словами, в его сознании нет ничего другого, кроме сгущенного образа, окрашенного сильным эмоциональным тонусом вследствие суммирования эмоциональных окрасок, присущих каждому из первоначальных, вошедших в него, образов. Точно так же факт смерти, тело умершего, сон об умершем, воспоминание о нем и проч., спаиваются в один сложный комплекс, мощный по своей аффективности, но трудно

определимый по содержанию. Подобно представлению о душе и идея смерти возникает не путем абстрагирующего мышления, а через ков. центрирования аффектов, присущих всему, что так или иначе свя. зано со смертью. Такое образно-аффективное мышление Прейсс назы. вает комплексным мышлением.

Мышление, руководимое аффектами, извращает внешнюю карти. ну мира. На первый план резко выступает все аффективно акцентуиро. ванное, и весь мир представляется как бы стилизованным. Животные и растения изображаются в первобытном искусстве упрощенными и офантазированными. Ингредиентами живого организма могут быть всякого рода неодушевленные предметы—военные доспехи, орудия ремесла, предметы религиозного культа. Из цветка растения незаметно вырастает торс женщины, сучья дерева становятся частями тела—ру. ками, рогами и т. д. Этим путем явились на свет небывалые крылатые гении, сирены, тритоны. Все части рисунка имеют при этом чаще всего геометрически - правильное расположение, так как симметрия в при. роде, в строении животного, растений, составляет правило, общее явление. Орнамент декоративного искусства, толкуемый при своем возникновении как талисман, служит прекрасным примером перво. бытного творчества.

В представлениях дикаря о внешнем мире отражаются его соб. ственные аффективные состояния, связанные с борьбой за существо. вание, с постоянным страхом перед смертью и увечьем, с властным тре. бованием полового чувства, с мучительными состояниями, вызыва. мыми длительными голодовками и проч. «Примитивный ум,—говорит Фрейд,—переносит во внешний мир структурные условия собственной психики, собственные мысли принимает за явления внешней природы, внешние, естественные законы заменяет он внутренними психологи. ческими. Он проэцирует во вне свои чувства, свои аффекты и мир наполняется колдовством, волшебством, духами, демонами, персони. фирующими его собственные, внутренние душевные процессы.

Для полного понимания катитимического, т.-е. аффективного мышления необходимо еще отметить, что дикарь проэцирует свои аффекты на те об'екты, с которыми они связаны. Как наивное мышле. ние считает зрительные и слуховые впечатления свойствами об'ектов, так и дикарь связывает с об'ектами внешнего мира свои эмоции. Страх и ужас, восхищение и радость он считает не своими особыми душевными состояниями, а свойствами вещей, вызывающих эти чув. ствования. Наделяя все предметы внешнего мира чувствами, дикарь начинает считать их обладающими особыми душами, одухотворяет их. Таким образом, рождается анимизм, т.-е. вера в существование в мире бесчисленного множества душ, духов, демонов. Все в природе оживает и начинает жить общею с человеком жизнью. Человеческое сознание, «я», теряется в этом хаосе одухотворенных, антропомор. физированных субстанций. Грани между суб'ектом и об'ективным стушевываются. «Предметы,—говорит Фрейд,—отступают на задний план в сравнении с представлениями о них; то, что совершается над последними, должно сбыться с первыми. Отношения, существующие между представлениями, предполагаются также и между предметами. Так как мышлению не известны расстояния и оно легко об единяет в один акт сознания пространственно наиболее отдаленное и по вре. мени наиболее различное, то и магический мир телепатически легко одолевает пространственные расстояния и относится как к современ. ному к тому, что когда-то имело связь».

Характеристика первобытной психики, даваемая новейшими исследованиями резко расходится с воззрениями анимистической школы, еще недавно занимавшей господствующее положение в антропологии. По анимистической теории мысль первобытного человека, непрерывно работая над решением таких вопросов, как жизнь, смерть, сон, болезнь и проч., и, развиваясь по законам нашей логики, приходит к очеловечению, антропоморфированию природы, к наделению всех предметов человеческими свойствами, т.-е. особенностями, присущими его психической и социальной жизни, и, наконец, к открытию духов, которые и начинают признаваться причиною всего сущего. Анимизм изображает первобытного человека ищущим причины всех явлений, совершающихся во внешнем мире, с такою же последовательностью и настойчивостью, как и современный исследователь. Это та самая психология, которая руководила древне-греческими философами в их искании мудрости или гениальным астрономом Кеплером в его астрономических обобщениях. Тейлор и другие считают, что теория анимизма является наиболее последовательной и законченной в своих самых примитивных формах, т.-е. у самых источников своего происхождения. При обобщении же дальнейших жизненных наблюдений, она утрачивает свою простоту и отчетливость.

Действительно, анимистической теории нельзя отказать в стройности и законченности. Мировоззрение, наполняющее весь мир духами, содержащимися не только в каждом предмете, но и в любой части его, гораздо ближе к современным естественно-научным представлениям о действии сил, обитающих в вещах, о всемирном тяготении и проч., чем идея о божествах следующего религиозного периода культуры. Анимизм, являясь как бы первою гипотезою космического характера, мог бы считаться преддверием к современному научному мировоззрению с его причинною закономерностью и бесчисленными физическими силами, если бы только эти воззрения действительно существовали в первобытной культуре в том виде, как они изображаются английскою антропологическою школою. Но в этом позволительно усомниться. Уже самая стройность и законченность анимистической теории заставляет, по справедливому заключению Леви-Брюль, заподозрить возможность возникновения ее в условиях примитивной жизни. Основная ошибка, которую делает школа Тейлора, состоит в том, что она исходит из условий интеллектуальных построений современного человека. Она заставляет рассуждать первобытного человека так, как стали бы рассуждать мы, находясь в условиях первобытной жизни. Но спрашивается: возможно ли, в действительности, в примитивной обстановке существование первобытного философа, занятого решением сложнейших биологических проблем. Конечно, ничего не может быть более сомнительным и менее вероятным. Не решением мировых загадок занят ум дикаря, а вопросами самосохранения. Не сосредоточенное мышление характеризует первобытную психику, а быстрые реактивные разряды, носящие характер мобилизации всех средств защиты.

Основные черты первобытной психики определяются совершенно иным индивидуальным и коллективным опытом, чем тот, на котором базируется ум европейца. Упражнение является тем могучим фактором, которым определяется развитие и усовершенствование всего психического аппарата. Существование на грани животной жизни ведет к развитию одних психических функций, жизнь в культурной обстановке современного европейца к развитию совершенно других. Представления дикаря являются носителями совершенно

иного опыта, чем наши представления и каждое новое впечатление вызывает у него чуждые и непонятные нам воспоминания.

Необходимо также учесть ту своеобразную функцию нашей психической деятельности, которую мы называем интерес. Каждый из нас проходит мимо очень многого важного и значительного только потому, что это относится к другой неизвестной нам специальности, а потому не входит в круг наших интересов. По той же причине дикарь остается индифферентным ко многому в нашей европейской цивилизации, как к элементам ему чуждым, далеким, непонятным, а потому и лишенным всякой эмоциональной окраски.

Наконец, аппарат высоко-развитой речи, дающей множество готовых ассоциаций, является могучим вспомогательным средством мышления, которого совершенно лишен первобытный человек. «Уму первобытного человека,—говорит Боас,—могут представляться рациональными лишь его собственные ассоциации. Наши ассоциации должны казаться ему так же разнородными, как его ассоциации кажутся нам, потому что связь между совершающимися в мире явлениями в том виде, какою она представляется нам по устранении эмоциональных ассоциаций, не существует для него, между тем, как мы уже не можем чувствовать тех субъективных ассоциаций, которыми руководится его ум».

Игнорирование всех особенностей первобытного существования и оказываемого им влияния на первобытное мировоззрение повело к установлению взгляда на дикаря одновременно как на творца очень сложных жизненных теорий и как на субъекта неполноценной духовной структуры, мешающей ему подняться на высшие ступени культуры. Если брать за принцип душевной одаренности одну только степень приспособления к условиям существования—уменье подмечать происходящие кругом перемены и в соответствии с этим менять свой образ действий и быстро принимать решение, то мы должны будем признать, что дикарь в такой же мере приспособлен к существованию в первобытной культуре, как европеец—в современной цивилизации.

Вопрос, почему европеец достиг современных высот научно-социального бытия, а какой-нибудь полинезиец застыл на ранних ступенях развития, остается поныне открытым, но надо думать, что архитектоника центральной нервной системы является здесь не единственной причиной, тем более, что методами современного научного исследования различий этих установить не удалось. Как бы то ни было, но важно подчеркнуть одно. Мы никогда не должны подходить к оценке первобытной жизни с масштабом наших современных воззрений и не должны клеймить как дефективное все, что с ними не согласуется. Лишь строгое учитывание всех социально-генетических условий жизни может предохранить нас от слишком поспешных суждений и совершенно произвольных, взаимно исключающих друг друга, выводов при сопоставлении примитивно-мистического мышления первобытного человека с современным реалистическим мышлением. Невыполнение этого элементарного требования привело к тому, что даже первоклассными исследователями вся психическая деятельность предшествующих современной цивилизации периодов развития человечества расценивалась как непрерывная цепь ошибок и заблуждений. И только эволюционное учение, произведшее колоссальный переворот во всем естествознании, внесло ясность также и в эту область и дало нам, если и не законченную, то все же стройную и, в своих основных чертах, понятную картину первобытных душевных образований.

Р е з ю м е. Примитивное мышление очень далеко от тех принципов, на которых покоится наше мышление, все положительные знания и сама европейская культура; об этом свидетельствуют все установления, все верования, вся практика жизни первобытных народов. Иерархия явлений в том смысле, как это понимает наше сознание, для первобытного ума не существует. Идея причинной зависимости, исходящая из частоты совпадений двух явлений, им совершенно чужда. Логика, воспроизводящая реальные соотношения, отступает для них далеко на задний план. Опыт, который нами так высоко ценится, не имеет никакой силы, так как опыт утверждает или отрицает только свидетельства наших органов чувств, а ум дикаря занят все время скрытыми, мистическими свойствами, не доступными нашему восприятию.

Подобно тому, как воображаемым мистическим атрибутам дикарь приписывает неизмеримо большее значение, чем действительным свойствам предметов, так же поступает он и в отношении к своему «я», у него существует безграничная вера во всемогущество своих мыслей, своих желаний, он считает, что одними психологическими актами может вносить любые перемены в окружающий его мир. Он уверен, что призван властвовать над миром и управлять им. У него нет никакого представления о мере своих сил. Весь мир представляется ему как бы частью его психики. Психизм проникает всю жизнь первобытного человека. Он чувствует себя властвующим над природой, способным вносить в нее любые перемены, часто одними только мыслями.

Основные принципы, приводящие в движение психический аппарат дикаря, очень далеки от стремления к об'ективному познанию мира, как это представляет себе школа Тейлора и Спенсера. Что́ существует в действительности, что́ возможно и что́ невозможно, лежит вне круга его интересов. Мышление идет по пути скрытых внутренних тенденций и влечений, а так как все желания и влечения человека противоречивы, неустойчивы и подвижны, то тот же характер неустойчивости и непоследовательности приобретает и весь его мыслительный процесс. Коррективом в этом направлении являются коллективные установления. Каждая новая идея, рождающаяся в голове дикаря, теснейшим образом сплетается со всем традиционным материалом по принципу эмоциональной связи. Переход к новым верованиям и воззрениям возможен только путем разрушения прочно укоренившихся старых отношений новыми, более сильными, но это бывает только при общих потрясениях всех основ жизни, когда сопротивление не возможно.

Даже самые отсталые члены нашего общества, по справедливому замечанию Леви-Брюль, верящие в спиритизм, магнию, привидения, резко противопоставляют естественные явления сверхъестественным. Для них существует два порядка вещей: мир видимых и ощутимых явлений, подчиняющийся общим законам движения, и другой мир не видимый, не ощутимый, «духовный», представляющий собой как бы мистическую сферу, в которую погружен первый мир. Напротив того, для дикаря созданный его воображением мир является главным, основным. Мир реальных отношений имеет для него лишь относительное значение.

Возможность вторжения в жизнь различных случайностей и неожиданностей беспредельна. Случайность возводится в систему и становится мировым принципом. Чудо является универсальным об'яснением всего непонятного. Такому мировоззрению нельзя отказать в последовательности и законченности. Оно об'ясняет сущность

мира с исчерпывающей полнотою и без остатка. Это своеобразный все об'ясняющий детерминизм, предшествующий научному детерминизму.

Переход от первобытного состояния с современной цивилизации состоит прежде всего в переходе от ассоциаций по принципу аффективности к ассоциациям интеллектуального характера, т.-е. к ясному логическому мышлению. Это есть вместе с тем и переход от неподвижных консервативных форм мысли, основанных на коллективных верованиях, к сознательному исканию существующих в мире связей и отношений.

II.

Остатки первобытного мировоззрения в современной цивилизации.

Примитивное мышление не составляет исключительное свойство первобытных народов; его можно встретить и на более высоких ступенях развития. Остатки анимистических представлений в изобилии вкраплены в картину мира современных культурных народов. В обесцененном виде они сохранились в преданиях, сказках, поговорках, суевериях и ярче всего в мифах, в которых как в фокусе сосредоточен опыт длинного ряда поколений. Наконец, примитивное мышление может быть вскрыто во многих оборотах повседневной речи и в самой практике жизни. Для примера я приведу несколько корреспонденций из газет, относящихся все к 1910 г., отмеченному холерной эпидемией. Число этих корреспонденций можно было бы увеличить до беспредельности:

«В дер. Нестеровке, Корнеевской волости, Николаевского уезда, имел место такой факт. По инициативе крестьянки указанной деревни, вдовы Е. Торонушенковой, собрались ночью и другие вдовы, всего 9 человек, и 1 вдовец, крестьянин А. Лустов; взяли с собой иконы и один железный плуг, обошли кругом деревни, сделав борозду плугом. Шествие было совершено в следующем порядке: 3 вдовы шли впереди с иконами в руках и читали молитвы, а остальные 6 везли за ними плуг, придерживаемый вдовцом Лустовым. По заявлению их, произведенная опашка предохранит деревню от холеры. Это же средство было использовано в холерную эпидемию 1892 года» («Волжское Слово», Самара, 21 сентября 1910 г.).

«Жители пригородних слобод—Сторожевой и Клюковки, для ограждения слобод от нашествия холеры, решили прибегнуть к традиционному «опахиванию». Опахивание было произведено темною ночью при довольно торжественной обстановке. В нем приняли участие девки, вдовы, бабы и парни. Все женщины были в одних рубахах. Впереди шли парни, стреляя из ружей, за ними вдовы с иконами и, наконец, уже девки. Одна из последних была впряжена в соху. Процессия, обходя с сохой вокруг слободы, пела «Святый боже» (Г. Данков, Рязанской губ.).

«В хуторах, прилегающих к поселку Александровскому, Кубанской области, свирепствует холера. Так, из 50 человек населения 12 больны холерой, а 9 умерло. Чтобы избавиться от холеры, кто-то предложил, по примеру прошлых лет, запрячь в плуг вдов и пропахать ими межу вокруг хуторов, и холера пропадет. Население схватилось за эту мысль, впрягли трех вдов, но, к счастию, это им оказалось не под силу, и «лечение» отложено на некоторое время, покуда не подыщут еще вдов» («Далекая Окраина», Владивосток, 19 июля 1910 г.).

«В с. М. Сердобе многие жители скрывали заболевших холерой. Население этого села, особенно женщины, недоверчиво относились к медицинскому персоналу, говоря, что отряд прислан для того, чтобы морить людей подобно тому, как посылают ветеринаров убивать заболевших сапом лошадей. Прочитанная участковым врачом лекция о холере не привела к цели. Женская часть населения устраивала ночные собрания, после которых при пении духовных песнопений производили опахивание села сохой, в которую были впряжены женщины» («Саратовский Листок» № 199, 16 сентября 1910 г.).

«Жители Марьиной Рощи, Новороссийского уезда, следующим образом разрешили вопрос о мерах борьбы с могущей возникнуть холерой. В одну ночь была выпрядена длинная нить, которой окружили все селение; в начале и в конце селения в эту же ночь поставили по дубовому кресту; на каждый крест повесили по небольшому в эту же ночь сотканному полотенцу, на которые нашили по кресту из красного кумача» («Свет», Спб., 24 августа 1910 г.).

«В четверг, 5 августа, армяне-дачники устроили после богослужения, за неимением собственной церкви, в польском костеле жертвоприношение, с целью избавиться от заболеваний холерой. Было зарезано и роздано 2 барана. После богослужения дачники, во главе с духовенством, направились сперва в русскую общественную, затем в полковую церковь. Отсюда и началось шествие по улицам до 2 часов дня» («Курсанты», газ. Баку, 10 августа 1910 г.).

«8 сентября черемисы дер. Бедеевой собрались на сельский сход для обсуждения общественных дел. Кто-то на сходе высказал, что первая умершая от холеры черемиска Ешкишма Мурзашева, почитавшаяся при жизни колдуньей, по ночам прилетает домой в виде огненного столба. Тут же на сходе было решено могилу умершей разрыть, перевернуть покойную вниз лицом и в спину вбить кол. На следующий день, рано утром, по наряду кандидата сельского старосты Асеева, на кладбище явилось несколько черемис, десятских, вырыли умершую, положили ее вниз лицом, в спину вбили большой железный шпиль и затем могилу снова зарыли. В заключение командированные распили 4 бутылки вина и разошлись по домам. Деньги на вино были отпущены кандидатом старосты из общественных сумм» («Земщина», Спб., 6 октября 1910 г.).

Приведенные корреспонденции настолько характерны сами по себе, что не требуют комментариев. Если бы не был известен источник приводимых сообщений, все они легко могли бы быть отнесены к медицинской практике обитателей Огненной Земли или краснокожих индейцев. Какая, в самом деле, разница между заклинанием и колдовством дикарей и опахиванием поля женщинами, вколачиванием мертвецу—мнимому колдуну—кола в спину и другими подобными же средствами борьбы с эпидемиями, практикуемыми в настоящее время?

Было бы ошибкою думать, что суеверные пережитки возможны только в деревне. Они встречаются и в культурных центрах. По словам газет [1]) в «Вестнике Петербургск. Градоначальства» были собраны в 1910 г. любопытные цифры относительно гадальщиц, хиромантов, предсказывателей и других подобных эксплоататоров человеческого суеверия. Оказалось, что всего в Петербурге насчитывалось 272 таких лица, в том числе 104 женщины и 168 мужчин. Из этих прорицателей и

[1]) «Всеобщая Газета», 14 ноября 1910 г. «Русское Чтение», 4 июня 1910 г.

гадальщиков четыре лица имели дипломы высших учебных заведений, 2 офицера в отставке, 11 гражданских чиновников, 7 бывших учителей. Заработок у некоторых из этих дельцов доходил до 400—600 руб. в месяц. Число клиентов достигало у некоторых 30—40 человек в день. В передних кудесников можно было встретить адвокатов, артистов, светских дам и даже студентов и на всех их лицах была написана «наивная детская вера в то, что таинственное существо, сидящее рядом в комнате, орудует человеческой судьбой и может воздействовать на их жизнь». Приведенные факты свидетельствуют о том, как велик спрос на прорицателей и гадателей, другими словами, как много лиц, легко сбивающихся с пути логического, материалистического мышления. О том, как широко распространена вера в бесоодержимость и как разнообразны способы бесоизгнания, говорить не приходится. Они общеизвестны [1]).

Что наша страна не составляет исключения, в этом не трудно убедиться, обратившись к соответствующим источникам. Интересный материал мы находим в воспоминаниях детства Ренана, который рисует воззрения, удержавшиеся по настоящее время в Нормандии, наиболее отсталой провинции Франции. «Мне сказывали,—пишет Ренан,—каким образом в детстве мой отец избавился от лихорадки. Ранним утром его привели в часовню целителя-святого. Туда же пришел кузнец со всеми атрибутами своего ремесла: он развел на жаровне огонь, накалил до красна клещи и, поднеся их к изображению святого, сказал: «если ты не исцелишь этого ребенка, то я подкую тебя, как лошадь».—Подобных примеров можно было бы заимствовать у одного Ренана немало.

Таким образом, мы повсюду встречаем рудименты примитивных воззрений. Жизнь далеко ушла от первоначальных форм, а многие психические продукции остаются теми же, какими они были у пещерного человека. Современное научное приятие мира, в основу которого положены принципы закономерности и всеобщей обусловленности, не в состоянии было вытеснить полностью прежний архаический образ мыслей. Правда, архаическо-кататимное мышление не пренебрегает совершенно опытными данными, но пользуется оно ими лишь постольку, поскольку они совпадают с скрытыми желаниями, с целевыми установками. Все, что идет в разрез с последними, игнорируется или даже совершенно отбрасывается. На крайних ступенях аффективное мышление в такой степени отклоняется от привычных нам психических процессов, что составляет как бы самостоятельную психическую категорию.

III.

Оживание первобытных психических механизмов при шизофрении и других психоневрозов.

Первые указания на сходство бредовых образований больных с первобытным мышлением мы находим у Фридмана. Он первый указал на то, что отсутствие интереса к вещественным, реальным соотношениям, к закономерности явлений, с одной стороны, и стремление связывать все происходящее во внешнем мире со своею личностью, с другой, свойственно душевнобольным в такой же мере, как и дика-

[1]) См. М. Лахтин, Бесоодержимость в современной деревне, — «Вопросы Психологии и Философии», Москва 1913 г.

рям. Болезнь мозга, деградируя человеческую личность, низводит ее на филогенетически низшие ступени развития. Обоснование и дальнейшее развитие эти идеи получили у психоаналитиков с Фрейдом во главе.

Первое место занимает здесь шизофрения в начальных стадиях своего развития, когда под влиянием ослабаумливающего процесса не произошло еще глубокого оскудения всей личности. Шизофреническое мышление представляется нам сбивчивым, туманным, противоречивым, фантасмагоричным. Процесс восприятия и усвоения сохраняется долго, но осмышление и обобщение очень скоро сходит с обычных нормальных для здорового человека рельс. При сохранении грамматической связи речь больного становится малопонятной. В ней нет логики. Процесс образования новых представлений совершается иначе, чем у нас. Больной может гримасничать, производить руками непонятные, однообразные движения, бессвязно говорить, многих из окружающих называть вымышленными именами, принимать их за своих родственников или давнишних знакомых и в то же время правильно ориентироваться в месте и времени и быстро осваиваться с больничными порядками. Больная Urstein'a (сл. II) жаловалась, что у нее все внутренности сдвинуты на бок, потому что врачи входят к ней в дверь боком. Вся она распалась на части, которые проносятся перед ее глазами в воздухе. Утверждала, что не может ни стоять, ни ходить, и в то же время вскакивала с постели, повертывалась три раза и снова укладывалась в постель. Она должна пробежать в коридоре по кругу, чтобы все снова пришло в равновесие. Она выпила все море. Проглотила солнце. Когда она пьет кофе, она превращается в змею. Она должна была простоять всю ночь у окна, чтобы комната стала четырехугольной. Ей уже 7.000 лет, она много раз рождалась вновь. И, на ряду с этим, совершенно бессмысленным бредом, полная ориентировка в окружающем. Подобно спаиванию в один конгломератор оленя, кактуса и утренней звезды в первобытной психике, больная, приводимая Юнгом, считает себя одновременно Швейцарией, Ивиковыми журавлями, владелицей всего мира и семиэтажной фабрикой банковых ассигнаций, двойным политехникумом и заместительницей Сократа. Нам трудно найти совпадающие части в столь различных представленяих. Реакции больного представляются нам не адэкватными раздражению. Вчувствование во внутренние переживания шизофреника так же трудно, как и во внутренние переживания дикаря. В стремлении понять окружающее больной отмечает много тончайших оттенков, но об'ективная причинность, которая для нормального человека является основным стержнем его психической деятельности, у больного незаметно подменивается иными формами взаимоотношений. Внешние моменты перестают оказывать решающее влияние на течение мыслей. «Обычные законы ассоциаций,—пишет Бернштейн,—являются как-будто уничтоженными; ассоциации совершаются по случайным, неуловимым признакам, и нет никакой возможности с внешней стороны проследить за теми путями, которые проделывает мысль этих больных в своем ходе; нет возможности, параллельно с больным, нам, здоровым, продумать тот ход мысли, который совершает больной. Их сознание, их психические конструкции, даже их логика настолько нам чужды, что вряд ли мы можем себя перенести в их душу, вряд ли мы можем представить себе, что в них суб'ективно происходит. Если можно позволить себе такое символическое сравнение, я скажу, что это люди с нечеловеческой, неземной психикой, с психикой жителей

какой-нибудь иной планеты, у которых психическая жизнь протекает по законам, не только не соответствующим нашим земным законам, но и несоизмеримым с теми законами, которые управляют нашей психикой». Бернштейн писал это в то время, когда мысль о возврате к первобытной психике при шизофрении только едва еще зарождалась.

Язык является для нас только средством взаимного общения, взаимного понимания. Слово, как выражение представления, является для нас только субъективным символом предмета, и само по себе, независимо от представляемого им объекта, не имеет никакого значения. Совсем иначе обстоит дело у многих больных. Они обращаются со словами так, как если бы они представляли собою настоящие реальности, они приписывают им самостоятельное важное значение. Подвергая их всевозможным каббалистическим превращениям, они находят в них подтверждения и доказательства своим бредовым идеям. Вместе со своим твердым, определенным значением слова теряют и свою твердую определенную форму и легко могут подвергаться всевозможным превращениям, разлагаться на свои составные части, сливаться с другими словами и проч. Этим открывается путь к неологизмам. Ассоциативный опыт ясно показывает, как цепко держатся больные за самые слова и как мало значения имеет для них вкладываемое в это слово содержание.

Основною чертою шизофрении, как известно, является аутизм по Блейлеру или нарциссизм по Фрейду. Это жизнь в самом себе. Больные отходят от внешнего мира, теряют с ним всякую связь. Реальность отступает для них на второй план, действительные соотношения сил и явлений имеют для них лишь второстепенное значение. Поэтому они и становятся так мало доступными для проникновения в их внутренние переживания. Отхождение от внешнего мира может быть обнаружено уже в простом процессе чтения. Заставьте больного читать, и он нередко, после двух-трех правильно произнесенных строк, начинает конфабулировать, подобно маленьким детям читать «из головы». «Аутизм,—пишет Блейлер,—может игнорировать временные соотношения. Он перемешивает бесцеремонно настоящее, прошедшее и будущее. В нем живут еще стремления, ликвидированные для сознания десятки лет тому назад. В отношении к действительности, т.-е. в реалистическом мышлении, многие переживания уже упразднены; нет никакого логического основания считаться с ними при действии или мышлении. Воспоминания же имеют свой эмоциональный тон, который часто усиливается именно вследствие своей противоположности».

Ассоциативною связью при слиянии представлений является эмоциональный тонус каждого из них. Мышление их носит кататимный характер. Эта особенность характеризует собой не только шизофренический процесс, но и шизоидную конструкцию. «Шизоиды,—пишет Кречмер,—это типичные люди комплекса, у которых суммированные небольшие повседневные раздражения, а также и большие группы представлений, аффективно окрашены, в судорожном напряжении, долго действуют под покровом и затем могут дать неожиданные аффективные реакции, если кто-нибудь коснется их. Так, шизоиды часто становятся капризными, неожиданно меняются в настроении при невинном замечании во время беседы, чувствуют себя обиженными, делаются холодными, уклончивыми, ироническими и язвительными. Благодаря этим механизмам комплексов, взаимоотношения

между причиной и следствием их аффективности более сложно и менее ясно, чем у циклоидов».

На известной высоте развития болезненного процесса, больной начинает видеть во всем скрытый смысл, заподозревать существование факторов, которых нет в действительности налицо. Постепенно границы между представлениями и восприятиями начинают колебаться. Там, где вытеснение и сублимация удаются не полностью, могут развиться галлюцинаторные явления, осуществляющие символически соответствующие комплексы. Ложно проэцированные представления заполняют сознание и приобретают характер чего-то реального и неопровержимого. На этом фоне возникает бред. В бреде преследования, развивающемся на фоне отрицательных чувствований, психогенный момент играет гораздо бо́льшую роль, чем это принято было думать раньше. Как всякий аутический акт, бред преследования очень мало считается с действительностью. Ничтожнейшие внешние обстоятельства превращаются в моменты, определяющие жизненные отношения и связи, и ведут к тем сложным бредовым образованиям, которые так характерны для параноидного процесса. Кататимные процессы лежат в основе также и бредовых образований дегенератов. При pseudologia phanthastica аффективный акцент звучит подчас так громко, что сами больные перестают отличать свои вымыслы от действительности.

При крайних степенях аутизма больной бывает апатичен, ступорозен, лежит неподвижно, завернувшись с головой в одеяло и крепко придерживая его, при попытках открыть лицо, и, наконец, становится нечистоплотен и начинает нуждаться в том, чтобы его кормили и одевали. В этом пункте мы видим расхождение между аутизмом у шизофреника и дикаря. Последний строит свои фантасмагории исключительно на фоне действительных жизненных соотношений, тогда как у слабоумного шизофреника реальность может быть совершенно вытеснена, отрыв от действительности может быть полным. Больной уходит от внешнего мира, от окружающей его действительности во внутренний фантастический мир грез и сновидений, и все внешнее как бы перестает для него существовать.

Таким образом, типичнейшие черты шизофрении—несоответствие эмоционального состояния интеллектуальному содержанию, бредовое толкование окружающего, аутизм и т. д. — могут быть расшифрованы только тогда, когда постигнуто отношение интимнейших чувств больного к самым основам его существования. И там, где это удается, вскрывается тесная связь между всеми проявлениями больного и его личностью, переживаниями и душевными чувствами, и становятся до некоторой степени понятными атипические реакции больного, в которых не столько проявляется расстройство данной функции, сколько особое состояние интеллекта.

В шизофреническом бреду возврат к первобытным формам мышления выступает особенно резко. Стираются все границы. Больной ведет разговоры с неодушевленными предметами, как с живыми, не делая между ними различия, находится под влиянием различных мистических сил, не считается с временем и пространством. Символика входит в общий комплекс самого заболевания, при этом символы, как и в примитивных комплексных умственных образованиях, часто представляют собою не перевод понятия в образ, как это имеет место в нашем мышлении, а только первую несовершенную форму в образовании понятий.

Согласно Фрейду, забытые влияния остаются жить в течение всей жизни, при чем их действие тем сильнее, чем больше они забыты. Повидимому, то же самое имеет место и в филогенетическом масштабе. Больной растеривает весь свой позднейший психологический инвентарь и возвращается к расплывчатому образному мышлению первобытного человека. Но тут должна быть отмечена одна разница. Примитивное мышление носит образный характер, вследствие недостаточного развития языка, шизофреническое—вопреки совершенному и высокому развитию языка.—Я не стану дальше углублять вопрос, полагая, что приведенных данных достаточно, чтобы убедиться в том, что связь между примитивным мышлением и психотическим бредовым состоянием глубокая и несомненная.

Из других нервно-психических заболеваний самым экскизитным примером влияния аффективности на течение мыслей может служить циклотимия. Депрессивная и гипоманиакальная фазы представляют собою уклон от правильной оценки существующих об'ективных условий в двух противоположных направлениях. Эйфория ведет к идеям величия, тоска создает бред самоуничижения. Настроение, прокладывая путь одним представлениям и тормозя появления других, влияет самым решительным образом на наше мышление.

При психоневрозах, имеющих характер защитной установки, при так называемом бегстве в болезнь наблюдаются те же самые механизмы, т.-е. аутическое мышление идет по линии ярко окрашенных аффективных стремлений, акцент ставится на внутренних психических ценностях,—на аффективно воспринятом. Превалирование психических процессов над реальностью определяет собой всю структуру психоневроза: поведение больного, его отношение к окружающему, аффективную жизнь. «Невроз характеризуется тем, что ставит психическую реальность выше фактической, реагирует на мысли столь же серьезно, как нормальные люди на действительность», —говорит Фрейд.

Представление о «всемогуществе мысли»—термин, введенный Фрейдом —есть наиболее характерное явление при «неврозе навязчивости», хотя оно бывает и при других неврозах. У таких больных существует убеждение, что их мысли и чувства всемогущи, что их желания, и главным образом злые, могут осуществляться в жизни. Тут эндопсихическое восприятие психических факторов и отношений ведет к созданию «сверхчувственной реальности». Фрейд проводит параллель между неврозом навязчивых идей и табу и характеризует этот невроз как карикатуру на религию, с ее строгими запретами и предписаниями. Защитные формулы навязчивости, по учению Фрейда, имеют свою параллель в формулах колдовства и магии.

Сложнейшие аутические переживания на фоне основной идеи, овладевшей больным, представляют собой истерическое состояние. Как в механизме навязчивых состояний Фрейд находит сходство с внутренним процессом образования религиозных верований, так в истерии он склонен видеть аналогию с примитивной творческой работой ума в области искусства. Интересно отметить, что Кречмер даже истерический гиперкинез рассматривает как одну из разновидностей биологической двигательной реакции защиты, так называемой «двигательной бури». Эта оборонительная реакция широко распространена на всех ступенях животного мира и только по мере развития интеллекта она заменяется другими формами защиты. С этой точки зрения истерический припадок представляет собой возврат к более ранним формам защитного реагирования у людей с примитивной инфантильной психикой, не могущих справиться с пред'являемыми жизнью требованиями.

Цель, которую преследует аутическое мышление при невропсихическом заболевании, та же, что и у человека первобытной культуры. В волшебстве и магии первобытный человек получает мнимое осуществление всех своих желаний и надежд, он имеет в изобилии все, чего не хватает ему в действительной жизни. Он торжествует над своими врагами, преодолевает все препятствия на охоте: совершенно так же, как ребенок в своих фантазиях или спящий в сновидениях, он до бесконечности расширяет пределы своей власти и видит осуществление своих неисполненных или даже неисполнимых желаний. То же самое имеет место и в болезненном состоянии. «Аутическое мышление,—пишет Блейлер,—тенденциозно. Оно отражает осуществление желаний, устраняет препятствия и превращает невозможное в возможное и реальное. Цель достигается благодаря тому, что для ассоциации, соответствующих стремлению, прокладывается путь, ассоциации же, противоречащие стремлению, тормозятся, т.-е. благодаря механизму, зависящему, как нам известно, от влияния аффектов. Для об'яснения аутического мышления нет необходимости в новом принципе. Таким образом цель аутизма сводится к тому, чтобы вытеснить из сознания все тягостное и неприятное и поставить на его место то, что имеет положительный аффективный тон, т.-е. приятное и желаемое. Путем сближения совершенно различных по существу явлений устраняются все препятствия к осуществлению желаний, все противоречия в окружающей среде. Отсюда ясно, что природа всякого аутического невроза ассоциальна, так как невротик, уходя из мира тягостных человеческих отношений в приятный ему мир фантазии с идеальными человеческими отношениями, в значительной степени утрачивает социальную активность, на известной же высоте развития процесса он может совершенно перестать быть членом человеческого сообщества.

Итак, есть люди, если можно так выразиться, с архаической конституцией, у которых при нервно-психическом заболевании воскресают прежние психические архаические механизмы, бездействующие при нормальном состоянии на дне их души. Развитие человеческой мысли шло от мистических, сбивчивых, туманных представлений к материалистическому пониманию мира, и психотическое состояние, нарушая психическое равновесие человека, снова возвращает его к более ранним, изжитым формам психической деятельности, к прелогическому, кататимному мышлению.

Возрождаются душевные примитивы не только при болезни, но нередко также и у нормальных людей, при определенных психофизических условиях. На первом месте стоит здесь сон. В сновидениях, как известно всякому из личного опыта, время и пространство как бы аннулируются. Процесс агглютинации и вытеснения образов по принципу эмотивности заставляет переживать нас во сне самые неожиданные, необычные и причудливые положения. Нам снится образ отца, и он сливается с нашим я, и мы чувствуем себя одновременно в положении и сына и отца. Оставаясь тем, что мы есть, мы в то же время переживаем яркие сцены детства, перемешанные с впечатлениями самых последних дней. Не переставая сознавать себя квалифицированными специалистами, мы испытываем экзаминационные волнения раннего юношеского периода жизни и т. д. Нередко во сне пышно развертываются вытесненные переживания; подчас сублимированные тенденции перемешиваются самым причудливым образом с первоначальными. У невротиков жизнь сновидений может даже взять перевес

над нормальной жизнью; во сне они начинают ясно понимать то, что на яву представляется им непонятным, загадочным. Сновидениями и воспоминаниями об них заполнено все их сознание.

Состоянием близким ко сну является гипноз. В гипнотическом трансе человек переживает все, что ему внушено. Он может жить в любую эпоху и находиться в любом возрасте, превращаться в животное и даже неодушевленный предмет, не утрачивая при этом сознания собственного Я.

Наконец, аффективное мышление находит для себя широкое поле деятельности там, где воображение, фантазия, полет в высь преобладает над трезвым расчетом, взвешиванием и обсуждением. Кататимным характером проникнуты поэтическое творчество, религиозное мировоззрение, политическая борьба. В вере в потустороннее существование с воздаянием каждому по его заслугам сквозит аутическое исполнение желаний.

Нередко даже наше обычное мышление принимает кататимный характер. Все, что нам невыгодно, мы бессознательно отклоняем, удаляем, обесцениваем. Даже «об'ективное» научное мышление далеко не всегда свободно от влияний аффективной сферы. История положительного знания дает этому немало убедительных доказательств. По остроумному замечанию Блейлера, одним из таких примеров является отношение ученого мира к воззрениям Фрейда.

Итак, логическое мышление постоянно уклоняется в сторону кататимных душевных образований, которые, развиваясь бок-о-бок с реалистическим мышлением, создают, с одной стороны, большие культурные ценности, а, с другой, питают суеверие и рождают психическую оторванность от мира.

Приведенные новые концепции в психиатрии свидетельствуют о том, как далеко ушла современная психопатология от прежних описательных методов. Она уже не довольствуется изображением внешнего поведения больного, а стремится проникнуть в самую глубину атипических двигательных и речевых реакций больного, с целью их расшифрования, и в результате этой работы там, где все реакции больного казались бессмысленными, вытекающими из умственной дефективности и эмоциональной тупости, стало ясно вырисовываться удивительное разнообразие и богатство психологического содержания.

Быть ли естествознанию механическим или стать диалектическим?

Н. Гредескул.

> Именно диалектика является для современного естествознания самой правильной формой мышления.
> Энгельс.
>
> Необходимо расширить естественно-исторический материализм до исторического материализма.
> Ленин, Материализм и эмпириокритизм, стр. 363.

I.

В центре марксистской философской мысли стал в настоящее время спор между механическим и диалектическим материализмом. Этот спор проистекает не столько из элементов или внутренней логики самого марксизма, сколько из его соприкосновения с естествознанием. Маркс и Энгельс были диалектики, их материализм, конечно, диалектический; они сами говорят, что они усвоили себе диалектику от Гегеля, только поставив ее «с головы на ноги», т.-е. сделав ее материалистической. Разработка обществознания велась Марксом и Энгельсом также диалектически, и их успехи здесь были, конечно, тесно связаны с их диалектическим методом.

Но марксизм не хочет быть изолированной системой одного общественного знания. Он претендует на гораздо более широкое теоретическое значение. Он хочет быть системой всего человеческого знания: не только знания общества, но и знания природы. Он хочет слить природу и общество в одну познавательную систему. Он хочет соединить естествознание с обществознанием в одну единую Науку. И это для него возможно и необходимо, потому что, по его мнению, существует только «одна единственная наука—наука истории», которая лишь разделяется на «историю природы» и «историю людей». Все — «исторично» и ничто не «вечно» не только в «обществе», но и в «природе». Это же и есть выражение «диалектического» взгляда на все сущее.

Таким образом, марксизм ищет не только соприкосновения, но и слияния с естествознанием. Это слияние, т.-е. проникновение естествознания диалектическим пониманием и диалектическим методом, имели в виду сами основатели марксизма. Для этой цели, очевидно, по их общему решению (так как они всю свою работу вели всегда с «взаимного ведома и согласия»),—Энгельс был как бы отряжен, от имени марксизма, на фронт естествознания. Он работал здесь много

лет, готовя своего рода «Капитал» для естествознания, в виде своей «Диалектики природы». Но, к сожалению, «Диалектика природы» осталась незаконченной, так как смерть Маркса заставила Энгельса последние годы своей жизни посвятить обработке литературного наследства своего покойного друга.

Но мало того, что «Диалектика природы» осталась незаконченной автором, Бернштейн, в руки которого попало литературное наследство Энгельса, не счел даже нужным напечатать те, частью вполне обработанные, а частью оставшиеся в отрывках, статьи и заметки, которые Энгельсом были написаны для его «Диалектики природы». И прошло 30 лет, понадобилась русская Октябрьская революция, понадобилось основание в Москве Института Маркса и Энгельса, с таким компетентным исследователем марксизма, как Д. Б. Рязанов, во главе, чтобы «Диалектика природы», хотя бы и в том полуготовом виде, в каком ее оставил Энгельс, увидела, наконец, свет и сделалась достоянием научной и философской мысли. Но теперь это крупное научное событие уже совершилось,—с 1925 года эта главная, по замыслу, работа Энгельса—в руках читателей.

Естественно, что опубликование «Диалектики природы» Энгельса сразу подняло интерес ко всем тем вопросам, которые в ней затронуты. И так как уже 10 лет существует страна, вся жизнь которой проникнута марксизмом,—в которой марксизм является фактором, выдвинутым пред очи всех, в том числе и людей науки,—в которой наука уже не может игнорировать марксизма,—то не удивительно, что вопросы, поднятые в «Диалектике природы», стали привлекать к себе у нас внимание и за пределами марксизма. А кого же, прежде всего, касаются эти вопросы? Конечно, исследователей природы, естествоиспытателей. И вот, мы видим, что у нас, в России, возник явный интерес к марксизму—со стороны представителей естествознания: началось у нас д е й с т в и т е л ь н о е соприкосновение между естествознанием и марксизмом.

Но естествознание само представляет собою старую научную систему, с прочно сложившимися традициями мысли, с огромными успехами исследования, с колоссальным, вполне заслуженным, авторитетом в глазах человечества. Естествознание—это та система, которая с своей стороны, претендует на монополию «истинной» науки. И что касается научной основы естествознания, то она, как и у марксизма, материалистическая. По выражению Ленина, естествознание—стихийно материалистично. Однако, в лице своих наиболее выдающихся представителей, в своих господствующих учениях, оно—не диалектично, а механично. Тут между естествознанием и марксизмом—несогласие, разрыв, который—в пределах науки и научного миросозерцания,—очевидно, должен быть исчерпан в ту или другую сторону.

И вот мы видим, что то соприкосновение естествознания с марксизмом, которое у нас теперь происходит как под влиянием общих условий нашей жизни, так и под влиянием опубликования «Диалектики природы» Энгельса, сейчас же выдвинуло вперед этот важный теоретический спор: спор между механическим и диалектическим материализмом.

Представители естествознания отстаивают в этом споре свою м е х а н и ч е с к у ю точку зрения, и давление их авторитета так велико, что оно отчасти отразилось даже в области марксизма. Некоторые из марксистов, на ряду с естественниками, тоже защищают механический взгляд на природу, как единственно «научный»...

Среди той, уже довольно обширной литературы, которую успел породить этот спор, нельзя, на наш взгляд, не отметить особо статьи одного из естествоиспытателей, казанского физиолога, проф. А. Ф. Самойлова, сперва устно доложенной им в среде казанских ученых, а затем в дискуссионном порядке напечатанной в журнале «Под Знаменем Марксизма». Статья есть плод непосредственного изучения «Диалектики природы» Энгельса. Не будучи марксистом, А. Ф. Самойлов счел, однако, нужным тщательно ознакомиться с трудом Энгельса и занять по отношению к нему определенную позицию. Он охотно и беспристрастно отдает все должное Энгельсу: признает его большую и основательную естественно-историческую эрудицию, его глубокий философский смысл, общую прозорливость и силу его ума. Но он не соглашается с его диалектикой. Тщательно проштудировав Энгельса, Самойлов остался убежденным механистом. В его лице, естествознание не хочет,—и убежденно не хочет,—сдать своих «механических» позиций диалектическому материализму.

Нам кажется, что очень многие естествоиспытатели охотно подписались бы под этой статьей. Она типична для мышления естествоиспытателей. Ей тоже надо отдать все должное. Она написана с живым интересом к делу. Тон ее спокойный, но уверенный и воодушевленный. В ней нет никакого задора по отношению к противному учению, наоборот, есть полное внутреннее к нему уважение, но, вместе с тем, она проникнута глубоким сознанием достоинства того учения, к которому автор примыкает и которое он считает «естественно-научным». Он искренно хочет п о н я т ь марксизм с его диалектикой, но он хочет, чтобы и его поняли, как исследователя природы, который, в качестве такового, не может, по его мнению, отказаться от механического взгляда на природу. Он выдвигает аргументы, которые являются коренными для всего этого спора, и не потому, что он в них упорствует, а потому, что он не может от них отказаться. Он делает даже попытку примирения между диалектическим и механическим материализмом, или, вернее сказать, он указывает те уступки, на которые он готов пойти, с своей точки зрения. Но общий итог его статьи тот, что естествознание должно остаться при прежних своих основах, а отсюда, конечно, вывод, если не прямо высказанный, то подразумеваемый, что марксизму, в его соприкосновении с естествознанием,—надо «потесниться» или, во всяком случае, «не напирать». Пусть марксизм, если он хочет, применяет «диалектику» к обществознанию, но в естествознании принципальное место должна занимать не «диалектика», а «механика». Этот вывод Самойлов отстаивает сдержанно, но твердо. В его позиции чувствуется задетое достоинство той научной системы, которая родилась не со вчерашнего дня и которая уже бесчисленное множество раз оказывалась правой в своих утверждениях. Тем более, что речь тут идет не об отдельных утверждениях естествознания, а о самой их основе... «Оставьте нас работать, как мы работали до сих пор. Ведь жаловаться на нашу работу не приходится. Не вмешивайтесь ни в наши воззрения, ни в наши методы,—nolite turbare circulos nostros,—вот внутренний смысл статьи Самойлова и ее эмоциональный пафос.

Убежденность Самойлова, явно, коллективная, а не индивидуальная,—она отражает в себе то, что именуют communis doctorum opinio. Самойлов знает, что так думает не он один, а все, или, во всяком случае, огромное большинство естествоиспытателей. Он чувствует за собою весь стан естествознания.

Поэтому нам и кажется, что в этом споре между механическим и диалектическим материализмом, который, в сущности, есть спор об основах единства науки, если оно должно быть, статья Самойлова заслуживает полного внимания. На ее аргументах как раз и надо скрещивать мысль, дабы из столкновения мнений здесь рождалась истина.

II.

Центральным аргументом Самойлова, можно сказать, сердцем всей его аргументации, является защита им «метода» естествознания. Он говорит: «Естествоиспытатели не образуют какой-нибудь касты, об'единения, члены которого связаны каким-нибудь определенным философским мировоззрением. Их связывает в сущности только метод исследования; кто уразумел особенности современного опытного метода естествознания и умеет им пользоваться в выбранной им специальности, того мы и назовем естествоиспытателем. Но фатальным является здесь то обстоятельство, что метод современного естествознания гонит натуралиста стихийно в сторону механического материализма. Научившись и привыкнув отправляться для об'яснения сложного к более простым отношениям, научившись сводить более сложные явления к более простым, он стихийно приходит к мысли о том, что все явления могут быть сведены к более простому феномену, к движению материальной точки в пространстве и во времени. Метод и мировоззрение натуралиста органически взаимно связаны, и естествоиспытатели, не сговариваясь на этот счет, в общей массе, в подавляющем большинстве исповедуют механический взгляд на все явления мертвой и живой природы» [1]).

Нынешнему методу в естествознании (Самойлов называет его «эмпирически-индуктивным методом») [2]) автор придает такое решающее во всех отношениях значение, что в заключении статьи говорит: «Естествоиспытатель прежде всего не упрям. Он пользуется своим теперешним методом только и единственно потому, что его метод есть метод единственный. Такого естествоиспытателя, который желал бы пользоваться худшим методом, а не лучшим, нет на свете. Докажите на деле, что диалектический метод ведет скорее к цели,— завтра же вы не найдете ни одного естествоиспытателя не диалектика» [3]).

Еще в одном месте Самойлов по тому же поводу говорит: «Те марксисты, которые воодушевлены верою в силу диалектического метода в познании природы, если они при этом специалисты-естественники в какой-нибудь определенной области естествознания, должны на деле доказать, что они, применяя диалектическое мышление, диалектический метод, в состоянии пойти дальше, скорее, с меньшей затратой труда, чем те, которые идут иным путем. Если они это докажут, то этим без всякой борьбы, без излишней бесплодной оскорбительной полемики диалектический метод завоюет себе место в естествознании» [4]).

Итак, вся суть в методе. Метод естествознания дает такие блестящие результаты, что надо его сохранить, или—или доказать, что метод диалектический «лучше» метода механического. Сделано ли что-нибудь в этом смысле «для проведения диалектического материализма в круг тех явлений, которые подлежат ведению естественных наук?». По мнению Самойлова, «сделано еще мало» [1]). Вероятно, он сказал бы, что не сделано совсем ничего, если бы не «Диалектика природы» Энгельса. В последней Самойлов, по всей справедливости, констатирует известные доказательства ценности диалектического метода, хотя Энгельс и не был сам «специалистом-естественником» ни в одной из областей естествознания.

[1]) «Под Знаменем Марксизма», 1926 г., № 4—5, стр. 62--63.
[2]) Там же, стр. 68.
[3]) Там же, стр. 81.
[4]) Там же, стр. 81.

В самом деле, в чем надо видеть самую высокую «ценность» какого-либо метода, применяемого в области науки? Конечно, в возможности, с помощью этого метода, предсказать ход явлений. Дал ли Энгельс образцы таких предсказаний в своей «Диалектике природы»? А. Ф. Самойлов беспристрастно констатирует, что дал, притом не в мелочах, а в очень важных областях явлений и при очень показательной для диалектического метода обстановке.

«Наиболее ценным и удивительным,—говорит Самойлов,—представляется предсказание Энгельса по отношению ко второму положению термодинамики. Известно, что это положение предопределяет постепенный переход всей энергии мира в тепло, которое без затраты энергии из себя не может переходить в другие формы, и потому, после того, как истрачено будет все наличное количество потенциальной энергии мира, наступит рассеяние теплоты и равенство температуры, что будет обозначать общую смерть. По этому поводу Энгельс говорит, что энергия, следовательно, теряется, если не количественно, то качественно, и дальше... у него имеется прекрасное, с удивительным мастерством изложенное рассуждение» [2]).

Самойлов резюмирует это рассуждение своими словами, но мы лучше приведем его подлинными словами Энгельса. «Учение о неразрушимости движения,—говорит Энгельс,—надо понимать не только в количественном, но и в качественном смысле. Материя,—чисто механическое перемещение которой, хотя и содержит в себе возможность превращения при благоприятных обстоятельствах в теплоту, электричество, химическое действие, жизнь, но которая не в состоянии породить из самой себя эти условия,—такая материя утратила движение,—движение, которое потеряло способность превращаться в свойственные ему различные формы, хотя и обладает еще dynamis, но не обладает уже энергией и, таким образом, отчасти уничтожено. Но и то и другое немыслимо. Одно, во всяком случае, несомненно: было время, когда материя нашего мирового острова превратила в теплоту такое количество движения—мы до сих пор еще не знаем, какого именно рода,—что из него могли развиться, по крайней мере, 20 миллионов солнечных систем, которые,—как мы в этом столь же твердо убеждены,—рано или поздно погибнут. Как происходило это превращение? Мы это знаем так же мало, как знает патер Секки то, превратится ли будущее caput mortuum нашей солнечной системы снова в сырой материал для новых солнечных систем. Но здесь мы вынуждены либо обратиться к помощи творца, либо сделать тот вывод, что раскаленный сырой материал для солнечной системы нашего мирового острова возник естественным путем, путем превращений движения, которые присущи от природы движущейся материи и условия которых должны, следовательно, быть снова произведены материей, хотя бы после миллионов миллионов лет, более или менее случайным образом, но с необходимостью, присущей и случаю» [3]).

[1]) Там же, стр. 64.
[2]) Там же, стр. 69.
[3]) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» кн. II, стр. 7.

Таким образом, сущность этого «предсказания» Энгельса и «обстановка», при которой он его сделал, заключались в том, что от имени диалектического материализма он выступил с отрицанием закона термодинамики, формулированного одним из крупнейших в физике специалистов Клаузиусом. И вот, что же оказалось? Оказалось, что прав был «диалектик» Энгельс, а не специалист-«механист» Клаузиус. «Мы знаем теперь,—пишет А. Ф. Самойлов,—что мысль Энгельса оправдалась. Больцман показал, что наши законы имеют статистический характер и что второй закон Клаузиса есть, в сущности, закон статистический, который не может отрицать осуществление тех условий, какие имели место на первых порах развития нашей солнечной системы. Благодаря работам Больцмана и Смолуховского есть основание принимать, что тот завод часов мира, который представлялся Энгельсу возможным и в будущем, в самом деле считается возможным на основании новых физических исследований. Мы имеем на указанном примере в самом деле хорошо проведенное в порядке диалектики предсказание, подтвержденное впоследствии физиками» [1]).

Итак, чего же еще надо? На основе «диалектического метода» дано «хорошо проведенное предсказание», «впоследствии подтвержденное физиками». По мелкому или крупному вопросу? По вопросу крупнейшему, одному из основных вопросов науки. Значит, что же? Следует людям науки обратить свое благосклонное внимание на диалектический метод, или не следует? «Хороший» это метод, или «плохой»? Оказался он в данном случае «лучше» или «хуже» механического метода? И не является ли здесь особенно показательным то, что разногласие возникло между «не-специалистом», вооруженным только диалектикой, и «специалистом», вооруженным всей своей «механической» наукой? Не ясно ли, что здесь все дело было именно в «методе», которым орудовали тот и другой?

По поводу этого «происшествия» со вторым законом термодинамики невольно вспоминается здесь в пользу Энгельса одно место из его «Диалектики природы», которое приводит в своей статье также и Самойлов, но только с укоризной по адресу Энгельса. Энгельс, в «Диалектике природы», многократно настаивает на необходимости не одной «эмпирической индукции», но и настоящей философии для естествознания, и, отстаивая эту мысль, между прочим, говорит: «Естествоиспытатели могли бы уже убедиться на примере естественно-научных успехов философии, что во всей этой философии имеется нечто такое, что превосходит их даже в их собственной области (Лейбниц—основатель математики бесконечного, по сравнению с которым индуктивный осел Ньютон является плагиатором и вредителем; Кант — космогоническая теория происхождения мира до Лапласа; Окен—первый выдвинувший в Германии теорию развития; Гегель, который синтезом и рациональной группировкой естествознания сделал большее дело, чем все материалистические болваны вместе взятые») [2]).

Самойлов с обидой ставит в упрек Энгельсу резкость его выражений по адресу Ньютона и других «индуктивистов». Да, выражения, конечно, резкие, что об'ясняется, прежде всего, тем, что рукопись Энгельса не предназначалась непосредственно к печати. Но все же самая эта резкость крайне характерна. Она есть несомненный ответ

[1]) «Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 4—5, стр. 69—70.
[2]) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» кн. II, стр. 7.

со стороны Энгельса на столь распространенное среди «индуктивистов» «презрение» к философии, и, в этом смысле, она вполне заслужена и справедлива.

Мы вспомнили здесь эту цитату потому, что в вопросе о втором законе термодинамики Энгельс тоже выступил, как философ, философ диалектического материализма, и его выступление оказалось ничем не хуже выступления Лейбница или Канта, а Клаузиус оказался в индуктивных... простофилях.

Однако А. Ф. Самойлова весь этот поразительный, им же самим добросовестно указанный случай «удивительного» научного предсказания, основанного исключительно на диалектическом подходе к явлениям, нисколько не убеждает в пользу диалектического материализма. Как же он отклоняет от себя его доказательную силу?

А вот как: «Представляется законным,—говорит он,—остановиться на том, что указанные физики отрицают фатальное значение второго закона механической теории тепла, отнюдь не основываясь на диалектическом ходе процессов в природе и нисколько не опираясь на рассуждение Энгельса. Если бы не было работ Больцмана и Смолуховского по указанному вопросу, а имелось в распоряжении нашем только утверждение Энгельса, то закон энтропии не мог бы быть достаточно поколеблен» [1]).

Нельзя не сказать здесь прямо, что этим замечанием Самойлов просто отделывается от доказательной силы приведенного им же самим факта. Ведь Энгельс «колебал» или, по-просту, отрицал закон энтропии задолго до Больцмана и Смолуховского. И это уж вина не его, а современных ему физиков, что это отрицание их не убеждало,—не убеждало почему?—потому, что они, как и Самойлов, не придавали диалектическому методу в исследовании природы никакого значения. И если вопрос так и оставался нерешенным до исследований Больцмана и Смолуховского (т.-е. нерешенным для физиков, а не для Энгельса, который в таких случаях приходил в раздражение против физиков и обзывал их невежливыми словами), так ведь это участь всех предсказаний. «Предсказание» есть вывод из известных предпосылок, и если оно правильно, то оно потом кем-либо подтверждается уже независимо от этих предпосылок, и тогда становится убедительным для всех. Так было подтверждено убеждение Колумба, что земля есть шар, а не плоскость; так был открыт Нептун по указанию Леверрье; так были найдены галлий и скандий по предсказанию Менделеева. Так подтвердилось и отрицание Энгельсом второго закона термодинамики Клаузиуса. Чего же еще надо сверх этого? Оправдание «предсказания»—это и есть тяжеловесный довод в пользу того метода, которым оно было сделано,—в данном случае, в пользу диалектического метода,—и ничем силы этого факта устранить нельзя.

А между тем, Самойлов не только хочет ослабить эту силу в применении к отрицанию Энгельсом закона энтропии, но и спешит обобщить свое возражение до степени общего отрицания какого бы то ни было значения диалектического метода в естествознании. Вслед за приведенной нами выше цитатой, он продолжает так:

«Мы только что сказали, что Больцман и Смолуховский не опирались и не пользовались в своих работах диалектическим методом. Я склонен распространить это утверждение на всю вообще естественно-испытательскую работу, и тогда можно было бы себя спросить, какую

[1]) «Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 4—5, стр. 70.

роль играл и играет диалектический метод в естествознании, если последнее делает без него все свои завоевания?» [1]).

Самойлов не дает ответа на этот вопрос, но он у него, конечно, подразумевается: ответ отрицательный.

III.

Что касается других «предсказаний» Энгельса в области естествознания, то Самойлов приводит еще только одно, но и его хочет эксплоатировать в пользу механического метода. Энгельс в «Диалектике природы» пишет:

«Если мы должны сводить все различия и изменения качества к количественным различиям и изменениям, к механическим перемещениям, то мы с необходимостью приходим к тому положению, что вся материя состоит из тождественных мельчайших частиц, и что все качественные различия химических элементов материи вызываются количественными различиями в числе и пространственной группировке этих мельчайших частиц при их об'единении в атомы. Но до этого нам еще далеко».

И вот, приведя это место из Энгельса, Самойлов по поводу него говорит: «Это место замечательно в том отношении, что Энгельс, желая отметить слабые стороны механического воззрения, указывает на результат, к которому можно притти, если придерживаться механического взгляда на строение вещества. Он приходит к результату, который ему в сущности кажется мало вероятным: «но до этого нам еще далеко». А между тем этот результат в главных пунктах сходится с новейшими представлениями о строении вещества, составленного из тождественных частиц. Если я верно понимаю это место Энгельса, то оно иллюстрирует сильный дар предвидения Энгельса, независимо от применения им диалектического метода» [2]).

Таким образом, выходит, что если Энгельс, с своим первым предсказанием, даже одержал триумф, то с этим вторым, несомненно, попал впросак: проследил логику механического взгляда на вещи, сделал вывод, об'явил этот вывод сомнительным, а между тем этот вывод как раз и оправдался новейшей наукой. Значит, просто у Энгельса «сильный дар предвидения», а на каком методе он его проявляет—диалектическом или механическом,—это не имеет значения: и на том, и на другом. Словом, нужная для Самойлова мораль из сопоставления этих двух «предсказаний» Энгельса та, что они одно другое уравновешивают, следовательно, теряют всякое доказательное значение в пользу диалектического метода, хотя и удваивают личный дифирамб в пользу Энгельса и его «дара предвидения».

Однако позволительно спросить: откуда взял Самойлов, что этот второй случай «предсказания» Энгельса говорит в пользу «механического» материализма? Он говорит, что «новейшие представления о строении вещества» утверждают, что оно состоит из «тождественных частиц»,—но так ли это? Что полная разнокачественность прежних 60—70 элементов теперь наукой устранена, это несомненно. Но что поставлено на ее место? Представление об атоме, составленном из центрального «положительного» ядра и вращающихся вокруг него «отрицательных» электронов. Разве это то «тождество» частиц материи, о котором, предположительно и отрицательно, говорит Энгельс?

[1]) Там же, стр. 70.
[1]) Там же, стр. 71.

Не оказалось ли, по новейшим исследованиям, что сам атом несет внутри себя не однородность, а разнородность, и притом разнородность качественную, а не количественную? Значит, сложность состава, разнородность «мельчайших частиц» перенесена в настоящее время из представления о молекуле в представление о самом атоме. Где же тут то окончательное «механическое» упрощение материи, которое хочет видеть Самойлов? А ведь, кроме весомой материи, с ее особенным строением, мы говорим, или, по крайней мере, спорим, еще и о существовании эфира. Значит, утверждение Энгельса, что до сведения материи к «мельчайшим тождественным частицам» нам «еще очень далеко»,—так далеко, что самое это сведение кажется «маловероятным»,—остается и ныне, при «новейших представлениях о строении материи», совершенно справедливым.

Таким образом, и это «предсказание» Энгельса вовсе не попало впросак, как хочет представить Самойлов, а, наоборот, остается правильным и поныне, красноречиво подтверждая, что его «сильный дар предвидения» был связан именно с диалектическим методом.

Других «предсказаний» Энгельса Самойлов не приводит, а между тем они есть. Одно из них мы отметим здесь также потому, что на него ссылается сам Энгельс, как на свою заслугу. В письме Энгельса к Марксу от 23 ноября 1882 г. мы читаем: «Электричество приготовило мне маленький триумф. Ты помнишь, быть может, мои взгляды на спор между Декартом и Лейбницем относительно mv и mv^2, как мерах движения. Этот спор сводится к тому, что mv есть мера механического движения при переносе механического движения, как такового, напротив $\frac{mv^2}{2}$ является его мерой, согласно которой оно превращается в теплоту, электричество и т. д. Так вот, в электричестве, пока господствовали экспериментальные физики, мерой электродвижущей силы, которая рассматривалась, как представительница электрической энергии, считался вольт (E), произведение силы тока (ампер, C) на сопротивление (ом, R):

$$E = C \times R$$

И это верно, поскольку электрическая энергия при переносе не превращается в другую форму движения. Ну, а теперь Сименс, в своей президентской речи, на последнем с'езде Британской ассоциации предлагал новую единицу, уатт (скажем, W), которая должна выразить действительную энергию электрического тока (следовательно, по отношению к другим формам движения, в просторечьи—энергии) и значение которой есть вольт × ампер, $W = E \times C$.

Но $W = E \times C = C \times R \times C = C^2 R$.

Сопротивление представляет в электричестве то же, что в механическом движении масса. Таким образом, оказывается, что в электрическом, как и в механическом движении количественно измеримая форма проявления этого движения,—здесь скорость, там сила тока,—действует при простом переносе без изменения формы, как простой фактор в первой степени; напротив, при переносе с изменением формы,—как фактор в квадрате. Это, следовательно, всеобщий естественный закон движения, который я впервые формулировал» [1]).

[1]) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» кн. II, стр. XXIV—XXV. В самой «Диалектике природы» этой проблеме mv и mv^2 посвящена целая статья под заглавием «Две меры движения», см. там же стр. 255—275. Свои выводы здесь Энгельс прямо связывает с «диалектическим мышлением», стр. 255.

Ясно, что и этот третий случай предсказания Энгельса теснейшим образом связан с диалектическим методом. Эти две разных меры энергии, одна простая, другая в квадрате, формально противоречивы, но диалектический метод не только не боится таких противоречий, а, наоборот, предполагает их в развитии явлений.

Есть и еще одно «предсказание» Энгельса, которого не касается Самойлов и которое целиком основано на диалектическом об'яснении явлений, но оно такого свойства, что его нельзя трактовать эпизодически, ему надо посвятить специальное внимание, что мы и надеемся сделать в особом труде. Это «предсказание» или, лучше сказать, целая теория Энгельса о возникновении человека из его животного предка процессом труда.

IV.

Мы видим, что «предсказания» Энгельса в области естествознания, сделанные им в свое время наперекор естествоиспытателям, но в согласии с философией диалектического материализма, не убеждают Самойлова в пользу диалектического метода. Он думает, что диалектический метод не играл, не играет и не будет играть никакой роли в естествознании, ибо оно и без него делало и будет делать все свои завоевания. Но видно, что этот вывод все-таки как-то не закруглялся в уме Самойлова, и ему захотелось подтвердить его ссылкой на самого Энгельса. Однако эта ссылка вышла уж совсем неудачной.

Самойлов ставит вопрос: а думал ли сам Энгельс о том, какую роль играл и играет диалектический метод в области естествознания? и если думал, то что же он говорил по этому поводу?

«Конечно, Энгельс думал об этом,—говорит Самойлов,—и высказался особенно определенно по поводу открытия периодических рядов Менделеева и предсказания последним новых элементов».—«По Энгельсу,—продолжает он,—естествоиспытатели, создавшие современное естествознание, бессознательно работали по методу диалектического мышления и только, таким образом, могли добиться результатов». В частности, «Менделеев, применяя бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг и т. д.» [1]).

Да, совершенно верно. Энгельс именно это и говорит: что естествоиспытатели применяют диалектический метод в естествознании, но применяют бессознательно. И, даже оттеняя, со свойственным ему юмором, свою мысль, он и здесь не удержался от не совсем деликатных выражений по адресу естествоиспытателей. «Если эти господа,—говорит он,—в течение многих лет позволяли количеству переходить в качество, не зная того, что они делали, то им придется искать утешения, вместе с мольеровским господином Журденом, который тоже всю свою жизнь говорил прозой, не догадываясь об этом» [2]).

Итак, вот ответ Энгельса на поставленный Самойловым вопрос: естествоиспытатели бессознательно—и это особенно ясно видно в их наиболее гениальных открытиях—применяли, применяют и будут применять диалектический метод. Ну, и что же Самойлов соглашается с этим, или против этого возражает?

Увы! он не соглашается и не возражает против этого коренного указания Энгельса, а он опять от него «отделывается»,—отделывается

[1]) «Под Знам. Маркс.». 1926 г., № 4—5, стр. 70.
[2]) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» кн. II, стр. 229.

едва ли еще не более софистическим образом, чем это мы видели раньше. Вот что он пишет по поводу утверждения Энгельса о бессознательном диалектическом мышлении естествоиспытателей:

«По этому поводу можно было бы однако возразить, что в научных исследованиях имеют большое значение те методические категории, которые применяются сознательно; о тех, которые применяются бессознательно, можно и не хлопотать. Но, кроме того, Энгельс, повидимому, противоречит сам себе в этом отношении, ибо в 4-й главе под названием «Старое предисловие к Анти-Дюрингу» он призывает естествоиспытателей не пренебрегать изучением теории познания, ибо методы эмпиризма оказываются бессильными в деле систематизирования каждой области исследования: здесь может оказать помощь только теоретическое мышление. «Но теоретическое мышление является прирожденным свойством,—говорит он,—только в виде способности. Она должна быть развита, усовершенствована, а для подобной разработки не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения истории философии». В связи с этим дальше говорится: «Что же касается диалектики, то до сих пор она была исследована более или менее точным образом двумя мыслителями: Аристотелем и Гегелем. Но именно диалектика является для современного естествознания самой правильной формой мышления, ибо она одна представляет аналог и значит метод об'яснения происходящих в природе процессов развития, для всеобщих связей природы, для переходов от одной области исследования к другой». Такой призыв естествоиспытателей к изучению самой правильной формы мышления, к изучению диалектики, находится в противоречии (курсив мой.—Н. Г.) с высказанным утверждением о том, что естествоиспытатель бессознательно применяет диалектический метод» [1]).

Неужели это не софистика,—или, если не софистика, то, воистину, не «непродуманность» того, что сказано в этом отрывке?

В самом деле, что очень большое значение в исследовании имеют те «методические категории», которые применяются «сознательно», это, конечно, бесспорно. Но что о тех методических категориях, которые применяются в исследовании «бессознательно»,—и «хлопотать» не стоит, это уж чистейший софизм или полнейшая непродуманность. Почему не стоит хлопотать? Неужели потому, что они будут применяться «сами собой»? Повидимому, именно эту самую мысль Самойлов и «подкладывает» Энгельсу, но это-то и есть форменный софизм. Энгельс вовсе не настолько наивен, чтобы думать, что то, что делается «бессознательно», будет всегда делаться самым образцовым образом. Энгельс хорошо понимает, что совершенно наоборот: то, что делается бессознательно, может делаться и невпопад, и вкривь, и вкось. Ведь «бессознательное» может хорошо действовать только как инстинкт, а инстинкт хорошо действует только при стереотипных, не изменяющихся обстоятельствах. Ничего подобного в условиях научного исследования нет. Значит, положиться здесь целиком на «бессознательное» абсолютно невозможно. Надо это «бессознательное» всеми усилиями переводить в «сознательное», тем более, что «сознательное», которым руководится естествоиспытатель («механические» категории), по крайней мере, по мнению Энгельса, недостаточно и неправильно. Отсюда и призывы Энгельса, обращенные к естествоиспытателям: усвоить себе «сознательно» диалектический метод, заменить сознательно механический материализм диалектическим.

[1]) «Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 4—5, стр. 70—71.

Ясно, что и этот третий случай предсказания Энгельса теснейшим образом связан с диалектическим методом. Эти две разных меры энергии, одна простая, другая в квадрате, формально противоречивы, но диалектический метод не только не боится таких противоречий, а, наоборот, предполагает их в развитии явлений.

Есть и еще одно «предсказание» Энгельса, которого не касается Самойлов и которое целиком основано на диалектическом об'яснении явлений, но оно такого свойства, что его нельзя трактовать эпизодически, ему надо посвятить специальное внимание, что мы и надеемся сделать в особом труде. Это «предсказание» или, лучше сказать, целая теория Энгельса о возникновении человека из его животного предка процессом труда.

IV.

Мы видим, что «предсказания» Энгельса в области естествознания, сделанные им в свое время наперекор естествоиспытателям, но в согласии с философией диалектического материализма, не убеждают Самойлова в пользу диалектического метода. Он думает, что диалектический метод не играл, не играет и не будет играть никакой роли в естествознании, ибо оно и без него делало и будет делать все свои завоевания. Но видно, что этот вывод все-таки как-то не закруглялся в уме Самойлова, и ему захотелось подтвердить его ссылкой на самого Энгельса. Однако эта ссылка вышла уж совсем неудачной.

Самойлов ставит вопрос: а думал ли сам Энгельс о том, какую роль играл и играет диалектический метод в области естествознания? и если думал, то что же он говорил по этому поводу?

«Конечно, Энгельс думал об этом,—говорит Самойлов,—и высказался особенно определенно по поводу открытия периодических рядов Менделеева и предсказания последним новых элементов».—«По Энгельсу,—продолжает он,—естествоиспытатели, создавшие современное естествознание, бессознательно работали по методу диалектического мышления и только, таким образом, могли добиться результатов». В частности, «Менделеев, применяя бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг и т. д.» [1]).

Да, совершенно верно. Энгельс именно это и говорит: что естествоиспытатели применяют диалектический метод в естествознании, но применяют бессознательно. И, даже оттеняя, со свойственным ему юмором, свою мысль, он и здесь не удержался от не совсем деликатных выражений по адресу естествоиспытателей. «Если эти господа,—говорит он,—в течение многих лет позволяли количеству переходить в качество, не зная того, что они делали, то им придется искать утешения, вместе с мольеровским господином Журденом, который тоже всю свою жизнь говорил прозой, не догадываясь об этом» [2]).

Итак, вот ответ Энгельса на поставленный Самойловым вопрос: естествоиспытатели бессознательно—и это особенно ясно видно в их наиболее гениальных открытиях—применяли, применяют и будут применять диалектический метод. Ну, и что же Самойлов соглашается с этим, или против этого возражает?

Увы! он не соглашается и не возражает против этого коренного указания Энгельса, а он опять от него «отделывается»,—отделывается

[1]) «Под Знам. Маркс.». 1926 г., № 4—5, стр. 70.
[2]) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» кн. II, стр. 229.

едва ли еще не более софистическим образом, чем это мы видели раньше. Вот что он пишет по поводу утверждения Энгельса о бессознательном диалектическом мышлении естествоиспытателей:

«По этому поводу можно было бы однако возразить, что в научных исследованиях имеют большое значение те методические категории, которые применяются сознательно; о тех, которые применяются бессознательно, можно и не хлопотать. Но, кроме того, Энгельс, повидимому, противоречит сам себе в этом отношении, ибо в 4-й главе под названием «Старое предисловие к Анти-Дюрингу» он призывает естествоиспытателей не пренебрегать изучением теории познания, ибо методы эмпиризма оказываются бессильными в деле систематизирования каждой области исследования: здесь может оказать помощь только теоретическое мышление. «Но теоретическое мышление является прирожденным свойством,—говорит он,—только в виде способности. Она должна быть развита, усовершенствована, а для подобной разработки не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения истории философии». В связи с этим дальше говорится: «Что же касается диалектики, то до сих пор она была исследована более или менее точным образом двумя мыслителями: Аристотелем и Гегелем. Но именно диалектика является для современного естествознания самой правильной формой мышления, ибо она одна представляет аналог и значит метод об'яснения происходящих в природе процессов развития, для всеобщих связей природы, для переходов от одной области исследования к другой». Такой призыв естествоиспытателей к изучению самой правильной формы мышления, к изучению диалектики, находится в противоречии (курсив мой.—Н. Г.) с высказанным утверждением о том, что естествоиспытатель бессознательно применяет диалектический метод» [1]).

Неужели это не софистика,—или, если не софистика, то, воистину, не «непродуманность» того, что сказано в этом отрывке?

В самом деле, что очень большое значение в исследовании имеют те «методические категории», которые применяются «сознательно», это, конечно, бесспорно. Но что о тех методических категориях, которые применяются в исследовании «бессознательно»,—и «хлопотать» не стоит, это уж чистейший софизм или полнейшая непродуманность. Почему не стоит хлопотать? Неужели потому, что они будут применяться «сами собой»? Повидимому, именно эту самую мысль Самойлов и «подкладывает» Энгельсу, но это-то и есть форменный софизм. Энгельс вовсе не настолько наивен, чтобы думать, что то, что делается «бессознательно», будет всегда делаться самым образцовым образом. Энгельс хорошо понимает, что совершенно наоборот: то, что делается бессознательно, может делаться и невпопад, и вкривь, и вкось. Ведь «бессознательное» может хорошо действовать только как инстинкт, а инстинкт хорошо действует только при стереотипных, не изменяющихся обстоятельствах. Ничего подобного в условиях научного исследования нет. Значит, положиться здесь целиком на «бессознательное» абсолютно невозможно. Надо это «бессознательное» всеми усилиями переводить в «сознательное», тем более, что «сознательное», которым руководится естествоиспытатель («механические» категории), по крайней мере, по мнению Энгельса, недостаточно и неправильно. Отсюда и призывы Энгельса, обращенные к естествоиспытателям: усвоить себе «сознательно» диалектический метод, заменить сознательно механический материализм диалектическим.

[1]) «Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 4—5, стр. 70—71.

Где же тут противоречие со стороны Энгельса?—Его нет и в помине; что может быть правильнее совета: мы придерживаетесь какого-либо образа действий «бессознательно»,—так о с о з н а й т е же это, переведите ваши «методические категории» в сферу сознания, тем более, что у вас в «сознании» имеются другие методические категории, которые не годятся, которые надо устранить. А между тем этот совет, который Энгельс многократно повторяет естествоиспытателям, Самойлов ставит ему в упрек, как «противоречие». Совершенно резонно.

Словом, А. Ф. Самойлов правильно указывает в этом вопросе позицию Энгельса, но отделывается от нее слишком дешево. С мыслью Энгельса, что естествоиспытатели работают в своей области по методу диалектического мышления, но работают бессознательно, и потому должны о с о з н а т ь то, что они делают,—надо считаться самым серьезным образом, а не отделываться от нее указанием на какое-то мнимое внутреннее в ней противоречие. Естествоиспытатели п о с у щ е с т в у должны сказать, правда ли то, что говорит здесь Энгельс, или неправда? Если правда, то и им не остается ничего другого, как сказать вместе с Энгельсом: ну, значит «бессознательное» надо переводить в «сознательное». А если неправда, то на этой почве надо и самый спор вести. Самойлов же, по этому поводу, не говорит ни да, ни нет, а вместо этого хочет убедить нас, что Энгельс в этом вопросе опроверг сам себя.

V.

Наш упрек А. Ф. Самойлову, что он софистически отделывается от силы диалектического метода, как орудия «предсказания» явлений, конечно, есть упрек только о б ' е к т и в н ы й, а не с у б ' е к т и в н ы й. Суб'ективно он не может иначе думать, потому что он слишком проникнут убеждением в правильности и неотклонимости механического миросозерцания. И он в дальнейшем вполне откровенно раскрывает пред нами это свое суб'ективное состояние. Для оценки того, почему естествоиспытателей так привлекает механический материализм, и почему им кажется неприемлемым материализм диалектический, полезно будет нам остановиться на этой суб'ективной убежденности А. Ф. Самойлова. Здесь нам придется сделать довольно большую выдержку из его статьи, но коренная важность предмета вполне заслуживает подробного обсуждения.

«Кажется, что есть какое-то внутреннее противоречие в том,—говорит Самойлов,—что учение, допускающее происхождение органического мира из неорганического, требует для об'яснения процессов в органическом мире специфических для него форм движений. Попробую об'яснить свою мысль на примере.

Кровь животного имеет определенную реакцию, зависящую, как мы теперь понимаем, от концентрации водородных ионов. Эта величина концентрации удерживается в крови с величайшим упорством на одной и той же высоте. В кровь можно вливать довольно большие количества кислоты или щелочи без того, чтобы реакция крови изменялась ощутительным образом. Однако не нужно думать, что в основе этого явления лежат какие-нибудь специфические для живой крови факторы. Весь механизм, заложенный в плазму крови, касающийся удержания реакции ее на одной высоте, хорошо обследован и раз'яснен американским физиологом Гендерсеном. Мы имеем здесь дело с так называемой буферной реакцией, основанной в данном случае

прежде всего на том, что в крови содержится углекислота и соль этой кислоты—двууглекислый натрий. Мы без труда можем теперь, зная существенные черты буферных реакций, составить жидкость, содержащую углекислоту и углекислый натрий, и эта жидкость будет тоже упорно удерживать определенную реакцию, как и кровь. Оказывается, что морская вода также удерживает определенную степень концентрации водородных ионов именно потому, что она, как и кровь, содержит также углекислоту и углекислые соли. Мы знаем, что вообще солевой раствор крови по процентному отношению входящих в него солей напоминает состав морской воды, и существует взгляд, что в процессе развития жизни зародившиеся первоначально в морской воде животные организмы захватили в свое тело морскую воду, т.-е. часть внешней среды, которая затем, превратившись в кровь, стала внутренней средой животного. Мы могли бы, следовательно, сказать, что животные не только строились из химических элементов, которые находились на поверхности нашей планеты, но и из веществ, которые находились на поверхности земли. Животный организм не только захватил в былые геологические эпохи в свое тело морскую воду, но он использовал и ее свойства, как буферной системы, имея, таким образом, возможность удерживать реакцию своего тела на одной и той же высоте. Необходимость удерживать концентрацию водородных ионов на определенном неизменном уровне привела, однако, в животном организме к появлению новых механизмов. Так называемый дыхательный центр представляет собою систему, по своей чувствительности к водородным ионам не имеющую себе равной. Ни один из наших реактивов на водородные ионы не обладает такой чуткостью, как нервные клетки дыхательного центра. Было бы наивностью думать, что чувствительность этих клеток к водородным ионам основана на каком-нибудь факторе, помимо физико-химических особенностей этих клеток. Как только реакция крови, хотя и регулируемая ее буферами, изменяется на ничтожную величину, напр., в смысле ее увеличения, дыхательный центр, раздраженный этим плюсом, сейчас же посылает автоматическим путем по нервным волокнам раздражение к дыхательным мышцам, которые, усиливая дыхательные движения, увеличивают вентиляцию легких, вследствие чего избыток угольной кислоты усиленно удаляется из крови, и первоначальная концентрация водородных ионов в ней восстанавливается; а это в свою очередь ведет к освобождению дыхательного центра от раздражения избытком углекислоты. Мы видим здесь, что к способу удерживания реакций водородных ионов на одной и той же высоте, к способу, захваченному вместе с морской водой в тело животного, присоединился еще другой более тонкий способ, который вместе с первоначальным образует одну стройную автоматическую систему. Неужели мы должны принимать, что в этой автоматической комбинированной системе участвуют несоизмеримые, так сказать, друг с другом категории явлений. Мне легче представить себе, что вся эта комбинированная автоматическая система с начала до конца представляет механическую систему, в которой одни звенья уже теперь поддаются механическому об'яснению, а другие еще не поддаются» [1]).

Вот типичное рассуждение, под которым охотно подписалось бы огромное большинство естествоиспытателей. И как оно характерно! Начинается оно с указания на п р о т и в о р е ч и е: «кажется, что есть какое-то внутреннее противоречие в том, что учение, допу-

[1]) «Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 4—5, стр. 74—76.

скающее происхождение органического мира из неорганического, требует для об'яснения процессов в органическом мире специфических для него форм движений»... «Кажется, что есть внутреннее противоречие»... Да, кажется... Но «кажется» ли это только или тут, в самом деле, есть «противоречие»? Увы! Это не только «кажется», но так это и есть на самом деле. Для нашего ума есть несомненное противоречие в том, что органический мир, происшедший из неорганического, требует для об'яснения своих процессов «специфических» форм движений. Но только где лежит это «противоречие»: в «об'яснении» ли процессов органического мира нашим умом, или в самом «происхождении» этих процессов из неорганического мира? Очевидно, Самойлов не допускает этого противоречия здесь, в самих явлениях, в ходе самой природы, а потому он хочет изгнать его и из «об'яснения» процессов природы. Ну, а если это противоречие заложено в самой природе—что тогда?—Тогда, ведь, его некуда девать. Тогда его надо констатировать, как факт. Тогда, очевидно, надо подчинить ему и логику нашей человеческой мысли. Эта логика должна стать не логикой «тождества», а логикой «изменения» и, следовательно, «противоречия». Тогда в основу наших об'яснений природы мы должны класть не положение: **а** всегда остается равным **а**, а положение: **а** постоянно изменяется и становится не-**а**. Как говорил старик Гераклит: нельзя выкупаться дважды в водах одного и того же Скамандра, ибо он становится другим в каждое следующее мгновение.

Итак, вот главный вопрос: не тот, есть ли противоречие в каких-нибудь «об'яснениях» явлений природы, а тот, есть ли оно в самих явлениях природы? Что скажет на это А. Ф. Самойлов?

Отрицать того, что «все течет, все изменяется», он, как естествоиспытатель, конечно, не будет. Но он, вместе с огромным большинством естествоиспытателей, отрицает то, чтобы «изменение» могло переходить в «противоречие», или, говоря проще, чтобы то, что было, могло превращаться в принципиально или специфически «иное»,—такое, чего раньше «не было»... И вот это положение он и хочет подтвердить своим «примером».

Обратимся к этому примеру. Кровь, т.-е. составная часть живого организма, упорно удерживает одну и ту же концентрацию водородных ионов. Каков механизм этого явления? Самойлов говорит, что этот механизм вовсе не основан на специфически-жизненных факторах, этот механизм есть механизм буферных реакций; он присутствует и в морской воде; и даже можно думать, что сама кровь есть видоизмененная морская вода. Однако тут же Самойлов прибавляет, что определенная реакция крови поддерживается не одними только химическими агентами, присутствующими в крови, но и некоторым чисто «физиологическим» механизмом, имеющимся в организме, а именно дыхательным центром; и оказывается, что во всей неорганической природе нет такого чуткого к водородным ионам механизма, как этот дыхательный центр. Ясно, что от этого дыхательного центра, собственно, и зависит такое поддержание определенной реакции крови, какое требуется для живого организма, а не для морской воды. И ясно также, что тот же факт наличия физиологических механизмов пришлось бы констатировать и для всех остальных многочисленных функций живого организма, т.-е. констатировать, что жизнь, как особое явление, отсутствующее в неорганическом мире, поддерживается в организме не одними химическими агентами, но и специфическими физиологическими механизмами. Как же смотреть на этот факт? Что нам говорит по этому поводу Самойлов?

Опять-таки ясно, что физиолог не может отрицать коренного значения для поддержания жизненного процесса физиологических устройств. Конечно, он целиком признает этот факт. Но он считает, что эти устройства принципиально и до конца сводятся к таким же механизмам, какой имеется в морской воде. И он говорит: «Неужели мы должны принимать, что в этой автоматической комбинированной системе участвуют несоизмеримые, так сказать, друг с другом категории явлений? Мне легче представить себе, что вся эта комбинированная автоматическая система с начала до конца представляет механическую систему, в которой одни звенья уже теперь поддаются механическому об'яснению, а другие еще не поддаются».

Итак, вот состояние ума. Нельзя себе представить, чтобы в мире появились новые, несоизмеримые с прежними (неорганическими) категории явлений! а не может превратиться в не-а; оно должно вечно оставаться равным самому себе, т.-е. неизменным. Весь мир, от начала и до конца, должен представлять собою поэтому «механическую систему», в которой уже теперь одни звенья об'яснены механически, а другие—еще не об'яснены.

Это и есть состояние ума Самойлова, как и огромного большинства естествоиспытателей.

VI.

Но правильно ли оно? Соответствует ли оно ходу природы? Не есть ли это инерция, косность ума, еще не поднявшегося на ассоциацией по смежности или привыкшего работать только на «коротких» расстояниях? Не прав ли тут Бергсон, со своим учением о том, что нынешний человеческий интеллект сформировался в работе с твердыми предметами, с деланием из них разного рода «орудий» и «механизмов», и что поэтому его логика именно и есть логика соединения твердых тел, т.-е. логика «механическая»? Не прав ли также Энгельс, говоря о «до-химическом» состоянии человеческих исследований, а следовательно, и человеческого ума?

Но, ведь, и сама «механика» оказалась вовсе не такой простой, как это долго думали на земле. Оказалось, что законы механики для сравнительно медленных, доступных нашим чувствам движений—одни, а для гораздо более быстрых, недоступных нашему наблюдению движений—совсем другие; оказалось, что есть две «механики» и что они одна с другой «несоизмеримы»! Кто бы мог этого ожидать? И разве это не «внутреннее противоречие» с точки зрения мешкотного, не поспевающего за явлениями ума? И разве ум не должен преодолеть здесь свою инерцию, чтобы стать в уровень с действительным ходом явлений?

Ведь, в этом же вся суть спора между диалектическим и механическим материализмом. Изменяются ли явления, или принципиально, по существу, остаются всегда и навсегда неизменными? Диалектический материализм утверждает первое, механический—стоит на втором. Правда, и механический материализм признает изменения явлений, но прибавляет, что они не принципиальные и не по существу; принципиально, по существу все остается «механическим» и сводится только к перемещению в пространстве однородных материальных точек. Таким образом, как предмет, так и трудность этого спора сводится к этим словам: «принципиально», «по существу». Что же это значит: «принципиально», или «по существу»?

Диалектический материализм констатирует возникновение новых «качеств» в развитии явлений, с их особой закономерностью. Он говорит, что из механических явлений развиваются физические, из физических — химические, из химических — явления жизни, из явлений жизни — явления сознания или психические. Это несомненно соответствует фактам, наблюдаемым нами в природе, и механический материализм, конечно, не может отрицать очевидности в этой смене или в этом наслоении «качеств» при поступательной эволюции природы. Но он говорит, что вся эта смена—не принципиальная и не по существу; по существу, нет ничего другого, кроме разных форм «перераспределения материи и движения». Когда «механисту» указывают на всю специфичность явлений жизни, на то, что «живая машина», в противоположность живой, не только сама себя поддерживает в исправном состоянии, но и сама себя воспроизводит в потомстве, и что все это достигается с помощью особых «физиологических» устройств,—он говорит: все это будет сведено к «механизму» и только к «механизму»; ничего другого, более специфического, тут нет.

Но ведь так мы доходим, наконец, до последнего, высшего разряда явлений, выдвигаемых развитием природы, до ее, как выражается Энгельс, «высшего цвета» [1]): до явлений сознания. Отрицать их «специфичность» нет никакой возможности. Как бы ни было сложно то «мозговое» движение, которое лежит в основе «мысли», но что «мысль» есть какое-то особое, новое качество в этом движении, этого отрицать невозможно. Что же тут говорят нам механические материалисты?

У Самойлова есть по этому поводу одно чрезвычайно характерное место. Он пишет: «В своей «Диалектике природы» Энгельс говорит следующее: «Мы несомненно «сведем» когда-нибудь экспериментальным образом мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу». К этой части утверждения, имеющей характер чисто-механического мировоззрения, Энгельс делает, однако, следующую существенную прибавку: «но исчерпывается ли этим сущность мышления?»—спрашивает он. Конечно, в этом вопросе заключается отрицание, т.-е. он хочет сказать, что если бы мы свели мышление на механические процессы, то этим не исчерпывалась бы все же сущность мышления. Если бы мы здесь вместо слова «сущность» поставили «содержание», то мы получили бы большое приближение к тому механическому пониманию, о котором я говорил раньше [2]).

Самойлов приводит здесь то место из «Диалектики природы» Энгельса, которое, действительно, надо признать едва ли не самым важным для понимания диалектического материализма в отличие его от механического материализма. Но он приводит его, во-первых, не полностью, а, во-вторых, то, что приводит, разбивает на две части, что и дает ему возможность сказать, будто бы первая часть утверждения Энгельса имеет характер «чисто-механического мировоззрения». Прежде всего здесь надо устранить эту совершенно неподходящую для Энгельса характеристику, а для этого надо взять цитату из него полностью. Энгельс пишет:

«У естествоиспытателей движение всегда понимается, как механическое движение, перемещение. Это перешло по наследству из дохимического XVIII столетия и сильно затрудняет ясное понимание

[1]) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» кн. II, стр. 177.
[2]) «Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 4—5, стр. 78—79.

вещей. Движение, в применении к материи, это—изменение вообще. Из этого же недоразумения вытекает яростное стремление свести все к механическому движению,—уже Грове «сильно склонен думать, что прочие свойства материи являются и в конце концов будут сведены к видам движения»,—чем смазывается специфический характер прочих форм движения. Этим не отрицается вовсе, что каждая из высших форм движения связана всегда необходимым образом с реальным механическим (внешним или молекулярным) движением, подобно тому, как высшие формы движения производят одновременно и другие виды движения, химическое действие невозможно без изменения температуры и электричества, органическая жизнь невозможна без механических, молекулярных, химических, термических, электрических и т. д. изменений. Но наличие этих побочных форм не исчерпывает существа главной формы в каждом случае. Мы несомненно «сведем» когда-нибудь экспериментальным образом мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу; но исчерпывается ли этим сущность мышления?» [1]).

Из этой цитаты, взятой полностью, видно, что диалектический материализм отнюдь не отрицает механических перемещений материи при ее «прочих», «высших» формах движения; но видеть в этом «присоединение» к механическому мировоззрению, конечно, нет никакого резона. Ибо механический материализм утверждает вовсе не это, а то, что в мире, в сущности, нет ничего, кроме механического движения, и что различными формами механического движения до конца исчерпывается сущность всех других явлений, происходящих в природе. Но именно против этого диалектический материализм решительно восстает,—в лице Энгельса он говорит: наличие в составе «прочих» явлений механического движения не исчерпывает «существа» этих явлений, ибо это только наличие «побочной» формы движения рядом с «главной». В явлениях физических, химических, жизненных, психических—главная форма движения не механическая, а физическая, химическая, жизненная, психическая. Ведь сам же Самойлов говорит в другом месте, что «отрицание возможности механического об'яснения они (диалектики) пытаются утвердить и по отношению к физическим и химическим дисциплинам» [2]), также как он сам приводит в своей статье характерные слова Энгельса: «Открытие, что теплота представляет собою молекулярное движение, составило эпоху в науке. Но если я не имею ничего другого сказать о теплоте, кроме того, что она представляет собою известное перемещение молекул, то лучше мне замолчать» [3]). Значит, видеть в словах: «Мы несомненно «сведем» когда-нибудь экспериментальным образом мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу»—характер чисто-механического мировоззрения, нет никакого основания. Тем более, что слово «сведем» взято у Энгельса, если на это обратил внимание Самойлов, в кавычки. Этими кавычками он уже в этой фразе дает предусматривать то, что им прямо сказано в фразе последующей, а именно то, что о «сведении» мышления к одному механическому движению, как это думают механисты, не может быть и речи, так как «сущность» мышления этим отнюдь не будет исчерпана.

Таким образом, утверждение Самойлова, что Энгельс где-то, хотя и частично, хотя бы и сам того не сознавая, оказался «механи-

[1]) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» кн. II, стр. 27—29.
[2]) «Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 4—5, стр. 74.
[3]) Там же, стр. 68.

стом» (в конце статьи Самойлов прямо утверждает, что «у Энгельса встречаются противоречия и неясности») [1]), должно быть решительно отклонено. В понимании существа диалектического материализма и его отличия от материализма механического у Энгельса никаких «противоречий» и «неясностей» нет.

VII.

Но обратимся после этого невольного отступления к существу замечания Самойлова по поводу основной мысли Энгельса о том, что «сущность» мышления не исчерпывается механическим движением. Самойлов, как мы уже видели, говорит: «Если бы мы здесь вместо слова «сущность» поставили «содержание», то мы получили бы большое приближение к тому механическому пониманию, о котором я говорил раньше». К этому Самойлов добавляет: «Вспомним также в связи с этим слова Энгельса, что если мы знаем о теплоте только то, что она есть род движения, то мы знаем о теплоте еще слишком мало. Если бы мы это место понимали таким образом, что утверждение о механическом характере теплоты не исчерпывает содержание физических явлений, охватываемых термином «теплота», то этим мы также смягчили бы непримиримую позицию двух взглядов» (т.-е. диалектического и механического материализма [2]).

Вот образец рассуждения, искусного и осторожного, как хождение по канату! Если бы в фразу Энгельса вместо слова «сущность» поставить слово «содержание», то это было бы «большим приближением» к механическому пониманию, это «смягчило» бы непримиримую позицию двух взглядов... Приближение, смягчение... Но сам-то Самойлов согласен на такую замену терминов, или нет? Конечно, выражения его слишком осторожны, чтобы мы могли говорить прямо об его согласии, но, повидимому, можно считать, что он на это согласен, ибо иначе не стоило бы обо всем этом и говорить.

Итак, будем считать, что Самойлов согласен с тем, что «содержание» мышления и даже «физическое содержание» явления теплоты «не исчерпывается» тем механическим движением, какое при этом имеет место. Значит, «что-то» в физических, химических, жизненных, психических явлениях—все-таки «не исчерпывается» механическим движением? Но если так, то не есть ли это передвижка механиста Самойлова в сторону диалектика Энгельса, а не наоборот? Правда, механист Самойлов, как за якорь спасения, хватается за слово «содержание», он ни за что не хочет сказать «сущность» явления. Но если он только признает, что физические, химические и т. д. явления, кроме лежащего под ними механического движения, имеют еще и свое особое «содержание», которое «не сводится» к механическому движению и «не исчерпывается» им, то значит в этом «содержании» заключается их отличие от механического движения. А когда одно явление отличается чем-нибудь от другого, в остальных отношениях с ним сходного, то разве мы этого отличия не называем его «сущностью»? Ведь, по отношению к «мышлению» это совершенно очевидно; разве то, что оно имеет определенное «содержание» не составляет самой его сущности? Разве мышление без «содержания» возможно? И разве можно какое бы то ни было молекулярное движение в мозгу назвать «мышлением», если оно не сопровождается никаким

[1]) Там же, стр. 81.
[2]) Там же, стр. 79.

«содержанием»,—если оно есть только молекулярное движение, и больше ничего?

Наконец, хорошо: устраним это спорное слово «сущность», оставим одно бесспорное слово «отличие». Если мы только признаем, что в явлениях «отличия», т.-е. их особые, специфические «качества», которые делают их этими явлениями, а не иными, имеются,—что у физических явлений есть свои такие качества, у химических—свои и т. д., то разве мы этим не принимаем целиком точку зрения диалектического материализма? Ведь в этом же она как раз и состоит: что при известном «количестве» прежнего, уже бывшего явления, получается новое «качество», т.-е. новое явление,—совершенно так, как это об'ясняет Энгельс в своей «Диалектике природы». Вспомним тут еще раз его характерные слова: «Называя физику механикой молекул, химию—физикой атомов и, далее, биологию—химией белков, я желаю выразить этим переход одной из этих наук в другую и, значит, связь, непрерывность, а также различие, разрыв между обеими областями. Итти же дальше этого, называть химию своего рода механикой, по-моему, нерационально» [1]).

«Высшие» явления происходят из «низших»—это несомненно. Но в том-то и дело, что этим дается не только «связь», «непрерывность» явлений, но, в то же время, и их «различие», «разрыв» между ними. Это, конечно, противоречие, механический материализм его боится, хочет его устранить, или, лучше сказать, закрывает на него глаза (потому, что устранить его невозможно), а диалектический материализм принимает его, как факт природы, и подчиняет ему логику своего мышления. И когда Самойлов соглашается признать в явлениях особое «содержание», т.-е. «отличие» их от других явлений, то он, несомненно, изменяет этим логике механического мировоззрения и протягивает руку логике диалектического материализма. А известно, что значат такого рода действия: коготок увяз, всей птичке пропасть. Механическому материализму нельзя признавать особого «содержания» в различных явлениях, т.-е. констатировать их «отличия» одних от других. А что же с ними делать, когда они бьют в глаза, когда их невозможно отрицать, как нельзя, например, отрицать особого «содержания» в мышлении?

Настоящий механист все-таки не должен делать здесь уступок «содержанию» явления. Он должен отрицать это содержание в качестве явления. Он должен говорить, что «мысль» с ее «содержанием» вовсе не есть явление; она есть только придаток к явлению, какой-то эпифеномен, а не настоящее явление. И тут, в этом отрицании специфичности явлений, развертываемых перед нами природой, дело, конечно, уже доходит до абсурда: чтобы не допустить «специфичности» явлений, отрицается самое «явление», как таковое.

Так не лучше ли, не правильнее ли, не более ли соответствует ходу природы считать, как это считает диалектический материализм, что в недрах самой природы из более ранних, «низших» серий явлений возникают более поздние, «высшие» серии явлений, которые обнаруживают новые качества, а вместе с ними и новые закономерности? Что мы приобретаем от того, что мы всю эту смену качеств об'явим «мнимостью», заявим, что под нею лежит истинная, настоящая «сущность», и что эта сущность есть всегда

[1]) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» кн. II, стр. 143.

и везде—механическое движение, т.-е. простое перемещение частиц материи?

Мы не только ничего от этого не приобретаем, но, как это всегда бывает при уклонении от истины, мы, наоборот, очень многое теряем. И прежде всего мы теряем п.р.а.в.и.л.ь.н.ы.й п.у.т.ь к истине; мы страшно, непоправимо повреждаем наш м.е.т.о.д исследования.

VIII.

Самойлов совершенно правильно говорит, что для естествознания важнее всего его м.е.т.о.д, ибо от него-то прежде всего и зависят результаты исследования. Но в чем состоит метод естествознания? По Самойлову: в об'яснении «сложного более простым», в «сведении» более сложных явлений к более простым... Но правильное ли это описание естественно-научного метода?

Нет, оно неправильное; неправильное потому, что о.д.н.о.с.т.о.р.о.н.н.е.е и н.е.д.о.с.т.а.т.о.ч.н.о.е. «Свести» более сложное к более простому—это только одна, п.е.р.в.а.я часть исследования и об'яснения явления, это его а.н.а.л.и.з. Он, конечно, совершенно необходим, но вместе с тем и совершенно недостаточен. Чтобы об'яснить явление до конца, надо показать, как оно, будучи сложным, возникает или происходит из своих, более простых элементов, т.-е. от а.н.а.л.и.з.а явления надо перейти к его с.и.н.т.е.з.у. И эта синтетическая работа не менее важна, чем работа аналитическая. Без этой синтетической работы никакое явление нельзя считать «об'ясненным». Скажем, какое-нибудь сложное органическое вещество мы разложили на его элементы. Это очень важно, в особенности, например, перед лицом воззрений, приписывающих происхождение органической жизни божественной воле. Но это все же не дает еще полного «естественного» об'яснения происхождения этого вещества; чтобы иметь таковое, надо суметь получить его с.и.н.т.е.т.и.ч.е.с.к.и. И, к сожалению, во многих случаях, мы анализ органических веществ имеем, а синтеза их не имеем; и приходится считать, что дело науки здесь далеко не закончено, что оно стоит перед наиболее трудными своими шагами. Правильно поэтому брошенное вскользь замечание Энгельса: «Химия, в которой а.н.а.л.и.з является преобладающей формой исследования, ничего не стоит без его противоположности—синтеза» [1]).

Или возьмем другой пример. Открытие Шлейденом и Шванном того факта, что всякое растение и животное состоит из отдельных клеток, было блистательным успехом научного исследования в смысле а.н.а.л.и.з.а живого организма. Но этим разложением сложного на более простое, конечно, исследование отнюдь не было закончено. Наоборот, после этого пред нами со всей настоятельностью стал вопрос: а как же произошли многоклеточные организмы из одноклеточных? Как известно, вопрос этот и доныне, спустя почти столетие после открытия растительной и животной клетки, все еще остается спорным и здесь все еще борются две противоположных теории: одна теория к.о.л.о.н.и.а.л.ь.н.о.с.т.и или с.о.е.д.и.н.е.н.и.я клеток в многоклеточный организм, а другая—теория н.о.в.о.о.б.р.а.з.о.в.а.н.и.я или р.а.с.п.а.д.е.н.и.я клетки изнутри на несколько новых клеток [2]).

[1]) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» кн. II, стр. 59.

[2]) См. об этом в моей книге «Происхождение и развитие общественной жизни», т. I: «Биологические основы социологии», стр. 58, 65.

Таким образом, с точки зрения метода научной работы, анализ без синтеза есть только половина дела, и даже, пожалуй, меньшая, а не большая половина. Во всяком случае, естественно-научный метод об'яснения явлений требует обеих составных частей: и анализа, и синтеза. А между тем, с точки зрения механического мировоззрения, не только анализ выдвигается на первый план и получает преобладающее значение, но и задачи синтеза совершенно искажаются. Механист считает, что всякое сложное явление надо «свести» к его наиболее простым элементам. Несомненно, так,—никто против этого не спорит. Надо «свести» все явления к тем простейшим составным элементам материи, какие только нам удалось установить аналитическим путем. Но затем?—затем ведь надо обратно: с.л.о.ж.и.т.ь сложное явление из простых его элементов. Как же это сделать, или, лучше сказать, как это делается в самой природе? Вот тут, несомненно, механический материализм исходит из упрощенной и ложной мысли, а именно, что сложное явление складывается из простых элементов, как их перераспределение, как их особая комбинация, и больше ничего. И он поэтому думает, что для об'яснения этого перераспределения и возникающих из него «комбинаций» ничего другого не требуется, кроме знания законов механического движения.

Отсюда, ведь, и эта знаменитая мысль, выдвинутая «механическим» естествознанием: мысль о «мировой формуле». Дайте нам исходное состояние простейших элементов материи, в смысле их пространственного расположения и механического движения, мы обработаем его математически и получим «формулу»—«мировую» формулу,—формулу, которая будет содержать в себе и предрекать всю судьбу мира!

Вот метод, или, лучше сказать, вот методологический идеал механического мировоззрения: довести анализ до самого конца, аналитически установить сетку и переплет простейших элементов материи, и тогда сделать синтез, в сущности, ненужным, заменить его абстрактным математическим вычислением из первоначального механического состояния простейших элементов.

Но вся эта мысль о «мировой формуле» и абстрактном вычислении из нее всех фаз мира и его бесконечной судьбы—в корне неверна. Она неверна с двух сторон.

Прежде всего она неверна со стороны своей исходной точки: «простейшего» элемента. Что такое этот простейший элемент? Это—материальная точка, говорили нам материалисты XVIII века. Это—материальная точка, повторяет за ними и Самойлов, вместе с большинством современных естествоиспытателей (помните его фразу: «естествоиспытатель стихийно приходит к мысли, что все явления могут быть сведены к более простому феномену, к движению материальной точки в пространстве и во времени»).

Но ведь сведение материи к «материальным точкам», которые, как на это правильно указал Энгельс (мы видели, Самойлов усматривает в этом особую научную «прозорливость» Энгельса), должны в таком случае мыслиться, как совершенно однородные, но только различно-расположенные и разно двигающиеся в пространстве,—это «наивность», простительная Демокриту или философу XVIII века, но отнюдь не современному естествоиспытателю. Мы уже указывали на то, что «современный» атом—это вовсе не есть «материальная точка», а целая «солнечная система», разнородная внутри, потому что она состоит из «положительного» ядра и вращающихся вокруг него в разном числе и с различной скоростью «отрицательных» электро-

нов. Таким образом, с точки зрения современных представлений о строении материи, понятие «материальной точки» надо относить к электрону, ибо это есть «мельчайший» установленный ныне «элемент» материи. Но представлять себе взаправду даже нынешний электрон, как какую-то ограниченную и конечную материальную точку,—это наивно, наивно, наивно... Справедливо говорит Ленин, частью сам от себя, частью словами физика Дюгема: «Развитие физики вызывает постоянную борьбу между природой, которая не устает давать материал, и разумом, который не устает познавать,—природа бесконечна, как бесконечна мельчайшая частица ее (и электрон в том числе), но разум так же бесконечно превращает «вещи в себе» в «вещи для нас». Борьба между реальностью и законами физики будет длиться бесконечно: всякому закону, который сформулирует физика, реальность противопоставит, рано или поздно, грубое опровержение,—опровержение посредством факта; но физика будет неутомимо ретушировать, видоизменять, усложнять опровергнутый закон» [1]).

В другом месте Ленин говорит: «Если вчера углубление человеческого познания об'ектов не шло дальше атома, сегодня—дальше электрона и эфира, то диалектический материализм настаивает на временном, относительном, приблизительном характере всех этих вех познания природы, прогрессирующей наукой человека. Электрон так же не исчерпаем, как и атом, природа бесконечна...» [2]).

Итак, электрон, нынешняя «мельчайшая» материальная частица,—это «бесконечность», такая же, как и сама природа... Этой «бесконечности»—не исчерпать так легко, как думает механический материализм, вероятно, не исчерпать никогда, по крайней мере, до самого дна. «Электрон,—говорит Ленин еще в одном месте,—относится к атому, как точка в этой книге к об'ему здания в 30 сажен длины, 15 ширины и 7½ высоты (Лодж), он двигается с быстротой до 270.000 километров в секунду, его масса меняется с его быстротой, он делает 500 триллионов оборотов в секунду,—все это много мудренее старой механики» [3]).

Словом, у самого истока нашего познания природы, в глубочайших недрах самой «материи», нет той твердой отправной точки, какую предполагает для себя механический материализм: нет однородной и ограниченной материальной точки, это с ясностью показано современной физикой. Поэтому даже здесь механический материализм не годится, он должен быть заменен тоже материализмом (отнюдь не идеализмом, куда нередко тянут современную физику и многие философы, и некоторые физики), но материализмом диалектическим. Ленин говорит: «Современная физика... идет к единственно-верному методу и единственно-верной философии естествознания не прямо, а зигзагами, не сознательно, а стихийно, не видя ясно своей «конечной цели», а приближаясь к ней ощупью, шатаясь, иногда даже задом. Современная физика лежит в родах. Она рождает диалектический материализм» [4]).

В другом месте Ленин говорит: «Разрушимость атома, неисчерпаемость его, изменчивость всех форм материи и ее движения всегда были опорой диалектического материализма. Все грани в природе условны, относительны, подвижны, выражают приближение нашего

[1]) Ленин Материализм и эмпириокритицизм, 1920 г., стр. 319.
[2]) Там же, стр. 266. См. также стр. 264 и 286.
[3]) Там же, стр. 286.
[4]) Там же, стр. 319.

ума к познанию материи» [1]),—а механический материализм думает, что он уже причалил к чему-то безусловному, ограниченному,—круглому, как шар, и твердому, как камень—к этой своей материальной «точке», и думает, что отсюда можно вывести все познание, построив раз навсегда неизменную «мировую» формулу». «Плоская» уверенность, «наивная» надежда, мудрость «вчерашнего дня»!

Нет, даже здесь, у этой пресловутой «материальной точки», механический материализм вводит нас в заблуждение, и только диалектический материализм выводит из него. А что сказать о нашем движении вверх от этой «точки», о том «синтетическом» пути, который неизбежно должна проделать наука, чтобы об'яснить более «сложные» явления? Механический материализм, несомненно, смазывает и искажает все лежащие на этом пути задачи, он не дооценивает их важности и настоятельности, также как не видит их специфических особенностей и трудностей.

IX.

Мы иллюстрируем и эту сторону дела материалом, даваемым нам Самойловым. С этой целью мы остановимся на одном частном примере, приводимом Самойловым и взятом им из столь модной теперь области учения о «рефлексах». Самойлов пишет: «Механические движения животного, движения его конечностей, головы, туловища, движение его внутренних органов представляют собой для всякого, кто вникает в совершенство этих движений, в приспособленность движений к определенной цели, тонкость и точность выполнения определенной цели, нечто изумительное. Как охватить, как расчленить, как систематизировать все богатство и разнообразие этой стороны функций животного организма? Со времени Декарта физиология выделила в виде простейшего механизма ответной реакции на раздражение так назыв. рефлекс. Изучая простейшую форму рефлекторного движения, физиологи выяснили целый ряд особенностей этого простейшего феномена двигательной реакции животного. Сеченов показал, что на почве рефлекса осуществляется так назыв. суммация возбуждения. Он же указал, что и в области рефлекса имеются угнетение или торможение. Шеринтон в Англии указал на систему общего конечного пути в области рефлекса. Он широко развил учение об угнетении антагонистов, сопровождающем сокращение антагонистов при всяком движении. Он же указал и развил учение о взаимной связи различных рефлексов друг от друга. В последнее время Магнус в своих обширных исследованиях указал на значение рефлекса в удержании положения тела животного. Павлов сделал рефлекс исходным пунктом для уяснения той обширной, сложной группы явлений, которая подчинена так наз. условному рефлексу. Таким образом, примитивный, простой ответ мышечного сокращения в результате чувственного раздражения является основным фактором, охватывающим в сущности все проявления так называемых анимальных процессов животного тела. Но, конечно, мы здесь далеки от «сведения» анимальных процессов на механические законы. Что нужно для этого? Нужно только об'яснить физико-химически самый рефлекторный акт. Современная физиология, между прочим, занимается и этим. Мы знаем, что процессы возбуждения связаны с действием определенных механических ионов. Труды Нернста, Леба, Лазарева говорят определенным образом в пользу такой точки зрения. Нужно

[1]) Там же, стр. 286.

думать, что действие металлических ионов обрушивается на коллоидальную структуру нервных элементов, как мы это знаем из воздействия металлических ионов на коллоиды. Конечно, эти и другие попытки свести процессы возбуждения в периферической и центральной нервной системе к физико-химическим процессам еще далеки от своего окончательного разрешения, но мы не видим принципиальных возражений против плодотворности работ в этом направлении. Представим себе, что когда-нибудь нам удалось бы выразить рефлекторный акт в физико-химических терминах и свести его в конечном счете на механику. Конечно, мы могли бы сказать, что мы свели бы этим самым и всю ту сторону анимальной жизни, в основе которой лежит рефлекс, на механические законы: но мы, само собой разумеется, отнюдь не должны были бы при этом для каждого из всей массы рефлексов подводить специально этот механический фундамент. Все учение о рефлексах, как оно развито физиологическими исследованиями, все содержание этого отдела физиологии сохранило бы свое значение, вместе с тем, мы имели бы право сказать, что все рефлексы основаны на физико-химических процессах. Не только не изменилось бы ничего в нашей оценке всего добытого в учении о рефлексах, но даже и дальнейший ход исследований в этой области сохранил бы свой прежний характер, после того, как мы получили бы вполне обоснованное убеждение в чистой механичности рефлекса. Оперирование таким определенным феноменом, который мы обозначаем термином «рефлекс», дает нам известную экономию, дает упрощение в исследовательской работе» [1]).

Раз'ясняя свою мысль, выраженную в этом отрывке, Самойлов делает к ней еще следующее, в высшей степени, характерное, добавление. Он говорит: «В тригонометрии нет каких-нибудь особенных элементов, которые обладали бы особенными качествами по сравнению с тем, что мы имеем в геометрии. Мы можем «свести» тригонометрию к геометрии, мы знаем, что основные элементы тригонометрии представляют собой лишь определенные отношения сторон прямоугольного треугольника. Но, тем не менее, оперирование при помощи этих элементов дает нам бо́льший простор и упрощает работу, и дает возможность находить новые математические соотношения. Введение тригонометрических функций, конечно, само по себе еще не предопределяет и не исчерпывает того богатого содержания, какое может быть добыто при помощи них. С другой стороны, пользование тригонометрическими функциями в вычислениях не обязывает нас всегда в каждом случае неизменно апеллировать к их первоисточнику. Таким же образом и наше гипотетическое сведение рефлекса к законам механики не вскрыло бы всего содержания учения о рефлексах, и в дальнейших наших работах в области рефлексов мы не должны были бы всегда и неизменно апеллировать к первоисточнику их природы» [2]).

Весь этот отрывок, исходящий от механиста Самойлова, дает прекрасный материал для выяснения методологических разногласий между механическим и диалектическим материализмом, на этот раз в области синтеза. При обсуждении его не лишне иметь в виду, что он написан Самойловым (как и приведенный нами выше отрывок о «сущности» и «содержании» мышления) с целью «примирения» или, во всяком случае, сближения механического материализма с диалектическим. Правда, формально Самойлов от этого отрекается,—он

[1]) «Под знаменем Марксизма» 1926 г., № 4—5, стр. 77—78.
[2]) Там же, стр. 78.

говорит: «Я далек от мысли указывать на возможность какой-нибудь средней, примиряющей точки зрения» [1]),—но по существу он, несомненно, отыскивает здесь точки сближения между механическим и диалектическим материализмом. И вот, что же оказывается,—оказывается на основании его же собственных слов?

Мы остановимся сперва на том, что Самойлов предлагает нам только как аналогию: на соотношении между геометрией и тригонометрией. Тригонометрия «вырастает» из геометрии, ее можно «свести» к геометрии. И, тем не менее, она не «часть» геометрии, а новая математическая дисциплина, становящаяся рядом с геометрией. Почему же это так? Сам Самойлов добросовестно указывает достаточные к тому основания. Это потому, что «элементы тригонометрии» или «тригонометрические функции», хотя они и «представляют собой лишь определенные отношения сторон прямоугольного треугольника», тем не менее «дают нам возможность находить новые математические соотношения»; потому что «введение тригонометрических функций, само по себе, еще не предопределяет и не исчерпывает того богатого содержания, какое может быть добыто при помощи их; наконец, потому, что «пользование тригонометрическими функциями не обязывает нас всегда в каждом случае неизменно апеллировать к их первоисточнику».

Но если все это так, то—что же?—этот факт вырастания особой науки тригонометрии, с ее «новым» содержанием из прежде существовавшей геометрии,—согласуется ли он с «диалектическим» или с «механическим» взглядом на вещи?

Кажется, что ответ на этот вопрос не может представить никаких затруднений [2]).

Но ведь то же самое надо сказать и о «сведении» рефлексов к физико-химическим процессам. «Представьте себе,—говорит Самойлов,—что когда-нибудь нам удалось бы выразить рефлекторный акт в физико-химических терминах и свести его в конечном счете на механику». Ну, хорошо, представим,—какой же из этого вывод?»—«Конечно,—продолжает Самойлов,—мы могли бы сказать, что мы свели бы этим самым и всю ту сторону анимальной жизни, в основе которой лежит рефлекс, на механические законы»,—т.-е., казалось бы, что тогда будет совсем упразднена физиология и на ее место будет поставлена «механика», с ее «механическими законами»?—Но, оказывается, ничего подобного; даже и при этом предполагаемом сведении рефлексов к механике, все-таки «все учение о рефлексах, как оно развито физиологическими исследованиями, все содержание этого отдела физиологии сохранили бы свое значение»... И мало этого: «не только не изменилось бы ничего в нашей оценке всего добытого в учении о рефлексах, но даже и дальнейший ход исследований в этой области сохранил бы свой прежний характер»... Вот так притча! Как же так? Почему этот желанный, но еще недосягаемый успех ничего не изменил бы даже в дальнейшем ходе исследований?

Сперва на этот вопрос Самойлов отвечает таким образом: «Оперирование таким определенным феноменом, который мы обозначаем термином «рефлекс», дает нам известную экономию, дает упрощение в исследовательской работе». Значит, только «экономия», только

[1]) Там же, стр. 77.
[2]) В одном из отрывков «Диалектики природы» Энгельс приводит тригонометрию и ее отношение к геометрии, именно как пример «диалектического способа» рассмотрения вещей—см. «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. II, стр. 215.

«упрощение» исследовательской работы... нет, не только «экономия», не только «упрощение». Привлеченная самим же Самойловым аналогия с отношением тригонометрии к геометрии заставляет его видоизменить свой ответ и на вопрос о физиологии. После этой аналогии он, как мы видели, говорит уже так: «Наше гипотетическое сведение рефлекса к законам механики не вскрыло бы всего содержания учения о рефлексах»... Да, вот именно: «не вскрыло бы всего содержания учения о рефлексах»... Иначе говоря, на «механической» почве нельзя было бы построить полной и подлинной физиологии. Все-таки надо было бы строить «физиологию» вместо «механики»—в области рефлексов.—Это говорит специалист-физиолог, и уже не о чуждой ему тригонометрии, а о своей собственной физиологии. Ну, так что же, то, что он говорит,—согласуется ли это с механическим или с диалектическим материализмом?

Кажется, что и здесь сомневаться в ответе не приходится. Физиолог сам констатирует перед нами, что его учение о рефлексах, и методологически, и по содержанию, не исчерпывается механикой. Очевидно это потому, что и сами физиологические явления не исчерпываются механикой, а представляют сверх того еще и что-то «специфическое». И, настаивая на том, на чем здесь настаивает Самойлов, т.-е на необходимости и неизбежности особого «физиологического» исследования, он бессознательно настаивает не на чем ином, как именно на диалектическом методе... Тысячу раз прав Энгельс, сказав, что естествоиспытатели—«бессознательные» диалектики. Да иначе это и быть не может, ибо «диалектика» заложена в самом предмете их исследования. Но только то, что «бессознательно», надо непременно перевести в «сознание», иначе естествоиспытателей, в их собственной области, подстерегают самые серьезные опасности. Мы позволим себе подтвердить это фактами из области тех же самых «рефлексов», но только специально «условных», «павловских» рефлексов.

X.

Никто из марксистов, никто из диалектиков-материалистов не станет возражать против того, что учение Павлова об условных рефлексах есть гениальное учение, что оно внесло яркий свет во все понимание нами высшей нервной деятельности. Это, прежде всего, потому, что оно поставило это учение на материальную основу,—оно показало, что механизм всей высшей нервной деятельности—тут, в материи: во внешних материальных воздействиях на организм, в передаче этих воздействий к мозгу, а от мозга—к мышцам или секреторным органам. Ничего вне-материального или сверх-материального, никакого дуализма, а самый последовательный материалистический монизм во всей высшей нервной деятельности как животных, так и человека,—вот огромный смысл павловского учения об условных рефлексах. Но все же не надо забывать, что методологический шаг, сделанный Павловым по отношению к высшей нервной деятельности, есть, прежде всего, шаг анализа. Он гениально выделил в бесконечно сложном и запутанном сплетении явлений их простейший элемент. «Условный» рефлекс Павлова—это единица счета в целой сложной математике. Без выделения и уяснения себе природы этой «единицы» всей высшей нервной деятельности невозможен никакой ее «счет», невозможна никакая действительная наука о ней, невозможно не только ее «дифференциальное» и «интегральное» исчисление, но даже и простая ее «арифметика».

Однако, как ни важно установление единицы «счета», но нужен ведь еще и самый «счет»,—нужно действительное, всамделишное создание и «арифметики» высшей нервной деятельности, и ее «дифференциального» и «интегрального» счисления. А это ведь методологически и обозначает не что иное, как необходимость перехода от анализа к синтезу. Сознает ли павловская школа эту необходимость,—и, что еще важнее, сознает ли она методологические условия этого синтеза? Увы, на этот вопрос, особенно в его последней части, приходится ответить отрицательно.

Конечно, Павлов и его школа понимают, что сказать, что в основе высшей нервной деятельности лежат условные рефлексы, это вовсе еще не значит создать полное учение о высшей нервной деятельности. Ясно, что нужно еще экспериментально проследить за участью условных рефлексов, прежде всего физиологически, а затем и биологически. Павлов, конечно, двинулся в эту сторону, он показал нам, что внешнее воздействие, попадая в кору головного мозга, претерпевает там очень сложную судьбу: иногда это процесс возбуждения, иногда процесс торможения; тот и другой процессы известным образом распространяются, иррадиируют в мозговой массе. Тут, очевидно, происходят также взаимодействия между вступающими в мозг возбуждениями и теми, которые уже имели место раньше. Значит, всякое раньше бывшее возбуждение не исчезает совершенно бесследно, а оставляет после себя актуальный «след». И если принять во внимание, как много условных возбуждений поступает в мозг высшего животного, а в особенности человека, то можно себе представить, какой в мозгу получается «переплет» из этих отдельных, элементарных «условных» рефлексов. Этот переплет—к тому же подвижной, меняющийся, то гаснущий или засыпающий, то вновь возбуждающийся, да еще с звучащей среди него «доминантой»!

Словом, ясно, что распутать этот «переплет», составляющий высшую нервную деятельность, хотя она и образуется из элементарных условных рефлексов,—распутать ее физиологически, а затем и биологически,—распутать ее у животных, а затем и у человека,—это колоссальная работа, почти подавляющая собою человеческое воображение. И, повторяем, это работа научного синтеза, а не анализа. Какую же картину мы видим в школе Павлова по отношению к этому синтезу высшей нервной деятельности из ее элементарных «единиц»?

Картина эта в высшей степени неудовлетворительна, чтобы не сказать больше того. Высшая нервная деятельность животных,—ведь это есть также и умственная деятельность человека, это—все поведение человека, личное и общественное, поскольку в основе его лежит не инстинкт, а сознание. Как же связывает школа Павлова поведение человека, во всей его индивидуальной и общественной сложности, с условными рефлексами?

Любопытно здесь прежде всего отметить, что сам Павлов, как это можно проследить по его «Двадцатилетнему опыту», в течение многих лет, говорил постоянно об «анализе» и «анализаторах», совсем не говоря о синтезе, и только очень нескоро стал характеризовать известные процессы, как «синтетические». Но, может быть, этому и не приходится удивляться, так как главным руслом и главным успехом его исследования было именно выделение и установление самого «условного» рефлекса, а это, конечно, было результатом анализа, а не синтеза.

Не менее любопытно, что сам Павлов и его школа до последнего времени усиленно подчеркивали, что они работают на животных, что они не переходят к человеку. И только в недавние годы началось перенесение исследования и его результатов также и на человека. И это также было совершенно правильно, так как именно с возникновением человека и началась та бесконечно сложная запутанность высшей нервной деятельности, которая, однако, все-таки подлежит выяснению на основе условных рефлексов. Значит сразу переходить от основных элементов, т.-е. условных рефлексов, к этой сложнейшей запутанности человеческого поведения, невозможно. Очевидно, здесь надо методически-терпеливо и осторожно пройти все многочисленные промежуточные ступени живого синтеза, приведшего от поведения простейших из позвоночных к поведению человека.

Таким образом, как-будто все нужное с точки зрения требований синтеза сказано и выставлено на вид; как-будто выдвинута вся научная осторожность и осмотрительность в выводах. И, тем не менее, школа Павлова, вопреки всем своим методологическим оговоркам, предалась самому необузданному, самому легкомысленному,—да простят нам это выражение: скандально-легкомысленному,—«синтезу» высших явлений из низших. Для доказательства этого я позволю себе сослаться частью на учеников Павлова, частью на самого Павлова.

Вот перед нами книжка одного из «молодых» учеников Павлова, д-ра Васильева, под заглавием «Очерки физиологии духа», 1923 г. Как некий юный Давид, вышедший с одною пращею против великана Голиафа, д-р Васильев вышел против всей сложности человеческого «духа» с одним элементарным понятием Павловского условного рефлекса, присоединив к нему также мало синтетически разработанное учение о действии гормонов. И вот из рефлекса и гормона он строит всю «физиологию» духа, совершая «блестящие» экскурсии в область литературных явлений, в область общественной жизни; и получается форменная научная хлестаковщина. В книжке размером в 125 стр. физиологически «разгаданы», сведены к рефлексу и гормону и гидротерапия, и дух войска, и право, и тейлоризм, и любовь, и религия, и философия, и политика, и мышление, и много еще кое-чего другого. Правда, говорят, эта книжка возбудила прямой гнев «учителя», и «ученик» был за нее даже отлучен от «церкви». Но ведь книжка все-таки снабжена предисловием одного из известных «рефлексологов», проф. Осипова.

А вот перед нами другая книга,—книга уже не «молодого», а «солидного» павловца. Это—«Основы поведения человека» проф. Савича (1924). В своих специальных частях эта книга очень интересна и поучительна; как популяризация основных идей Павлова, пополненная к тому же учением о внутренней секреции, она очень полезна среднему читателю. Но есть в ней, как и в «Физиологии духа» Васильева, и части совершенно другого свойства. Это такие же экскурсии в область литературы и общественной жизни. И они нисколько не лучше экскурсов Васильева. Только, пожалуй, еще больше самоуверенности и апломба. И с этой стороны книга вредна среднему читателю, потому что она компрометирует перед ним настоящую, доподлинную науку. Вот, напр., конец книги, ее заключительный аккорд, ее последний вывод: «Всегда плохо кончается, когда сознание пытается создать быт: это—постройка на песке. И придут бури, и подует ветер, и будет тогда падение такое великое!»—Значит, покорись «быту», не трогай его, не строй ничего «сознательно-нового»! А как же один «быт» сменялся другим? И неужели нашему поколению суждено только «великое паде-

ние» в его борьбе за перестройку нынешнего «быта» человечества на новых началах?—Можно ли авторитетом науки прикрывать подобные суждения?

Не ручаемся за достоверность, но говорят, что и книга проф. Савича не встретила с этой стороны одобрения академика Павлова. Однако, если только это верно, то и д-р Васильев, и проф. Савич с успехом могли бы сказать академику Павлову: «учителю! исцелися сам».

Ведь и академик Павлов повинен в том же самом, в чем повинны д-р Васильев и проф. Савич, но только его ответственность за это гораздо бо́льшая, потому что он-то и есть главный авторитет в этой области. Академик Павлов совершает свои экскурсы не в область литературы, а в область политики, и он их не печатает, а только «публично произносит», частью в качестве «введений» к своим курсам физиологии, а однажды им это было сделано и в виде публичной лекции, предназначенной для широкой публики. При чем само собою ясно, что «произнесенные» Павловым слова имеют гораздо бо́льшее значение, чем напечатанные Васильевым и Савичем книги. И вот, что же мы видим в этих экскурсах Павлова? Мы видим голые «рефлексологические» факты и законы—перенесенными без каких бы то ни было промежуточных ступеней синтеза прямо в область явлений социальной жизни,—в область текущих политических событий. Приведу для иллюстрации только один пример, взятый из его публичной лекции, которую он озаглавил: «Несколько применений новой физиологии мозга к жизни».

Покойный русский физиолог, Н. Е. Введенский, установил, что при известных условиях, а именно после сильных раздражений в противоположном направлении, в нервном волокне устанавливается особое состояние, которое он назвал «парадоксальным». Оно состоит в том, что нерв уже не реагирует на сильные раздражения, но продолжает еще реагировать на слабые. И вот, акад. Павлов этот закон, относящийся к нервному волокну, переносит на целую социальную среду, на всю Россию! Россия, де, благодаря революции, находится теперь в таком «парадоксальном» состоянии. В этом разгадка всех наших событий. Ленин и большевики эксплоатируют это состояние. Когда «нервно-разбитая» страна уже не в состоянии реагировать на «факты», они возбуждают ее «словами», и она снова принимает за «дела».

И Павлов выдает это не за шутку, не за игру своего остроумия, а за серьезную попытку повлиять на события истиной, вещаемой от имени науки. Какое вопиющее противоречие с заветами самого Павлова об «осторожности» в научном исследовании нервной деятельности, о том, чтобы не переходить к человеку, прежде чем не будут достаточно изучены животные. Какая обывательская самоуверенность в трактовании величайших исторических событий и какое злоупотребление авторитетом науки! Правда, все это сопровождается оттенком политического «мужества», но напрасно это мужество выводит себя из науки. Академик Павлов выступает здесь не как человек науки, а просто как взбудораженный обыватель, и если отрешиться от этой разницы в его психологии, то эти его «выступления» ничем не отличаются от соответствующих выступлений Васильева и Савича [1]).

[1]) Критике публичной лекции академика Павлова и тех политических выводов, которые он сделал в ней от имени своей науки о высшей нервной деятельности, была посвящена моя статья под заглавием «Условные рефлексы и революция», помещенная в журнале «Звезда» 1924 г., № 3.

Чем же об'ясняются все эти факты? Конечно, они об'ясняются разными мотивами, но среди этих мотивов есть и один, вытекающий непосредственно из «механического» материализма: это невероятная переоценка результатов анализа и соответствующая недооценка значения синтеза, который должен следовать за анализом. Это—глубокое непонимание условий синтеза в таких сложных явлениях, как явления жизни, особенно на высших ее ступенях. Ведь синтез должен превратиться здесь в настоящий эволюционный или исторический метод. Тут надо подниматься вверх, ступень за ступенью, методически констатируя не только нарастание сложности явлений, но и изменение их качеств. Учение о поведении живых существ, с появившимися у них «условными рефлексами», должно быть развернуто не только физиологически, но и биологически, а для человека—еще и социологически. Тут должна быть выявлена целая длинная эволюция или история развития, перепрыгивать через которую нельзя, ибо это значит—терять из-под ног единственно правильный и соответствующий природе явлений метод исследования. А этот метод—синтетический, исторический—иными словами, и есть метод диалектический. Это тот метод, которым (не называя его так) работал Дарвин в области биологии,—и это тот метод, которым (так его и называя) работал Маркс, в области социологии [1]).

XI.

Самойлов делает диалектическому материализму и еще один упрек, на котором тоже нельзя не остановиться. Он говорит: «Диалектические материалисты во многом напоминают виталистов» [2]). Выходит, значит, что тот, кто отвергает витализм, должен отвергнуть и диалектический материализм. Между тем вина и здесь с больной головы валится на здоровую. Приводит к витализму, наоборот, не диалектический, а именно механический материализм. В самом деле, как обстоит дело с витализмом, как биологической теорией? В чем ее «биологический» источник? Почему некоторые из естествоиспытателей, имея перед своими глазами ту же совокупность фактов, что и другие естествоиспытатели, приходят, однако, к диаметрально противоположным выводам о «сущности» жизни, т.-е. признают эту сущность не «материальной», а какой-то особенной, раздваивающей бытие на «материю» и «жизнь»?

Едва ли мы ошибаемся, если скажем, что основною причиною этого является то, что жизнь есть особое «качество» той материи, в которой она проявляется,—что «живая» материя качественно отлична от «неживой». Это—тот факт, которого невозможно устранить из человеческой мысли, как невозможно устранить из нее и того факта, что на известной ступени развития живой материи в ней появляется еще новое качество—«сознание».

Естествознание, как уже сказано, стихийно стоит на той мысли, что все, что проявляется в материи, проистекает из нее же, а не откуда-то со стороны. И это и есть самая основа материализма. С этой точки

[1]) Прав т. Агол, говоря: «Дарвинизм не только не противоречит диалектическому методу Маркса и Энгельса, но является его единственно правильным биологическим выражением». «Диалектический метод и эволюционная теория», 1927 г., стр. 50.

[2]) «Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 4—5, стр. 76.

зрения остается правильно, экспериментально установить, что же именно проявляется в материи и как оно происходит, и раз проявляются разные свойства или качества, то надо проследить, как они постепенно возникают и какую представляют градацию ступеней. Как-будто бы ясно и бесспорно?

Но что делает механический материализм? Первый его шаг совершенно правилен: он ищет—и посильно находит—простейшие «частицы» материи и простейшие их «состояния». Скажем,—это «атомы» или «электроны» и их перемещение в пространстве, т-е. механическое движение. Значит отсюда: из этого состояния и из этих свойств материи—происходят и все остальные состояния и свойства «бытия»? Да, совершенно верно, именно отсюда. Всякий материалист обязан это принять. Но механический материалист выдвигает не только этот вывод, но и другой, а именно: что материя, во всех своих состояниях, «в сущности» остается той же самой, т.-е. представляет собою совокупность «атомов» или «электронов», так или иначе распределенных и так или иначе перемещающихся в пространстве. Ничего другого, кроме этого, в ней, будто бы, нет и не может быть. А что же представляют собою физические, химические свойства материи, проявляющаяся в ней жизнь, наконец, сознание? По мнению механического материализма—«ничего», только одну какую-то «видимость», или какое-то «содержание» вместо «сущности». Иными словами, получается какое-то странное отрицание или игнорирование того, что на самом деле открывается нам в явлениях той же материи.

И вот, в виде реакции против этого, среди тех же естествоиспытателей, выдвигается утверждение: нет, жизнь не мнимое, а реальное свойство материи, оно существует, живое не равно неживому. А так как и эти естествоиспытатели находятся под влиянием того же факта, из которого исходят и механические материалисты, а именно того, что материя, в своих более простых состояниях, обнаруживает только механические, физические и химические свойства (последние она согласна выводить из механических), то они делают вывод, что в «живой» материи к механическим силам присоединилась какая-то совсем иная, «жизненная» сила. Откуда же она взялась? Вопрос этот или остается без ответа, или ответ дается в духе дуализма: не из материи, а извне,—от совсем другого мирового «фактора». И так получается в биологии «витализм», «неовитализм» и пр. И получается упорно, по крайней мере, до сих пор он не сходит со сцены.

Только диалектический материализм может отклонить естествоиспытателей, признающих специфичность жизни, от уклонения в сторону витализма.

Самойлов говорит: «Зло витализма заключается в том, что он слишком поспешно ставит запреты, находит границы между тем, что «пассивно» и что «активно». В этой готовности ставить точку после каждого достижения в смысле механического понимания жизненных явлений заключается тормоз для дальнейшего движения науки. Если диалектики, исходя из совершенно других соображений, принимают в жизненных явлениях особые формы движений, не поддающиеся физико-химическому об'яснению, то они тоже рискуют ставить границы там, где их, в сущности, быть не должно и нет» [1]).

Это не верно. Диалектические материалисты не ставят «механическому» исследованию никаких границ. Наоборот, они приветствуют

[1]) «Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 4—5, стр. 77.

и признают все значение раскрытия под более сложными явлениями их «механической» основы. Они ожидают и будут считать величайшим научным успехом раскрытие не только под явлениями жизни, но и под явлениями сознания тех молекулярных, атомных, электронных движений, которые под ними имеются. Но они, в противоположность механическим материалистам, говорят: это все-таки не все, тут не только механические, но и иные движения; тут новые качества, каких нет у механических движений. И они требуют не ограничения, а, наоборот, расширения исследования; требуют, чтобы вслед за анализом был применен синтез, притом во всей той мере, в какой он требуется, т.-е. проходя через все ступени превращения «количеств» в «качества» и исследуя все, что при этом окажется, т.-е. не только констатируя новые качества, но и раскрывая их особенную закономерность.

Таким образом, если в витализме и есть то «зло», на которое указывает Самойлов, то его совсем нет в диалектическом материализме. Совершенно наоборот. Только диалектический материализм мешает искоренить, наконец, витализм из биологии, исцелив ее от соблазна впадать в дуализм, вследствие того, что она чувствует недостаточность «механизма» для об'яснения «жизненных» явлений.

XII.

Заканчивая этот спор между механическим и диалектическим материализмом, нельзя не указать в заключение еще и на его значение для общего взгляда на мир, для так называемого миросозерцания.

Было время, когда дуализм целиком проникал человеческую мысль,—когда «дух», т.-е., в конце концов, «бог», считался и «творцом» материи, и ее «повелителем». Это было «религиозное» мировоззрение, целиком владевшее умами и неученых и ученых. В это время наука очень скромно прокладывала свой путь и постепенно накопляла факты, противоречащие религиозному мировоззрению. Эти факты заключались в «закономерности» явлений, а эта закономерность была яснее всего в явлениях механических. Тут «богу» вообще и положительным религиям, в особенности, пришлось отступать перед натиском науки (они делали это с «боем»), и именно здесь наука накопила свою уверенность и решимость вступить в окончательную борьбу с религией,—устранить ее, установить, в качестве человеческого миросозерцания, вместо спиритуализма, материализм. Это была великая духовная битва и великая духовная революция. По состоянию тогдашнего знания, наука, выдвигая себя, как основу общего взгляда на мир, только и могла сделать это в форме механического» материализма. Механический материализм играл тогда в этом смысле не только прогрессивную, но прямо революционную роль. Однако внутренние дефекты механического материализма, его крайняя односторонность, то, что он не охватывал в полной мере всех явлений, уже очень скоро стало подрывать его триумф над религией. Религия стала обратно проникать даже в самую «механику». Так, Ньютон, установив закон всемирного тяготения и об'яснив им движения планет вокруг солнца по эллипсам, тут же, перед лицом этого самого «механизма», выдвинул вопрос, а кто же приложил к каждой планете первоначальную «тангенциальную» силу? Выходило, что не сам «механизм», а кто-то вне «механизма», т.-е. господь бог. И то же самое произошло с пресловутым законом энтропии Клаузиуса. Ибо, если энергия мира имеет неустранимую тенденцию «уравновеситься» на всем мировом пространстве и перейти в энтропию,—то кто же мог дать ей «первоначальный» толчок, чтобы вывести ее из состояния равновесия? Выходило, что никто, как только господь бог.

Или вот еще один пример такого же рода. Когда Дарвин развил свою теорию происхождения видов, то физик В. Томсон, на основании расчета времени (по охлаждению земли), в течение которого жизнь могла существовать на земле, выдвинул утверждение, что этого времени было мало для того, чтобы формы растений и животных могли развиться так, как это думал Дарвин, от самых низших до самых высших вместе с человеком. Времени было мало, а высшие формы, все-таки, налицо. Значит, откуда же они взялись? Опять и тут один исход: господь бог.

Правда, все эти выводы были потом устранены развитием самой науки: «тангенциальная» сила Ньютона получила вполне естественное об'яснение в гипотезе Канта-Лапласа; закон энтропии оказался слишком поспешным; новейшие радиоактивные исследования показали, что земля существует не миллионы, а миллиарды лет, значит для развития животных и растительных форм, согласно теории Дарвина, было вполне достаточно времени. Из всех этих пунктов господь бог был вновь с успехом вытеснен. Но эту опасность—вторжения спиритуализма—механический материализм представляет вовсе не на одних этих пунктах, а в самой своей сущности, ибо он упрощает свой взгляд на мир до полного противоречия действительности. Мир вовсе не так прост и однообразен, как это думает механический материализм. Мир—разнокачественен, ступенчат; в своем развитии он поднимается от одних «качеств»—к другим, высшим. Откуда же берутся эти высшие качества и явления? Не давая удовлетворительного материалистического, но синтетического, иначе исторического ответа на этот вопрос, механический материализм компрометирует тем самую идею природного монизма и толкает к дуализму: к витализму в биологии, к спиритуализму в общем миросозерцании. И поэтому в наше время, перед лицом более развитой науки, перед лицом более глубоких умственных запросов, он перестал играть свою прежнюю роль фактора, революционизирующего человеческую мысль, его роль стала реакционной. Он дает возможность слишком легкой победы над собою (а ведь он—материализм!) спиритуалистическим, т.-е. в конце концов религиозным течениям.

Эти спиритуалистические течения совершили в наше время под напором науки обходное движение, они теперь охотно признают «механику» в области «мертвой» природы, поскольку же речь идет о «жизни» и «духе», они, попрежнему, выводят их из другого источника. А так как «чистый» механизм и, действительно, не в состоянии об'яснить происхождение жизни и духа из материи, так как он признает их чем-то «несущественным», даже почти «несуществующим» (эпифеноменон!) [1]), то для человеческой мысли получается сильнейший соблазн

[1]) В. И. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» приводит слова спиритуалиста Джемса Уорда: «Нельзя ничем оправдать теорию, утверждающую, что механизм есть основа всего и что он сводит факты жизни и духа к эпифеноменам, т.-е. делает их, так сказать, на одну ступень более феноменальными, на одну ступень менее реальными, чем материя и движение»,—и по поводу них говорит: «это, конечно, сплошной вздор, будто материализм утверждает «меньшую» реальность сознания» (стр. 284). Но явно, что под «материализмом» здесь надо разуметь именно диалектический, а не механический материализм. На протяжении всей своей книги Ленин подчеркивает недостаточность механического материализма по сравнению с диалектическим. Для иллюстрации приведу только одно подобное место: «Диалектические материалисты Маркс и Энгельс очистили основную посылку материализма от односторонностей механического материализма» (стр. 303).

сохранить неустранимое «существо» и «существование» жизни и духа, хотя бы ценою дуализма... А дуализм—это и есть религия...

Так и идет в наше время эта идейная борьба из-за «жизни» и «духа», при чем механический материализм от них отказывается, а спиритуализм принимает их в свое лоно с благодарностью. Положение получается фальшивое, искажающее всю истину, так как «жизнь» и «дух» должны остаться там, где они есть, т.-е. внутри «материи». Но для этого «материализм» из механического должен стать диалектическим. Тогда только станет возможной и его полная победа над спиритуализмом, т.-е. вытеснение из человеческой мысли всякой религии и заполнение ее одной наукой. А это ведь и есть та духовная «революция», которая должна увенчать и закрепить собою революцию материальную: переход власти в руки трудящихся и построение ими общественного хозяйства. Идеологической «надстройкой» этой материальной базы, несомненно, будет диалектический, а не механический материализм. И если естествоиспытатели старого закала скажут, что им нет никакого дела ни до «реакций», ни до «революций», а есть дело только до одной «истины», то и тут придется им сказать, что диалектический материализм—это и есть истина, тогда как механический материализм—есть полуистина, смешанная с ложью. К этому надо также добавить, что революция и истина—это одно и то же, тогда как реакция—тождественна с ложью. Революция есть путь к благу человечества, но вместе с тем она есть путь и к полному господству истины, к окончательной победе научного знания над религиозным суеверием.

Коренные вопросы диалектического материализма.

(Отчет о диспуте в театре им. Мейерхольда 19 декабря 1927 г.).

Каждый этап борьбы с механистами за последние годы неизменно сопровождался попытками с их стороны добиться видимости успеха в выступлениях на различных открытых собраниях. Но каждый раз, к какой бы аудитории механисты ни обращались, их ждало горькое разочарование. Ни «имена», ни высокомерный тон, ни рвение организаторов не приносили лавров, ничто не могло прикрыть идейную несостоятельность современных рыцарей печального образа в философии, бряцающих своими заржавленными идеями и поношенными шпагами.

Первый раз, на заре туманной юности наших механистов, полные надежд на легкую победу, выступили в 1 МГУ два года тому назад тт. И. И. Степанов и А. К. Тимирязев. Против них выступали Стэн и Карев. Дискуссия кончилась тем, что докладчик от механистов не получил даже заключительного слова. Попытка апеллировать против диалектиков к молодежи оказалась битой.

На втором этапе борьбы, когда окончательно оформился и созрел причудливый блок механистов, фрейдистов, поклонников кантовской морали, всех «критически» мыслящих «марксистов», генеральный бой был учинен в Институте научной философии. Мобилизованы были все «силы». Л. Аксельрод, А. Тимирязев, А. Варьяш, С. Перов, — все великие и малые мира механистического,—искали победы на поле научной брани, отчаявшись завоевать умы и сердца юношей.

Брани с их стороны были действительно много, но хотя ее, наверное, хватило бы для того, чтобы низвергнуть стены иерихонские, материалистическую диалектику поколебать не удалось, и вопившие о спасении науки разуверились в пользе диспутов в научных учреждениях. В выступлениях А. М. Деборина была вскрыта ревизионистская сущность современных противников диалектики, и вслед за дискуссией в Институте научной философии последовали известный разброд и отступление в их стане.

На то, чтобы вновь выступить, перестроив ряды, подкрепившись, обогатившись опытом поражений, понадобилось более полутора лет. 19 декабря 1927 г. в помещении театра им. Вс. Мейерхольда, в ряд с «Мандатом» и «Ревизором», был поставлен диспут «Коренные вопросы диалектического материализма», на котором тоже был пред'явлен «мандат» на ортодоксальный марксизм и выступала «ревизорша». Но, как и у Мейерхольда, этот «мандат» не был настоящим мандатом, выданным революцией, а лишь копией с удостоверения о местожительстве, может быть уже покинутом или покидаемом, вместо же живых идей диалектического материализма демонстрировались из всякого тряпья механически скроенные куклы допотопных

воззрений и «критики». Аудиторией, к которой обращались механисты, была уже не только советская молодежь, не только работники советских учреждений, а все желающие послушать диспут о коренных вопросах марксизма. Естественно, что «диалектики», приглашенные организаторами диспута участвовать в нем, отказались афишироваться по городу на ряду с механистами, так как основные проблемы марксизма вовсе не являются темой для подобного рода диспута, уже не говоря о диспуте, участие на котором открыто для всех, в том числе для буржуа и их идеологов.

Но вместе с тем обязанностью для всякого марксиста является выступать всюду, где критикуется или извращается марксизм. Поэтому и на «диспуте» в театре им. Вс. Мейерхольда обязанностью сторонников диалектического материализма было обнажить перед аудиторией, к счастью в огромном большинстве состоявшей из вузовской молодежи, ревизионизм «диспутантов», показать, откуда и куда он ведет.

И вновь странствующие вокруг марксизма механисты потерпели неудачу на ими же самими организованном собрании. Сочувствие большинства аудитории, несомненно, оказалось на стороне «диалектиков». В советской столице, даже на публичном, открытом для «всех», диспуте удельный вес механистов оказался очень низким.

Мы не беремся предугадывать дальнейшие судьбы механистического блока. Может быть, он вновь попытается повторить завершенный этим диспутом круг. Может быть, он попытается омолодиться. Но настоящие юность и зрелый возраст уже позади. А за ними неизбежно наступают сумерки. Не лучше ли механистам, не ожидая естественной смерти, самим ликвидировать блок, в котором каждый говорит свое и все вместе нечто в высшей степени дикое, невразумительное и все более удаляющееся от марксизма?

Ниже мы даем краткий отчет о диспуте и стенограммы речей, произнесенных в защиту диалектико-материалистической точки зрения.

* * *

Доклад Л. И. Аксельрод начался известной цитатой из «Л. Фейербаха» Энгельса, определяющей различие материализма и идеализма. Из этой цитаты, по мнению докладчицы, следует, что материалистическое, то же механическое, понимание мира есть ничто иное, как отрицание творца природы и трансцендентной ей телеологии. Исторически материализм и идеализм имеют своим исходным пунктом мировоззрения Анаксагора и Демокрита. Анаксагор признавал вещи состоящими из бесконечного количества качественно различных частиц, группируемых разумом, планомерно организующим мировой порядок, Демокрит же отрицал акт творения и в об'яснении природы исходил из самой природы, из опыта. Он признавал существование атомов, движение которых образует все вещи, нас окружающие. В общем, космическом смысле механическое миропонимание означает ничто иное, как понимание законов природы без организатора, без устроителя. Как ни менялись материализм и идеализм за время своей истории, сущность их со времен Анаксагора и Демокрита осталась одна и та же: одни признают телеологическую трансцендентность, другие — телеологию отрицают, считают ее совершенно ненужной, мешающей в научных исследованиях.

Далее докладчица перешла к определению того, что взято Марксом и Энгельсом из диалектики Гегеля. Она выделяет четыре существенных у Гегеля, с ее точки зрения, момента: 1) Гегель выступил против формальной логики, создав логику познавательную, онтологическую. Закон тождества формальной логики он справедливо считал тавтологическим, доказывая, что не может быть тождества без различия. 2) В каждом процессе природы

совершается борьба противоположных сил, поскольку в нем возникает нечто новое. Гегель скуп на примеры, но один пример он дает: это—развитие почки через цветок к плоду. Недостаток Гегеля в том, что процесс этот он мыслит как процесс саморазвития понятия. 3) У Гегеля нет метафизической пропасти между ложным и истинным; так, с точки зрения формальной логики система Птоломея только ошибочна, с точки зрения Гегеля она и ошибочна и неошибочна, так как в ней заключен уже принцип движения небесных сил. Процесс, в котором устраняется ошибочная часть положения и сохраняется истинная, по Гегелю, называется «снятием». 4) Очень важен гегелевский принцип коллективного сознания, — так у него развитие духа происходит через общее, коллективное сознание, суб'ективный разум с его точки зрения не может охватить всю мировую действительность, она охватывается в искусстве, религии, философии, праве, нравственности и других коллективных формах.

Таковы четыре гегелевских принципа, несомненно, вошедших в диалектический материализм. Но у Гегеля они стояли на голове, Маркс их поставил на ноги. Что это значит? Суть дела в том, что Маркс и Энгельс стояли на эмпирической точке зрения. Диалектика Гегеля — формальная диалектика, ей следовали в своих построениях Прудон, Чернышевский, марксистская же диалектика — эмпирична. Онтологические предпосылки познания научная философия должна свести до того минимума, который необходим и неизбежен для развития положительного знания.

На этой точке зрения стояли Маркс и Энгельс, в то время как наши противники, заявляет Л. Аксельрод, стоят на точке зрения спинозовской субстанции. Субстанцию они об'являют материей, чего нельзя сделать никаким декретом. Спинозе этого никогда и в голову не приходило. Но если на сегодняшний вечер даже допустить, что мышление есть атрибут материи, то атрибуты, с точки зрения Спинозы, есть нечто вечное,—следовательно, мышление вечно, что несогласимо с диалектикой.

Марксизм стоит на эмпирической точке зрения. Кроме вульгарного эмпиризма есть скептический эмпиризм, утверждающий, что законы, выводимые из наблюдения над фактами, не обладают тем, что Кант назвал всеобщностью и необходимостью. Я могу знать на основании опыта лишь то, что было, и не могу заключать на основании прошлого о будущем. С точки зрения Юма, уверенность в возможности таких заключений есть результат привычки, с точки зрения Канта—априорный принцип. Как же обосновывает закономерность диалектический материализм? С точки зрения докладчицы тем, что в настоящем уже есть элементы, суммируемые в будущем, и лишь их мы констатируем в нашем опытном познании. Вывод на будущее в законе слагается из того, что мы никогда не воспринимаем обратного и из суммы данных нам уже моментов.

Далее докладчица переходит к вопросу о жизни. Кто отрицает, что явление жизни может быть принципиально об'яснено физико-химическим путем, тот не материалист, так как других сил, кроме физико-химических, наука не знает,—и не диалектик, так как тогда разрываются нити, связывающие органическую и неорганическую природу. Метод, который предполагает, что есть какие-то особые качества, это не метод научного познания, он идет от анимизма и стар как мир. Диалектический материализм для науки, а не наоборот. В истории науки успехи ее достигались лишь путем механического миропонимания.

Затем докладчица переходит к вопросу о случайности. Она приводит цитату из «Диалектики природы» Энгельса: «Противоположную позицию занимает детерминизм, перешедший в естествознание из французского материализма и рассчитывающий покончить со случайностью тем, что он вообще отрицает ее. Согласно этому воззрению, в природе господствует лишь простая, непосредственная необходимость. Что в этом стручке пять горошин, а

не четыре или шесть, что хвост этой собаки длиною в пять дюймов, а не длиннее или короче на одну линию, что этот клеверный цветок был оплодотворен в этом году пчелой, а тот—нет, и притом этой определенной пчелой и в это определенное время, что это определенное, унесенное ветром семя львиного зуба взошло, а другое нет, что в прошлую ночь меня укусила блоха в 4 часа утра, а не в 3 или в 5, и притом в правое плечо, а не в левую икру—все это факты, которые вызваны неизменным сцеплением причин и следствий, связаны незыблемой необходимостью, и газовый шар, из которого возникла солнечная система, был так устроен, что эти события могли произойти только так, а не иначе. С необходимостью этого рода мы все еще не выходим из границ теологического взгляда на природу. Для науки совершенно безразлично, назовем ли мы то, вместе с Августином и Кальвином, извечным решением божиим, или, вместе с турками, кисметом, или же назовем необходимостью. Ни в одном из этих случаев не может быть речи об изучении причинной цепи, ни в одном из этих случаев мы не двигаемся с места. Так называемая необходимость остается простой фразой, а благодаря этому и случай остается тем, чем он был. До тех пор, пока мы не можем показать, от чего зависит число горошин в стручке, оно остается случайным; а от того, что нам скажут, что этот факт предвиден уже в первичном устройстве солнечной системы, мы не подвигаемся ни на шаг дальше. Мало того, наука, которая взялась бы проследить этот случай с отдельным стручком в его каузальном сцеплении, была бы уже не наукой, а простой игрой, ибо этот самый стручок имеет еще бесчисленные другие индивидуальные — кажущиеся нам случайными — свойства: оттенок цвета, плотность и твердость шелухи, величину горошины, не говоря уже о индивидуальных особенностях, доступных только микроскопу. Таким образом, с одним этим стручком нам пришлось бы проследить уже больше каузальных связей, чем в состоянии решить их все ботаники на свете» («Архив К. Маркса и Ф. Энгельс», кн. II, стр. 191—193). С точки зрения докладчицы здесь по существу Энгельс говорит о фатализме. С точки зрения фатализма все предопределено, и то, что нас укусит блоха в 4 час. ночи, заложено в сущности вещей, даже если мы будем жить в самых гигиенических условиях и в стране, где нет блох.

Другое дело—детерминизм, причинное об'яснение явлений природы и истории. Что было бы, если бы по дороге Робеспьера в Конвент на голову его упал кирпич? Об'ективная или суб'ективная это случайность? Об'ективная в том смысле, что кирпич падал по закону всемирного тяготения, об'ективная в том смысле, что Робеспьер шел в Конвент с определенным планом. Скрещение этих двух моментов случайно, но об'ективно или суб'ективно оно в отношении Конвента? Я утверждаю, говорит докладчица, что оно все-таки суб'ективно, потому что, если бы представить себе, что Робеспьер знал мировое движение и мог предвидеть, что упадет камень в этот момент, он бы в Конвент не пошел и, следовательно, это случайность суб'ективного свойства, она об'ясняется тем, что Робеспьер не знал, что в данный момент упадет кирпич. Говорить, что случайность об'ективна, это значит возвращаться к чуду, к религиозному началу. (Голос с места: «Почитайте Энгельса!»). Я излагаю метод и дух учения, а не букву. Во-первых, у Энгельса ничего подобного нет, а если бы где-нибудь и было подобное выражение, которое бы не подтверждало точку зрения Энгельса, то я бы сказала, что у Энгельса здесь какой-то недочет. Я не буквоед. Вероятно, мои слова подхватят, и это пойдет в рецензию, скажут — критика марксизма, ревизионизм. Я не боюсь этого.

В заключение докладчица остановилась в нескольких словах на историческом материализме.

На этом доклад Л. Аксельрод закончился.

Выступления остальных представителей механистов не представляли сколько-нибудь значительного интереса.

Тов. А. К. Тимирязев приводил излюбленный и непременный пример с упругими шарами, долженствующий посрамить своей диалектичностью всех диалектиков, и жаловался на статьи Ми и Гредескула в «Под Знаменем Марксизма», членом редакционной коллегии которого он состоит.

Тов. Сарабьянов, бия себя в грудь, клялся, что обвинения механистов в измене диалектическому материализму—ложь! Возражения, которые он пытался привести по существу против диалектиков, были совершенно необыкновенны. Так, критикуя цитату из тов. Деборина о том, что «в непосредственном опыте нам даны отдельные физические об'екты, а не их единство, последнее есть не предмет восприятия, а предмет мышления», Сарабьянов восклицал: «И это пишет марксист! Два атома водорода—действительны, один атом кислорода—действителен, воды же нет на белом свете, товарищи!».—И это пишет человек, называющий себя марксистом, можем повторить мы его слова с укоризной. Существует ли «на белом свете» международный пролетариат, как класс? Удалось ли тов. Сарабьянову хоть раз воспринять его, как целое, посредством своих органов обоняния или осязания? Может быть, по тов. Сарабьянову, нет вовсе международного пролетариата, так как мы постигаем его при помощи мышления, а не в непосредственном восприятии? Впрочем, тов. Сарабьянов, очевидно, выдает лишь общую тайну всех механистов—того, что они не могут пощупать или понюхать—не существует, мышление же запрещено.

Выступление С. Перова целиком посвящено было цитатам из статьи т. В. Слепкова в «Под Знаменем Марксизма» о Фишере, которая якобы доказывает, что «Под Знаменем Марксизма» есть «Под знаменем махизма». Сам же тов. Перов явным образом пребывает прежде всего под знаменем невежества—и в отношении марксизма, и в отношении махизма.

А. Варьяш утверждал, что ошибки диалектиков в вопросе о случайности происходят от того, что диалектики случайность смешивают с вероятностью, не зная естествознания и математики. Утверждать это он мог с тем большим основанием, что, выступая пред представителями разных научных специальностей, он всегда оказывался профаном в той области, в которой выступал, и специалистом во всех остальных.

В поднявшемся после последних выступлений механистов шуме речь тов. Гейликмана была в зале не слышна.

В заключительном слове Л. И. Аксельрод заявила, что выступавшие против нее диалектики не поняли ни ее, ни приводимых ею цитат. Если говорилось о том, что докладчица согласна с Богдановым,—а согласиться-де с Богдановым, с точки зрения оппонентов, нельзя, хотя бы в том случае, если бы он сказал $2 \times 2 = 4$, надо сказать 13,—то она первая выступила против Богданова, держится своих прежних взглядов, но, тем не менее, должна сказать, что Богданов не такое страшилище, чтобы им всех пугать, и он лучший марксист, чем выступавшие здесь. (В зале шум). Если докладчица сняла несколько резких слов против Богданова,—то потому, что в разгаре полемики нередко бывают ненужные резкости, те же, кто упрекает докладчицу за это, очевидно, полагают, что истинное и подлинное доказательство заключается в ругательствах. В остальном докладчица повторила положения доклада. О простых законах права и нравственности она заявила, что независимо от того, разделяют ли сидящие в зале теоретически элементарные моральные законы, они их исповедуют практически, и докладчица также.

(Диспут окончился в 1 час 30 мин. ночи).

Речь тов. Карева.

Должен сказать, что сегодняшний доклад меня удовлетворил полностью, и если не все выводы из него были сделаны докладчицей, то не будет представлять большого труда эти выводы сделать, и тем самым наметить основные точки зрения по тем вопросам, которые выдвинулись в настоящее время. Я не скажу—по спорным вопросам марксизма, потому что с точки зрения тех товарищей, которые защищают диалектический материализм, марксистское решение этих вопросов не является спорным, точка зрения их наших противников более чем «спорна».

Поэтому же те товарищи, к числу которых принадлежу и я, не сочли для себя возможным официально участвовать на этом собрании, как на диспуте, так как мы не считаем, что в наших воззрениях есть что либо дискуссионное, но мы считаем обязательным для себя на каждом собрании защищать свою точку зрения, точку зрения марксизма.

Разрешите остановиться лишь на тех основных положениях, которых касалась в своем докладе докладчица, и которые с нашей точки зрения несовместимы с основными положениями марксистского мировоззрения и метода.

Диалектический материализм складывается из двух основных частей, исторически подготовленных всем предшествующим развитием философской мысли,—из материализма и материалистической диалектики. Надо сказать, что по многим вопросам и материализма и материалистической диалектики мы расходимся с тем, что здесь говорила Л. И. Аксельрод.

Я начну прежде всего с основных положений материализма, чтобы затем перейти к диалектике. Надо сказать, что наши споры очень часто ведутся под флагом той или другой трактовки воззрений тех или иных представителей истории философии, игравших какую-либо роль в подготовке марксистского мировоззрения. Часто бывает, что ревизия основных положений какого-нибудь великого мыслителя проводится не под флагом прямых нападок на воззрения учителя, а под флагом нападения на его последователей или на трактовку ими того или иного исторического вопроса. Это повторяется в истории не первый раз.

Когда Эдуард Бернштейн выступал против марксизма, он выступал и против материализма, и против диалектики, но при этом он выступал против диалектики под флагом отрицания Гегеля, против материализма под флагом отрицания Спинозы. По этим вопросам ему возражал Плеханов. Сейчас мы видим ту же картину—наши противники ревизуют материализм под флагом критики нашего понимания Спинозы и диалектику—под флагом критики нашего понимания Гегеля. Поэтому они являются по праву духовными последниками Эдуарда Бернштейна.

В чем заключаются наши споры в вопросах материализма?

Мало сказать, что в истории философии были два направления—идеализм и материализм, и привести в подтверждение этому цитату из Энгельса, которую знает ныне каждый рабфаковец. Это ниже уровня философских рецензентов. (Аплодисменты).

Материализм в том виде, как его развили и формулировали Маркс и Энгельс, сделал много шагов вперед по сравнению с материализмом, ему предшествовавшим. Он представляет собою не просто материализм, а диалектический материализм, и в этом его отличие.

Я не буду касаться историко-философских соображений, которые развивала докладчица, когда исходный пункт различия между идеализмом и материализмом она искала в противоположности воззрений Анаксагора и Демокрита. Исторически это неверно, потому что материализм существовал и до Демокрита, Анаксагор же вовсе не был идеалистом в том смысле, в каком

стремится истолковать его мировоззрение Л. И. Аксельрод. Ее трактовка Анаксагора верна лишь с точки зрения старой, буржуазной истории философии, которая стремилась по возможности всех крупных мыслителей прошлого подвести под идеалистический ранжир. Исторически идеализм начинается с Платона, это—азбука, до Платона же подготовлялся он прежде всего в пифагорейских школах. Демокрит действительно представлял собой крупнейшего материалиста древности. Но в чем заключалась отличительная черта его материализма? В том, что этот материализм был механическим, чуждым идее развития.

Несомненно, что этот механический материализм, который потом в известной степени повторился в материализме XVIII века, имеет огромные заслуги. Но сказать, что в истории философии и истории идеологической борьбы механический материализм играл в ту или иную эпоху прогрессивную роль, вовсе не является аргументом в защиту того, что этот материализм должен быть принят в его старой форме сейчас. Конечно, механический материализм играл в свое время крупную прогрессивную роль, но в наше время он играет в известном отношении и реакционную роль, поскольку он ослабляет диалектический материализм в борьбе с идеализмом.

Перейду к рассмотрению положений докладчицы по существу. Прежде всего об определениях материализма, которые здесь приводились. В качестве вывода из всех формулировок, которые в разных комбинациях нам давались докладчицей, следует признать, что с ее точки зрения отличительным определением материализма является отрицание творца и отрицание телеологии. Можно ли сказать, что отрицание телеологии есть основной признак материализма, что по этой линии проходит основной водораздел между материализмом и идеализмом? Конечно, этого сказать нельзя, потому что, став на эту точку зрения, мы, несомненно, чрезвычайно сузим определение материализма. Это значило бы открыть двери в материализм целому ряду таких направлений, которые, на самом деле, с материализмом ничего общего не имеют. Ведь и многие идеалисты отрицают телеологию и, однако, несмотря на это, не становятся материалистами.

Вопрос об отношении материализма к идеализму решается лишь по линии признания той или иной определяющей основы—бытия или мышления. Но не это—основной вопрос нашего спора. В общем и целом наши противники пока стоят на точке зрения материализма. Однако сейчас же, вслед за признанием примата материи над мышлением, возникает вопрос: что же именно представляет мышление по отношению к материи? И в зависимости от решения этого вопроса исторически мы имеем две формы материализма. Мы имеем, с одной стороны, спинозовский материализм, если так позволено будет его назвать, и, с другой стороны, вульгарный материализм.

В чем заключается основное отличие вульгарного материализма? Оно заключается в том, что вульгарный материализм сознание, мышление рассматривает не как особое свойство материи, а сводит мышление к движению низших ее форм. Именно этот вульгарный материализм был отвергнут Марксом и Энгельсом.

Что же в противовес ему выдвигали Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин? Точку зрения, согласно которой сознание, в различных его формах, присуще материи, как особое свойство, в этом смысле как особый атрибут материи. Для того, чтобы показать, что это не представляет собою чего-то измышленного нынешними философскими рецензентами, а что это—точка зрения всех основоположников марксизма, я прочту цитату из Плеханова, из недавно опубликованной статьи его против критиков марксизма, в том числе против Бернштейна:

«Это верно, гражданки и граждане, материализм в том виде, как он был построен в XVIII столетии, как он принят был основоположниками науч-

ного социализма, есть именно учение, утверждающее, что мы не можем знать мыслящей субстанции вне субстанции, имеющей протяжение, и что мысль в той же мере, как движение, есть функция материи. Но это есть отрицание философского дуализма, и это ведет нас прямым путем к старику Спинозе с его единой субстанцией, двумя атрибутами которой являются движение и мысль. И в самом деле, современный материализм есть лишь более или менее сознающий себя спинозизм. Я говорю «более или менее сознающий себя», потому что были материалисты, весьма слабо сознававшие свое родство со Спинозой. Таков был Ламеттри. Но со времени Ламеттри были материалисты, очень хорошо знавшие, что они происходят от Спинозы. Таков был Дидро...

Фейербах («Spiritualismus und Materialismus») и Энгельс также были спинозистами (Г. Плеханов, «О так называемом кризисе в школе Маркса. Конспект лекции против Бернштейна и К. Шмидта в «Летописях марксизма», кн. 4, стр. 24—25).

Таким образом, несомненно, что наши противники отрицают точку зрения Плеханова, а вместе с нею, по свидетельству Плеханова, и точку зрения Энгельса. Докладчица пыталась изобразить дело таким образом, что если признать мышление атрибутом материи, то мы должны притти к признанию вечности мышления, что противоречит и материализму, и диалектике.

Прежде всего в ответ на это следует дать элементарную историческую справку. Известно, что Дидро стоял на точке зрения всеобщей одушевленности материи. В известном смысле на той же точке зрения стоял Плеханов. Спрашивается: были ли Дидро и Плеханов материалистами?

Несомненно, что спор о том, к а к о г о р о д а материя обладает сознанием, есть спор в п р е д е л а х м а т е р и а л и з м а, более того, в пределах определенного типа материализма, названного мною ранее спинозистическим, к которому принадлежал и Энгельс. В чем отличительная черта этого типа материализма? В том, что, скажем, Энгельс рассматривает мышление не как случайное свойство материи, не как модус, употребляя термин Спинозы, не как нечто такое, что материи присуще случайно, а как свойство, н е о б х о д и м о возникающее на определенной ступени ее развития. Поэтому в «Диалектике природы» Энгельс пишет: «Сколько бы бесчисленных солнц и земель ни возникало и ни погибало; как бы долго ни приходилось ждать, пока в какой-нибудь солнечной системе, на какой-нибудь планете не появятся условия, необходимые для органической жизни; сколько бы бесчисленных существ ни должно было погибнуть и возникнуть, прежде чем из их среды разовьются животные с мыслящим мозгом; находя на короткий срок пригодные для своей жизни условия, чтобы затем быть тоже истребленными без милосердия,—мы все же уверены, что м а т е р и я во всех своих превращениях остается вечно одной и той же, что ни один из ее а т р и б у т о в не может погибнуть и что поэтому с той же самой железной н е о б х о д и м о с т ь ю, с какой она некогда истребит на земле свой высший цвет—м ы с л я щ и й д у х,—она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время» («Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. 2, стр. 177. Курсив наш. *Н. К.*).

Отрицание этих положений представляет разрыв с материализмом в том виде, в каком он признавался Марксом, Энгельсом, Плехановым и Ленины.

Сейчас я должен перейти к тому, как здесь интерпретировалась докладчицей диалектика. Положения, которые ею выдвигались, могут только заставить развести руками. Прежде всего, несколько слов относительно отношения диалектики к эмпирии. Совершенно верно, что диалектический материализм стоит на эмпирической точке зрения в том смысле, что содержание нашего знания он рассматривает, как имеющее своим источником опыт, но при этом нужно понимать, какое значение в постановке опыта и в обработке данных опыта играет мышление и какого рода эмпиризм признавался основоположниками марксизма, в каком отношении этот эмпиризм стоит к тому эмпиризму, на почве которого стояли идеалистические эмпирики, кончая Юмом, подготовившие кантианство, и к тому эмпиризму, который до сих пор господствует во многих областях естествознания. Энгельс говорил, что Гегель выше очень многих и даже всех индуктивных ослов вместе взятых, именно потому, что он возвысился над тем эмпиризмом, который не умел перейти от частного к общему. В чем заключается отличительная черта р а ц и о н а л ь н о г о эмпиризма, на почве которого стоит диалектический материализм? Вопрос о возможности установления законов, всеобщности и необходимости их, разрешается не тем путем, каким, исходя из рассмотрения Юма, хотела итти докладчица. Диалектический материализм рассматривает общие понятия не как нечто лишь суб'ективное, чему ничто не соответствует в действительности, а как отражение того общего, что в ней имеется. На это стремились возразить (возражение это принадлежит Струве, по этой же линии пытался критиковать марксизм Зомбарт), что марксизм в данном случае впадает в средневековый реализм, что Маркс, признавая, что общие понятия соответствуют некой реальной действительности, таким образом, приходит к гипостазированию общих понятий и становится на почву гегелевского идеализма. На самом же деле упражнения Струве, все возражения Зомбарта и их современных подголосков не выдерживают никакой критики, так как средневековые схоластики считали, что понятия либо п р е д ш е с т в у ю т вещам, либо о б и т а ю т в них; мы же считаем, что общие понятия, создаваемые нашим мышлением, представляют лишь о т р а ж е н и я того общего, что есть в самих вещах.

В «Диалектике природы» Энгельса есть замечательная статья «Естествознание в мире духов». Энгельс обращает внимание на то, что очень многие крупные естествоиспытатели, стоящие на эмпирической точке зрения, признают существование неких таинственных суб'ектов, приходят к признанию существования духов, признают спиритизм и т. д. Почему же крупные умы, которые имеют дело в своей практической работе исключительно с материальными явлениями, оказываются признающими теоретически возможным существование духов? Об'яснение этого Энгельс видит в их ограниченном, вульгарном эмпиризме. Исходя из этого вульгарного эмпиризма, многие естествоиспытатели считают, что, не сходя с научной, эмпирической точки зрения, мы можем говорить лишь об отдельном, единичном, наши общие понятия не имеют реальной значимости, и поэтому для того, чтобы преодолеть спиритизм, естествоиспытатель должен в к а ж д о м д а н н о м с л у ч а е вскрыть подлог или обман. Именно в силу господства среди естествоиспытателей ограниченной, вульгарно-эмпирической точки зрения, некоторые из них приходили к признанию сверх'естественного, сверхчувственного, сверхопытного. Эта важнейшая мысль энгельсовской «Диалектики природы» осталась вне поля зрения докладчицы.

Несколько времени тому назад наши противники выступали против диалектиков с обвинениями в том, что диалектики-де слишком много занимаются Гегелем. Л. Аксельрод писала, что основная опасность для марксизма в настоящий момент заключается в соединении марксизма с гегелианством. После того, как представители механической точки зрения были основательно биты, после того, как появились «Конспект Гегеля» Ленина, «Диалектика природы» Энгельса, новые статьи Плеханова, наши противники не рискуют более выступать с огульным отрицанием Гегеля, теперь они хотят по-своему интерпретировать Гегеля, но то, как они это делают, способно привести всякого мало-мальски здравомыслящего марксиста в ужас.

Что находила ценного в методе Гегеля докладчица в своем сегодняшнем докладе? Как она определяла то основное, что внес Гегель в диалектический метод и что представляется важным и существенным для развития и изучения марксизма? Я оставляю в стороне школьные положения о тождестве и различии, потому что они общеизвестны и представляют лишь повторение того, что сейчас обычно говорится на любом семинарии по диалектическому материализму. Но как докладчица изложила основные положения диалектики о борьбе и единстве противоположностей? Что было сказано по этому вопросу докладчицей?

По Гегелю-де в каждой вещи борются два противоположно-направленные силы. Борьба этих двух противоположно-направленных сил и составляет суть гегелевского понимания диалектики, то, что мы должны из нее усвоить. Таков был ответ докладчицы.

В наше время Богданова читают мало, но если бы товарищи взяли некоторые его произведения, скажем, главу о так наз. организационной диалектике в «Тектологии» и другие, и вдумались в то, что он пишет, то они увидели бы, что Богданов именно в том и видит основной недостаток марксовской и энгельсовской диалектики, что они не сводили диалектику только к борьбе противоположных сил. В «Философии живого опыта» (стр. 248) он пишет, что Маркс и Энгельс «упустили из виду живой, реальный смысл диалектики» и «потеряли возможность об'яснить» отдельные ее законы, напр., закон перехода количества в качество, потому что они не рассматривали различные процессы как смены состояний равновесия, определяемого борьбою противоположных сил.

За марксистское докладчица выдала богдановское понимание диалектики. Такое понимание диалектики было еще у Дюринга, и Энгельс по поводу дюринговского «антагонизма сил» писал, что если гегелевское учение о сущности свести до плоской мысли о силах, движущихся в противоположном направлении, но не в противоречиях, то, разумеется, лучше всего вовсе уклониться от применения этого общего места («Анти-Дюринг», стр. 141).

Повторять точку зрения, которую развивал Богданов, как последнее слово ортодоксии, представляется в высшей степени странным. Ленин писал, что единство противоположностей заключается не только в борьбе противоположно-направленных сил. Единство противоположностей дано нам во всех явлениях природы. Всюду надо уметь его вскрыть. Докладчица говорила, что у Гегеля трудно найти какие-нибудь подходящие примеры, но даже в «Натурфилософии» достаточно обратить внимание хотя бы на то, что Гегель в свое время оценил революционизирующую роль электричества в физике именно потому, что он исходил из правильных медотологических предпосылок, подчеркивал в нем единство противоположностей, связанный с ним диалектический момент. Ленин указывает, что в каждом предложении заключено единство противоположностей,—в предложении «Иван есть человек» оно есть, так как в этом предложении уже дано единство отдельного и общего, отдельное есть общее. Вот это-то единство противоположностей и лежит в основе всех остальных диалектических законов и составляет суть диалектического метода.

При перечислении тех положений, которые составляют законы диалектики и основные особенности диалектического метода, докладчица странным образом упустила то, что на эту тему совершенно ясно говорит Энгельс. Он формулирует три основных закона—закон перехода качества в количество и обратно, закон взаимного проникновения противоположностей и так наз. закон триады.

В чем заключается закон перехода качества в количество и обратно, количества в качество, и почему проблема качества играет такую большую роль в наших спорах? Я приведу одно положение из Ленина. В заметках

«К вопросу о диалектике» он пишет: «Две основные (или две возможные? или две в истории наблюдающиеся?) концепции развития (эволюции) суть: развитие к(а)к уменьшение и увеличение, как повторение. И развитие, как единство противоположностей (раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между ними). Первая концепция мертва, бедна, суха. Вторая—жизненна. Только вторая дает ключ к «самодвижению» всего сущего; только она дает ключ к «скачкам», к «перерыву постепенности», к «превращению в противоположность», к уничтожению старого и возникновению нового» («Под Знам. Маркс.» №№ 5—6, 1925 г., стр. 15).

В чем смысл так называемой «качественной» точки зрения? В том ли, что сторонники этой точки зрения возвращаются к средневековью или к гомеомериям Анаксагора, или в чем-либо другом? Когда Энгельс пишет о значении качества и о том, что качество играет не меньшую роль, чем количество, то он совсем не стоит на точке зрения Анаксагора и вовсе не скатывается к средневековым темным качествам. Суть дела в том, что современные «качественники» признают, что всякое новое явление,—а марксизм есть прежде всего средство изучения того нового, что создается человеком и открывается ему в историческом развитии—представляет собой не только количественное уменьшение или увеличение, как говорит Ленин, а представляет создание неких новых образований, которые обладают своей специфической закономерностью.

В такой постановке вопроса следует искать ответ и на вопрос о сущности жизненной формы, которого здесь касалась докладчица.

Докладчица заявила, что принципиально отрицать возможность полного об'яснения всех явлений органической жизни физико-химическими процессами, это—не материализм и не диалектика. Она забыла добавить, что не-материалистом и не-диалектиком об'является ею таким образом прежде всех не кто иной, как Фридрих Энгельс.

Энгельс говорил, что мышление не может быть сведено к движению низших форм материи, что закономерность высшей формы не исчерпывается закономерностью низшей формы, ей предшествующей, что в высшей форме появляется новое. В том ли заключается это новое, что высшие формы возникают из каких-то особых жизненных сил, или в чем-либо другом? Виталисты, идеалисты современной биологии, считают, что явления жизни обусловливаются некоей особой жизненной силой и без наличия этой силы жизнь не может существовать, потому что жизнь принципиально не может быть результатом развития неорганической природы. Стоят на этой точке зрения диалектики? Ничего подобного! Жизнь является результатом развития неорганической природы, возникает на определенной ступени ее развития, может быть создана искусственно. Никто из диалектиков этого не отрицает. Но с того времени, когда в результате осложненного движения материи возникла некая новая более высокая форма, эта форма, ее развитие и движение не могут быть об'яснены только физико-химическим анализом, разложением на физико-химические компоненты, а должны быть об'яснены и синтетически, поняты как результат исторического развития и синтеза. На этом особенно настаивал К. А. Тимирязев, считавший, что проникновение исторического метода в биологию и представляет важнейшее достижение в ней за последнее столетие.

Что значит, что высшая форма не может быть сведена к низшей? Это значит, что ее развитие и жизнь не могут быть об'яснены из закономерности низших форм. Возьмем самый грубый пример, неосноримый для всякого марксиста.

Докладчица говорила, что отказаться от «сведения» какого-нибудь явления, в частности явления жизни, к физико-химическим процессам это зна-

чит отказаться от материализма. Если логически продолжать эту точку зрения, то значит и общественные явления научно можно познать, лишь сведя их к физико-химическим процессам. Я вас спрашиваю: много ли вы поймете в русской революции, если будете руководствоваться методом докладчицы? (Бурные аплодисменты).

Однако марксизм вовсе не отказывается от установления закономерностей общественной жизни.

Это — не аналогия, почему вы считаете этот пример неправильным? С каких пор марксисты стали проводить непроходимую пропасть между обществом и природой,—между ними есть качественное различие, но так же, как есть качественные различия и внутри самой природы. Да, есть такие люди, напр., Лукач, которые считают, что законы диалектики не применимы к явлениям природы, но это ничего общего с Марксом и Энгельсом не имеет, и если вы будете признавать специфическую закономерность высших форм в отношении к общественным явлениям, вы должны признавать тогда и специфическую закономерность в различных областях природы, об'ясняя ее исторически.

Сущность марксизма составляет исторический взгляд на природу, признание того, что в природе совершается развитие. Докладчица говорила, что мы заимствовали у Гегеля понятие развития. Но мало сказать это, надо вдуматься, в чем же заключается отличительный, специфический признак развития по сравнению с вульгарной эволюцией. Он заключается в признании возникновения новых, качественных образований, ибо, если нет новых качеств, то понятие развития сводится к простому количественному увеличению или уменьшению предмета, понятие развития исчезает в его настоящем диалектическом смысле.

Я не имею возможности остановиться на всех тех положениях, которые выдвигала докладчица по другим вопросам, в частности на так наз. формальном понимании Гегелем диалектики. Гегель несколько раз подчеркивает —и в предисловии к «Фемоненологии духа», и в конце «Науки логики», что формализм, схематизм есть то, что имеет место в диалектике Канта, Фихте и что ничего общего не имеет с истинной диалектикой. Конечно, Гегель и Маркс—противоположности, один—идеалист, другой—материалист, но вешать на Гегеля тех собак, в которых он не повинен, совершенно неосновательно.

Я перейду к последнему вопросу, на котором хотел бы остановиться, к вопросу о случайности. То, что здесь говорила докладчица, представляется в высокой степени странным после того, как была прочитана совершенно ясная цитата из Энгельса. В чем суть энгельсовской точки зрения? Докладчица говорила, что признание случайности об'ективной категорией—это вера в чудеса, а Энгельс говорит, что отрицание случайности не выводит нас из границ теологического представления о природе,—кто же прав, откуда такое противоречие между приведенной цитатой и данным к ней комментарием? Причина в том, что цитата не понята. Что говорит Энгельс?—Для того, чтобы иллюстрировать его точку зрения, я приведу популярный, школьный пример—вождь революции, В. И. Ленин, родился в Симбирской губ., в семье директора народных училищ, учился там, в определенном месте провел свою жизнь до того, как начал участвовать в революционном движении и т. д. Детерминировано ли было все это? Да, конечно, детерминировано было в том смысле, что здесь проявления какой-нибудь свободы воли, телеологического процесса и т. д. не было. Однако, если вы сравните ту закономерность, которая имела место в рождении В. И. в Симбирске, в отсталой, крестьянской губернии, в семье интеллигента, с общей линией развития и с той ролью, которую он играл в революционном движении, то одного рода эти обе закономерности или нет?—Это будут

разного рода закономерности. Одно дело — закономерность общей линии развития и другое дело—частные закономерности, их перекрещение, и в этом смысле случайность существует об'ективно, потому что если вы будете отрицать эту случайность, то вы придете к теологическим представлениям. Вы, пожалуй, признаете, что и вообще пролетарские революционеры должны рождаться в отсталых губерниях. Поэтому признание об'ективного существования случайности ни в какой мере не исключает того, что все причинно обусловлено, что никакой свободы воли нет. Но оно означает, что надо различать разные типы закономерности, есть такого рода закономерности, установление которых составляет задачу науки, и есть такие частные закономерности, изучение которых не представляет задач науки в силу их чрезвычайности, частности. И только тогда, когда они повторяются и воспроизводятся в многократном виде, они являются тем, на установление законов чего должно быть направлено научное знание.

Вот смысл гегелевского положения о значении случайности.

Я хотел остановиться еще на одном положении, которое не было выдвинуто сегодня в докладе, но которое представляется чрезвычайно важным в тех спорах, которые идут между нами и представителями точки зрения, защищавшейся докладчицей. Это проблема так наз. «простых законов права и нравственности». Мы расходимся ныне не только в философских вопросах, но, к сожалению, уже и в вопросах, относящихся к историческому материализму.

В чем заключается та точка зрения, которая защищается докладчицей в вопросах этики? Эта точка зрения заключается в том, что существуют некие об'ективные законы права и нравственности, универсальные и всеобщие в том смысле, в каком признает всеобщий моральный закон Кант, эти законы являются обязательными для всего человечества, в том числе и для пролетариата, на каждой данной ступени исторического развития. Эту точку зрения я не буду подвергать критике, эта точка зрения логически связана со всеми остальными современными воззрениями Л. Аксельрод, она непосредственно приводит к ревизии не только основных положений диалектического материализма, но и исторического материализма. Тот факт, что сейчас выступает единым фронтом целый ряд товарищей, которые либо не отдают себе отчета в положениях, которые выдвигают их союзники, либо не разделяют этих положений, но молчат об этом, чрезвычайно знаменателен. Если я спрошу А. К. Тимирязева: разделяете ли вы на вопросы этики точку зрения Л. И. Аксельрод—что он мне ответит на это?

Он ничего не может ответить, потому что он связан по рукам и ногам. Он должен молча принимать все заведомые отклонения от марксизма, которые делает тот или другой его союзник, ибо всех их об'единяет отрицательная позиция, борьба против истинного диалектического материализма. В этом—величайшая опасность, потому что здесь перед нами уже не научный спор, в котором каждый защищает ту точку зрения, которую считает истинной, а единый фронт, в котором покрываются прегрешения союзников для того, чтобы сообща бороться.

Несомненно, многие из вас, огромное большинство из тех, кто стоит на той точке зрения, которую я имею счастье защищать, воспитывались во многих отношениях на том, что писала Л. И. Аксельрод. Мы все учились на «Философских очерках», и поэтому, несомненно, нам чрезвычайно тяжело выступать здесь с такими резкими и заостренными обвинениями, как мне это пришлось сделать сегодня. Марксистские произведения Л. И. Аксельрод остаются для нас имеющими значение и посейчас, какова бы ни была личная судьба их творца. Но, товарищи, люди меняются; с тех пор, как были написаны «Философские очерки», многое изменилось и в исторической обстановке—совершилась революция, был Ленин, был поставлен целый ряд новых

вопросов. Если люди начинают отступать от своих старых точек зрения, то нам приходится сказать — друг Платон, но еще более высокий друг — истина, и во имя истины мы будем беспощадно бороться против всех точек зрения, которые ревизуют марксизм, каковы бы ни были заслуги их носителей в прошлом. Заслуги прошлого мы должны ценить, но против тех, кто развивает сейчас ревизионистские тенденции, мы должны бороться, и, несомненно, ленинизм победит (Аплодисменты).

Речь тов. Дмитриева.

Очень трудно возразить тов. Тимирязеву в его специальном вопросе о ящике с шариками. Очень трудно также возразить тов. Сарабьянову, потому что он выхватил несколько цитат из статей Деборина и пытался их опровергнуть, не понимая совершенно той связи и того смысла, какой они имели в целом. Мне тут невольно припомнилось, что в этом театре ставилась «Земля дыбом». Можно сказать после выступления т. Сарабьянова, что у него мозги дыбом.

Я остановлюсь на выступлении Л. И. Аксельрод.

Ответила ли она на те вопросы, которые были здесь поставлены — «коренные вопросы диалектического материализма»? О чем говорила Аксельрод? Всю ее речь можно разделить на две части: в первой части, — несомненной и вполне приемлемой для нас, — она изрекала истины, что материализм противоположен идеализму, что материализм исходит из материи, а идеализм—из сознания и т. д., во второй части, где она хотела поставить целый ряд вопросов, она поставила их очень путанно.

Ответа на тему «Коренные вопросы диалектического материализма» мы так и не получили. К этой теме Л. И. Аксельрод подошла абстрактно, повторяя общие, весьма важные, конечно, истины, но забывая о том, что в разные исторические эпохи, в разные времена эти истины по-разному наполняются конкретным содержанием. Вне зависимости от времени, исторической и социальной обстановки нельзя ставить эту тему, иначе впадешь в метафизику. Но что значит поставить конкретно тему о «коренных вопросах диалектического материализма»? Это значит—коренные вопросы диалектического материализма связать с основным фактом, кардинальнейшим событием нашей эпохи, с нашей пролетарской революцией. И только тогда мы найдем ответ на поставленный вопрос.

Дело происходит так, как - будто бы революции совершенно не было, как-будто бы мы спорим так же, как спорили 20—40 лет тому назад, как спорили тогда, когда зарождалась марксистская мысль. Ничего не изменилось, как - будто не было пролетарской революции.

Я считаю, что ответ на вопрос о том, что же является коренным вопросом в диалектическом материализме, надо искать в пролетарской революции. Новая эпоха поставила перед нами целый ряд новых вопросов, которые раньше еще не стояли. Какие же это вопросы, которые поставила перед нами пролетарская революция и которых Л. И. совершенно не заметила?

Новые вопросы вытекают из сущности того, что сейчас происходит. Материализм и марксизм пошли вширь, широчайшие массы сейчас привлечены к марксизму и изучению диалектического материализма. Повсюду сейчас в вузах, воскресных университетах, ленинских и марксистских кружках и даже кое - где в нормальных школах идет изучение марксизма и диалектического материализма. Существует целая сеть учреждений, специальная задача которых состоит в постановке и разрешении вопросов марксистской философии. Уже это одно обстоятельство выдвигает перед нами особую задачу популяризации, а вместе с тем

систематического последовательного изложения идей диалектического материализма. Но к этому присоединяются также требования отдельных наук. Политическая экономия перед нами выдвигает вопрос о методе, о возможности применения математики, о соотношении формы и содержания и т. д. (Шум). Биология, механика и естествознание выдвигает перед нами целый ряд своих специальных, но все же общих и философских вопросов, напр.: о реальности биологического вида, о случайности и причинности, о специфической характеристике жизненных явлений и т. д. Все эти специальные вопросы в конце концов и сводятся к тому ж—нужно во весь рост поставить вопрос о теории диалектики, вопрос о самом методе диалектического материализма. Метод диалектического материализма в специальных областях невольно вызывает вопрос о сущности самого метода, о самой материалистической диалектике. Эти вопросы и поставлены, как коренные, во весь рост Дебориным. На них не дала ответа Аксельрод, потому что пролетарская революция прошла мимо нее.

В сущности, правильно и обратное: революция потому прошла мимо нее, что она прошла сама мимо революции. Маленький, но чрезвычайно характерный штрих. Есть предисловие Л. И. Аксельрод к 4-му изданию ее «Философских очерков». В этом маленьком предисловии как молнией освещается вся сущность самой Л И. Аксельрод. Дело в том, что «Философские очерки» писались в 1906 году и были направлены против русских философов-идеалистов и, в частности, против Богданова. И тогда Л. И. употребила резкие полемические возражения в этих «Философских очерках». Потом уже в 1923 году при новом издании «Философских очерков» Л. И. заявила, что она снимает эти полемические выражения против «глубоко уважаемого» Богданова. Как раз задолго перед этим, по поручению Ленина, в 1920 году тов. Невский писал о «Реакционной философии» Богданова, где он резко характеризовал философию Богданова, как вредную и реакционную. В это же время происходит трогательное единение между Богдановым и Аксельрод, по той причине, что революция прошла не только мимо Богданова, но и мимо Л. И. Аксельрод. В той фракции, которую возглавляет Л. И., мы находим всякий философский сброд, начиная от путанников-эмпириков, механистов, картезианцев и кончая фрейдистами. Командор, сердитый рецензент, которого боится Л. И., всегда будет стоять перед ней, до тех пор пока она будет защищать эту оппозиционную, направленную против диалектического материализма фракцию.

Речь тов. Левита.

Я не собирался выступать, потому что полагаю, что на таком собрании коренные вопросы диалектического материализма разрешить очень трудно, тем не менее я был вынужден взять слово, потому что после выступлений некоторых товарищей естественников может получиться впечатление, что здесь действительно идет спор между философами и естественниками. Так старались изображать дело три года тому назад, и три года тому назад действительно можно было говорить о споре между философами, с одной стороны, и естественниками — с другой.

Но сегодня об этом говорить по меньшей мере поздно. За эти три года создалось в Москве два общества: Общество врачей - материалистов, Общество биологов-материалистов, и за все это время ни одного доклада механистами в этих обществах не было сделано, не только не было сделано ни одного доклада по конкретным практическим вопросам, но и о методе диалектического материализма ни разу, ни одного слова механисты не сказали.

Вот как обстоит дело. На самом деле, это отнюдь не спор между естественниками и философами, поскольку имеется организованная группа естественников, эти два общества об'единяют около 300 человек, и все принадлежат к одному лагерю, представителями которых являются выступавшие здесь философы, не те, кто устроил этот диспут.

Наиболее больным вопросом, который вызывает упорное непонимание не только со стороны масс, но и со стороны лидеров, является вопрос о сведении жизни к неорганическим явлениям. Когда мы ставили конкретные проблемы изучения жизненных явлений, механисты ни разу по существу не сказали ни слова. Тов. Карев коснулся общей методологической стороны вопроса. Суть дела заключается в том, что каждая форма материи на каждом этапе развития ее имеет специфические формы связи, которые характерны для данной формы материи и которые не имеют места на низших ступенях ее строения. Поэтому, когда мы говорим о разложении живого существа на неживые элементы, мы говорим, что это надо делать, и мы это ежедневно делаем в лабораториях, но, когда мы это делаем, мы разрушаем то, чем отличается это живое от неживого, мы разрываем те специфические связи, которые здесь существуют. Конкретные связи—это не то, что выдумано философами из головы. Когда вы производите бесконечные анализы, вы поступаете правильно, вы нас приближаете к истине, но, приближая к этой истине, вы разрезаете то специфическое, что здесь есть.

Нелепо здесь говорить о каком-нибудь витализме. Здесь ссылались на статью Вас. Слепкова о Фишире также неправильно. Какой момент заострил в своей статье Слепков—и правильно сделал, ибо Фишер больше понимает в патологии, чем Перов? Дело заключается в том, что Фишер сознательно подчеркнул то качественное своеобразие, которое имеется в живом веществе по сравнению с неживым. На этот конкретный момент упирает Слепков, и здесь, действительно, Фишер дает четкие и хорошие формулировки. Разве для нас Фишер—учитель биологии вообще, и разве об этом говорил Слепков? Он говорил о том конкретном, что имеется хорошего у Фишера, а это безусловно правильно. Не кто иные, как лидеры Тимирязевского института—тов. Перов и его соратник тов. Боссе—выпустили книгу, где они восхваляют Ледюка, где они попытку создания имитации живого из неорганических солей выдают за действительный синтез жизни. Кто имеет мало-мальски азбучное представление о биологии, тот понимает, что это вздор, а не синтез живого существа, и в этом смысле Фишер стоит на 100 голов выше их.

Несмотря на то, что здесь много кричат о том, что мы являемся виталистами, нашу практическую борьбу с виталистами мы проводим ежедневно в лабораториях, кабинетах и т. д. В этой борьбе с нами механисты путаются под ногами. Несмотря на резкое разногласие между ними и виталистами, и для них, и для виталистов живое абсолютно оторвано от неживого. Здесь между ними сходство. Мы против и тех, и других, для нас нет ни абсолютного сходства, ни абсолютного разрыва между живым и неживым.

Речь тов. Подволоцкого.

Товарищи Карев, Дмитриев и Левит сказали уже все существенное о содержании доклада и доказали ревизионистский характер положений, выдвинутых механистами. Поэтому я хочу сначала отметить другую сторону вопроса: развитие и изменение взглядов механистов. Чтобы лучше понять позицию механистов, нужно рассмотреть историю наших разногласий. Самый

беглый взгляд на эту историю показывает, что механисты отказываются теперь от защиты некоторых основных своих положений, выдвинутых ими два три года тому назад. С этими положениями теперь, перед этой аудиторией, находящиеся здесь механисты не смели выйти.

Здесь много членов Тимирязевского института. Может быть, они вспомнят, как на одном из заседаний Тимирязевского института они «упразднили» марксистскую философию. Это было в то время, когда тов. Степанов выступил со своим известным положением, отождествлявшим марксистскую философию с современным естествознанием или с выводами современного естествознания. Это по сути дела означало уничтожение марксистской философии (Голос с места: «Прочтите»); требуете цитат, — читаю: «Исторический материализм продолжает то дело, которое в одной своей части выполнено философским материализмом, или, употребляя более ясное и прямое выражение, выполнено современным естествознанием;... материалистическая философия для марксистов—последние и наиболее общие выводы современной науки («Историч. материализм и соврем. естествознание», стр. 56).

Итак, философия марксизма приравнивается современному естествознанию. В ответ на это Тимирязевский институт принял резолюцию, в которой было официально заявлено о согласии с этими взглядами тов. Степанова.

Следовательно, 2—3 года тому назад механисты выступали более последовательно и ярко. Они выставляли действительно принципиальную позицию. Они упраздняли марксистскую философию, заменяли ее современным естествознанием.

Из этой позиции неизбежно вытекало упразднение философского материализма и теории диалектики. Марксистская философия—диалектический материализм имеет два момента (неразрывно связанных): философский материализм и материалистическую диалектику. Если развитие естествознания делает ненужной, упраздняет и заменяет собою марксистскую философию, то тем самым устраняется диалектика, как наука, и устраняется философский материализм. Об устранении теории диалектики механисты говорят и теперь, правда, не так резко, как они говорили раньше. Но они уже не смеют говорить о замене философского материализма выводами современного естествознания. А было время, когда они это говорили. Мы уже видели, что механисты приравнивали философский материализм современному естествознанию. «Философский материализм... или современное естествознание», говорили они. А вот еще одно из их положений, сущность которого сводится к отрицанию философского материализма. «Современные научные воззрения на природу я называю в своей книжке сначала «общефилософским» или просто «философским материализмом», так как первоначально они были достоянием известного течения философии; затем я значительно конкретизирую и определяю эти воззрения как «механическое понимание природы», так как современная наука, унаследовав то ценное, что было в философском материализме, претворила его в механистическое истолкование мира» («Под Знам. Маркс.» 1925 г., № 3, стр. 218). Следовательно, то, что ранее было философским материализмом, теперь конкретизировалось и определилось как механистическое естествознание. Механистическое естествознание заменило философский материализм. Вопросы философского материализма, т.-е. вопрос об об'ективности мира, об отношении сознания к материи, подменяются естественно-научным учением о строении материи. Вопрос о материи, как философской категории, подменяется вопросом о строении материи, вопросом об электронах и протонах. Ленин в свое время ругал махистов за то, что они подменяют философскую постановку вопроса о материи тем или иным физическим учением о строении материи, что они устраняли, об'являли устаревшим философский материализм.

Механисты теперь делают аналогичную ошибку, ведущую к устранению философского материализма.

Далее механисты приходили к выводу, что протоны и электроны—это и есть материя, как таковая. Здесь выступал т. Сарабьянов и кричал: «Вы, деборинцы, не признаете целостности предметов, вы признаете только части, тождество». Нашим же добром, да нам же челом. Все знают, что именно тов. Деборин в противовес механистам развил понятие предмета, как коллектива, как целостности, единства, не сводимого в сумме частей. Наоборот, механисты сводили высшие качества к сумме низших, сводили целое, коллектив к сумме частей. Они об'являли материей, как таковой, только протоны и электроны, а последние считал тождественными частицами, т.-е. сводил материю к тождественным частицам. Об этом же говорится в механическом сборнике «Диалектика в природе» (сборник II). Но что значит тождественные частицы? Это есть отрицание в них внутреннего движения, единства противоположностей, отрицание всяких свойств, качества, ибо наличие качества означает отрицание абстрактной тождественности.

Механисты теперь уже не смеют говорить о сведении философского материализма к выводам естествознания, но они еще не отказались от отрицания диалектики, как особой науки о всеобщих законах движения и законах мышления и от сведения диалектики к механике. Доклад Аксельрод полностью это подтверждает. Говорила ли она нам о необходимости разработки теории материалистической диалектики? Нет. Мы от нее слышали, что нужно изучать отдельные факты, конкретные законы отдельных областей. А если итти дальше и на основе фактов и конкретных законов изучать всеобщие законы движения, т.-е. диалектические законы—это, по мнению Аксельрод, есть отход от марксизма, ибо марксизм она понимает как эмпиризмы.

Маркс, Энгельс, Плеханов и Ленин считали диалектику наукой о наиболее общих законах всякого движения и законах мышления, от такого понимания диалектики и уничтожают самую постановку вопроса о теории диалектики. Они противопоставляют диалектику фактам, всеобщие диалектические законы—конкретным законам естествознания. Делать это—значит не понимать ни философии, ни естествознания. Естествознание, как и всякая наука, строит свои обобщения при помощи категорий логики. Во всяком предложении, во всякой мысли,—говорит Ленин,—как в зародыше, заключены все элементы диалектики. Всеобщие категории, без которых невозможно мышление и, следовательно, невозможна наука, есть отражение в мысли всеобщих законов движения. Для того, чтобы понять эти категории, сознательно ими пользоваться и строить сознательно диалектическое естествознание, нужна разработка категорий диалектической логики. А так как категории соответствуют всеобщим законам движения, то необходима разработка диалектики, как науки о всеобщих законах движения.

Механисты отрицают диалектику, как науку о всеобщих законах движения и мышления, и поэтому отрицают ее как всеобщую методологию науки. По мнению тов. Степанова, вопрос о том—быть или не быть теории диалектики—это вопрос не принципа, а вопрос педагогической целесообразности?

Не понимая диалектики, как науки, не понимая природы диалектических понятий (вернее, понимая понятия как суб'ективные абстракции), механисты в своем сборнике «Диалектика (?) в природе» ругают сторонников диалектического материализма за то, что последние исследуют понятия, диалектические категории. Механисты называют такое исследование природы понятий схоластикой.

Но посмотрим, что говорит Энгельс. «По типу все эти методы, т.-е. все известные обычной логике средства научного исследования вполне одинаковы у человека и у высших животных. Только по степени (развития соответственного метода) они различны. Наоборот, диалектическая мысль—именно потому, что она предполагает исследование природы самих понятий, свойственна только человеку, да и последнему лишь на сравнительно высокой ступени развития (буддисты и греки), и достигает своего полного развития только значительно позже в современной философии» (Энгельс, «Диалектика природы», стр. 59).

Итак. Исследование природы понятий является необходимой функцией диалектической логики. Диалектическая мысль, отправляясь от конкретных эмпирических фактов, познавая их внутренние связи, возвышается от единичного к всеобщему, к познанию законов и далее, на основе познания этих законов, возвышается к познанию всеобщих законов движения, диалектических законов, обобщая их в теорию диалектики. Об'ективные диалектические законы отражаются в нашем сознании как категории мышления. Лишь познав категории мышления, мы можем сознательно—диалектически подходить к научному познанию.

Позиция механистов приводит их к тому, что признание даже таких диалектических законов, которые прежде не вызывали никаких сомнений, как, например, закон скачка, квалифицируется механистами как гегельянщина. «Такие бесспорно «философские» термины, как переход количества в качество, — говорит Боричевский, — это—чисто-гегельянская терминология; положительной науке она и даром не нужна». Отсюда естественно, что другие категории логики и теории диалектики в целом об'являются схоластикой. Отвергая теорию диалектики, механисты сводят ее к механическому пониманию мира. «Диалектическое понимание,— говорит один из механистов,—слишком общее название. Для настоящего времени диалектическое понимание природы конкретизируется именно, как механическое понимание» («Большевик» 1924 г., № 14, стр. 85).

Итак. Отрицание философии, устранение философского материализма и диалектики — такова первоначальная позиция механистов. Отрицание теории диалектики, замена диалектики механикой — такова их основная ошибка теперь.

Не поняв марксистской философии, механисты заняли абсолютно неправильную позицию в вопросе о соотношении философии и естествознания. Механисты считали, что современную науку нужно оградить от влияния марксистской философии, что необходимо спасать науку «от мрака и произвола» марксистской философии. В этом ярко выявляется полное непонимание соотношения философии и естествознания. Естествознание развилось в теснейшей связи с философией. Современное естествознание пронизано буржуазной философией. Мы имеем в нем влияние формальной логики и идеализма. Устранение влияния марксистской философии на естествознание, отказ от марксистского философского обоснования естествознания и принятие без критики всех его выводов и построений — означало бы не устранение влияния философии вообще на естествознание, а оставление естествознания под влиянием и руководством буржуазной философии. Позиция механистов ведет к капитуляции марксизма перед буржуазной идеологией. Об этом ясно говорит Ленин: «Мы должны понять, что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания».

Отказ механистов от марксистского философского обоснования современного естествознания есть выражение их собственного подчинения влиянию буржуазной идеологии.

Аксельрод обвиняла здесь диалектических материалистов в схоластике в навязывании готовых схем действительности и проч. Но эти обвинения нам не страшны. Такие же обвинения Аксельрод бросала по адресу Ленина; нет ничего удивительного в том, если эти обвинения теперь сыплются и против тех, кто защищает ленинские взгляды. Вот что говорила Аксельрод о Ленине: «Ленин всегда... был плохим, поверхностным марксистом». У Ленина нет «ни гибкости философского мышления, ни точности философских определений, ни глубокого понимания философских проблем». «Сознательный метафизик Толстой оказался по данному важному вопросу солидарен с бессознательным метафизиком Лениным по той причине, что и тот и другой смотрят на окружающую действительность не с точки зрения ее внутреннего необходимого развития, а с точки зрения готовой, заранее определенной схемы». Чтобы подчеркнуть еще более метафизичность Ленина, Л. И. Аксельрод добавляет, что «это совпадение не случайного характера, что существует «внутреннее сходство между методом мышления Толстого и способом рассуждения большевиков».

Вам понятно теперь, товарищи, почему Аксельрод говорит о схоластике и навязывании готовых схем?

У меня нет времени остановиться на многих других вопросах, в которых механисты отходят от марксизма.

Итог. Мы имеем отход от марксизма бывших марксистов. Уходя все далее от марксизма, они смыкаются с открытыми критиками марксизма. Мы наблюдаем теперь своеобразный блок бывших марксистов с бывшими и настоящими махистами, фрейдистами и пр. В этом отношении интересен доклад Богданова в Комм. Академии[1]), в котором Богданов развивал взгляды, совпадающие по целому ряду вопросов со взглядами механистов. Это было отмечено тогда же в прениях по докладу. В ответ на это и сам Богданов заявил, что у него с механистами «единство есть». Это «единство» есть единство их позиций в критике, в ревизии марксизма. (Аплодисменты.)

[1]) См. «Вестник Комм. Академии», кн. 21. Доклад А. Богданова «Пределы научности рассуждений».

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ.

Kurt Zimmermann. Das Krisenproblem in der neueren national-ökonomishen Theorie. 1927).

Рецензируемая книга далеко не охватывает всей поставленной автором проблемы. Некоторые из современных экономистов (Гильфердинг, Пигу, Момберт, Репке, Митчель, американская школа исследования кон'юнктур) совсем не затронуты автором, другие рассматриваются слишком бегло и недостаточно. Проблема кризисов трудная и многосложная, и книга К. Циммермана проходит мимо многих основных сторон ее; между прочим, в ней не освещен также взгляд на кризисы с точки зрения обновления основного капитала (Маркс, Гильфердинг). Тем не менее, в виду важности самой темы, книга Циммермана представляет известный интерес. Ниже мы даем выжимку самого существенного из содержания ее, опускаем только изложение теории Тугана-Барановского.

Прежде всего отметим течение, которое вообще считает невозможным теоретическое об'яснение проблемы кризисов в целом и признает только «индивидуальный» подход к каждому кризису в отдельности. Так, например, Лотц на первом с'езде германских банкиров во Франкфурте в 1902 г. высказывался в том смысле, что каждый кризис требует специального изучения и может быть об'яснен только таким путем; Фридрих Науман (на 13-м евангелическом социальном конгрессе в 1902 г.) тоже высказывался по поводу реферата Поле о кризисах следующим образом: не будем доискиваться того, что представляют собой кризисы вообще, вопрос должен быть поставлен в другой плоскости, а именно, как об'ясняется то болезненное состояние (kranker Zustand), которое в определенный, данный момент переживается народным хозяйством? Да и в самое последнее время такой крупный буржуазный теоретик, как Диль (Theoretische Nationalökonomie, 1924 г.), пишет: «Выступающая в новейшей теории тенденция заменить теорию кризиса теорией кон'юнктуры не представляется мне достижением сравнительно со старой теорией»; Диль тоже держится того мнения, что каждый кризис представляет собой особое историческое явление, которое необходимо изучать отдельно, тогда как кон'юнктуры представляют собой равномерную смену под'ема и упадка, не имеющую ничего общего с кризисами. Этот взгляд Диля тем характерен, что тот же Диль ставил задачей теории кризисов «установить общие причинные связи между кризисами и хозяйственным строем». Поскольку каждый кризис об'является «особым историческим явлением», эта общая теоретическая задача об'яснения кризисов заранее оказывается неосуществимой, терпит крах. Новейшая буржуазная политическая экономия сама пасует здесь перед трудностями проблемы, подсказывает свое собственное testimonium paupertatis (свидетельство о бедности). Лотц, Диль и Фр. Науман в сущности вернулись к эклектизму исторической школы, которая об'являла проблему кризисов «многоголовой гидрой», при чем Рошер приводил целый каталог возможных причин кризисов, а один из позднейших последователей этой школы (Ruhkopf, Rodbertus' Theorie von den Handels-Krisen, 1892) заявлял

категорически: «Проблему кризисов нельзя втиснуть в Прокрустово ложе той или другой определенной формулы».

Мы привели выше слова Фр. Наумана о кризисах, как болезненном состоянии хозяйства. Вопрос о «нормальном» состоянии хозяйства тоже причиняет немалую головоломку буржуазным экономистам. При этом имеется большое методологическое разногласие о самом понятии нормального; Маршаллю пришлось доказывать, что в понятии нормального должен быть исключен телеологический, целевой момент и заменен признаком закономерного. Но после этого осталась следующая проблема: считать ли нормальным состояние застоя или под'ема? Любопытно, что целый ряд новейших буржуазных теоретиков, в том числе и Зомбарт, считают для капитализма «нормальным» именно состояние застоя, точнее — депрессии. В этом смысле высказывался еще Жюглар (Clement Juglar, Des crises commerciales et de leur rétour périodique, 1889). Он доказывал, что корень кризиса лежит в hausse (стадии повышения цен, под'ема), и подчеркивал ошибочность обычного воззрения на эту стадию, как на нормальное, здоровое состояние (état normal, état de la santé). Аналогично рассуждает Лифман (Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Band 113): «Мне кажется, что так называемое время застоя в сущности есть нормальное состояние (время) народного хозяйства, и что политическая экономия не должна относиться к нему пессимистически. Это — время, когда нет особенно высоких прибылей, но нет также и значительных потерь, и хозяйство в широкой мере остается в равновесии». Май (в том же томе) высказывается еще определеннее: «Нет ни одной значительной hausse (под'ема), за которым бы не следовало кризиса. Итак, экономическое равновесие нарушается не стадией упадка (baisse), а стадией под'ема. Естественным состоянием является «baisse». Наконец, в том же томе «Исследований Общества социальной политики» высказывается на тему о кризисах Зомбарт — тоже в этом смысле: «Естественное состояние хозяйства, поскольку можно говорить об этом, это—состояние депрессии» [1]). В связи с этим Зомбарт проводит различие между теорией депрессии и теорией кризисов; депрессии он называет первичными кризисами капитала (primäre Kapitalkrisen) [2]), они вытекают непосредственно из капиталистической организации производства, что же касается т. н. вторичных кризисов капитала, то они следуют лишь за предшествующими им периодами под'ема, которые, по Зомбарту, не вытекают из самой структуры капиталистического хозяйства. «Периодические кризисы, о которых говорит Маркс, вообще не иманентные явления капиталистического хозяйства, а случайные осложнения—результат столь же случайных периодов под'ема. Из природы капиталистического хозяйства вытекают, напротив, хронические депрессии; мы имели их пока только от середины 70-х до конца 80-х годов, они снова наступят тогда, когда добыча благородных металлов пойдет более спокойным темпом» (Sozialismus und soziale Bewegung). Итак, «природа капитализма» — хроническая депрессия. Впрочем, это понимается Зомбартом далеко не в революционном смысле. С новым наступлением хронической депрессии, — продолжает он, — исчезнут резкие симптомы болезни, следовательно, капиталистическое хозяйство будет готовить себе не могилу, а только ложе больного, на котором, однако, оно сможет прожить еще неведомо сколько (unabsehbare Zeit)».

[1]) В 1904 году, в своей Versuch einer Systematik der Theorie der Wirtschaftskrisen, Зомбарт, приводя несколько экзотическое сравнение с морфинизмом и половым актом, ставит «риторически» вопрос, считать ли «нормальным» повышенную нервной деятельности или следующее затем ослабление ее. Переходя к экономике, он подчеркивает, что точно также и здесь трудно определенно утверждать, что нормальным является состояние под'ема или депрессии.

[2]) Зомбарт различает «простые кризисы сбыта» и «кризисы капитала», причем только последние вытекают «из предложения», т.-е. из области производства.

Остановимся еще несколько на Зомбартовской теории кризисов. Он считает великой заслугой меркантилистов, что они, в отличие от «статического мышления физиократов», поняли, что колесо производства приводится в движение только деньгами (Moderner Kapitalismus, Bd. 2, II, S. 1153); Зомбарт считает, что меркантилисты ценили деньги именно, как стимул производства, а не ради них самих. Самым основным, первичным фактором в росте раннего капитализма Зомбарт считает рост количества благородных металлов. Усиленная добыча золота в XIX веке тоже сыграла подобную роль. Толчок вверх дается только от роста добычи золота, от роста цен; «кружным путем через усиленное обилие денег капиталистическое хозяйство создает из себя большой рынок». Наступает под'ем, но в конце концов золота все же непременно оказывается мало,—т. н. Golddecke, золотой потолок, золотой предел — в сравнении с увеличившимся производством и оборотом, наступает кризис.

Но почему и каким образом производство, стимулируемое в первую очередь только золотом, неминуемо обгоняет его в период под'ема? На этот вопрос Зомбарт в сущности не дал ответа с 1903 года до последнего времени. Вместо этого он, как и Туган-Барановский, строит кризисы на диспропорциональности производства средств производства и производства средств потребления. Это деление взято у Маркса, хотя, как мы видели, Зомбарт называл Марксовы периодические кризисы «вообще не имманентными явлениями капиталистического хозяйства». Заимствование у Маркса замаскировано у Зомбарта особой терминологией: оба вышеупомянутых подразделения производства фигурируют у него как «анорганическая» и «органическая промышленность».

Впрочем, Зомбарт по-своему «дополняет» эту Марксову схему, приводя ее в противоестественную связь со своим учением о приоритете денежной стороны, добычи золота. При этом остается неясным, каким образом возможно об'яснить периодичность кризисов кривою добычи золота. Период 1810—1850 гг. вмещает в себе в Англии кризисы 1815, 1819, 1825, 1836, 1847 гг., которым всегда предшествовал соответственный под'ем, а между тем, весь этот период характеризуется недостаточной добычей золота, продолжавшейся вплоть до открытия приисков в Калифорнии [1]). Заявляя: «Поскольку я вижу, существует только одно средство достигнуть длительного повышения цен (Preishausse), это — сильное и длительное увеличение добычи золота или металла, заменяющего деньги» (Schriften des Ver. f. Soz., 113).

Переходим к другим современным авторам. В новейшей немецкой буржуазной политической экономии поднимают на щит, рекламируют в особенности Шумпетера. Однако его Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretichen Nationalökonomie, 1908, представляет собой совершенно неприемлемое и бессодержательное, вульгарное психологизирование экономики. Шумпетер прежде всего устраняет из своего изложения понятие стоимости; это, по его представлению, должно сделать политическую экономию «точной наукой». Но что получается у него на самом деле? Во главу угла Шумпетер кладет деление хозяйственной жизни на «статику» и «динамику»; при этом он проводит также деление хозяйствующих суб'ектов на «пассивный» и «энергичный» типы, первые «приспособляются» к статике (впрочем, под статикой Шумпетер разумеет и многие изменения хозяйства), вторые

[1]) К. Бирмер (Die neuzeitliche Goldproduktion und ihr Einfluss auf das Wirtschaftsleben) указывает в возражение Зомбарту также на следующее: после чрезвычайного усиления добычи золота в 1895—1899 гг. наступил бурный под'ем, а затем кризис в Германии, отчасти также в Бельгии; однако в Англии и Франции было лишь некоторое оживление, но не настоящая hausse и во всяком случае не последовало кризиса.

создают новые комбинации, они движимы «любовью к власти» (Freude an Macht), они «цельные люди» (ganze Kerle), они создали (!) новейшую индустрию, тогда как пассивный элемент действует только в смысле «гедонизма» (!), только приспособляется! Эту ницшевскую пошлятину Шумпетер разводит на сотнях страниц. На ней он строит свое «об'яснение волнообразного движения капиталистической экономики: «энергичный» тип создает под'ем, динамику, «гедонический» тип снова приспособляется к статике. В результате оказывается, что кризисы вообще не нуждаются в теоретическом об'яснении, так как они «вытекают из ошибок в калькуляции, т.-е. из неэкономических факторов»! «Возникают вихри в море хозяйства, издевающиеся над всякими попытками теоретического об'яснения»... Как видим, Шумпетер начал за здравие и кончил за упокой. Он тоже не зажег моря. Он тоже расписывается в своем бессилии об'яснить кризисы, это тоже testimonium paupertatis.

Амонн (профессор в немецком университете в Праге) пытается вложить конкретное экономическое содержание в эту Шумпетерскую идеалистическую схему. В своей книге Grundlagen der Volkswohlstandslehre, 1926, он тоже «об'ясняет» перелом от под'ема к ликвидации или кризису прекращением предпринимательской деятельности (!), после чего «статизирующие силы» ведут снова к равновесию. У него тоже атомизм «комбинаций», хотя он пытается вложить в них экономический субстрат, конкретизируя их как введение нового инструмента, основание нового предприятия и пр.

Ирвинг-Фишер (The purchasing power of money, 1911) вводит новый момент: отставание процента. Последний не сразу приспособляется к увеличившейся денежной массе и уменьшившейся покупательной силе денежной единицы. Это стимулирует брать усиленные кредиты. Таким образом об'ясняется фаза под'ема в волнообразном движении кон'юнктуры. Фишер стоит на почве количественной теории денег.

Штукен (Stucken, Theorie der Konjunkturschwankungen, 1926) создает комбинацию из теорий Зомбарта, Фишера и Афталиона (о последнем ниже). Он подчеркивает, что рост производства должен обнаруживать некоторое отставание, запаздывание сравнительно с ростом добычи благородных металлов, это запаздывание обусловливается тем, что необходимо известное время на расширение производственных установок.

Шпитгофф работает с 1902 г. исключительно по вопросу о кризисах и кон'юнктуре, опубликовал ряд работ в журнале Шмоллера, затем книгу: Beiträge zur Analyse und Theorie der allgemeinen Wirtschaftskrisen, 1905, ему же принадлежит статья о кризисах в 4-м издании Handvörterbuch der Staatswissenschaften. Но главная его работа, das Hauptwerk, все еще ожидается, еще не появилась. В сущности, он придерживается теории диспропорциональности Туган-Барановского, лишь несколько изменяет цифровые выкладки Тугана, рассматривая цикл производства в восемь лет и вводя свою терминологию: его «Ertragsgüter», это те же средства производства, с добавлением «средств потребления с длительным сроком потребления», как-то: дома и т. п. В конце концов, это тоже только терминология отличает эту схему от Зомбартовского деления на анорганическую и органическую промышленность. Шпитгофф ставит вопрос: перепроизводство в «анорганической» отрасли и л и недопроизводство в «органической» отрасли? Туган делает ударение на первом, Зомбарт—на втором. Шпитгофф бьется как рыба об лед над этой альтернативой, разрешенной Марксом диалектически. Денежный капитал,—говорит Шпитгофф,—затемняет, маскирует недопроизводство в органической отрасли (т.-е. в производстве средств потребления); по Марксу, как известно, эта маскировка об'ясняется тем, что недостаток денежного капитала является лишь другой

стороной перепроизводства товаров (в производстве средств производства). С другой стороны, Шпитгофф об'ясняет «болезненные состояния хозяйства» перенапряжением кредита, а «бурные сотрясения хозяйства»—кредитным крахом. Отметим еще лишь, что по Шпитгоффу за депрессией или застоем не должна обязательно следовать фаза под'ема. Итак, у этого писателя мы тоже имеем, в сущности, отказ от теоретического об'яснения самой проблемы периодических кризисов и волнообразного хода кон'юнктуры! Тоже признание в собственном теоретическом бессилии! И уж совсем безнадежна и не научна ссылка Шпитгоффа на психологию: мотивы капиталистов и предпринимателей (обе категории различаются в духе Шумпетера: капиталист только получает процент, предприниматель же представляет собой «энергичный тип») подлежат периодичной смене инстинктов (Periodizität des Trieblebens). Итак, понадобилась работа всей жизни этого буржуазного экономиста, чтобы притти к такому плоскому трюизму и об'яснять кризисы и кон'юнктуру периодичностью инстинктов, чуть ли не—sit venia verbo!—своего рода течкой... .

Поле (Bevölkerungsbewegung, Kapitalbildung und periodische Wirtschaftskrisen, 1902; Die periodischen Wirtschaftskrisen und die Unterkonsumtionstheorie, 1903; Die geganwärtige Krisis in der deutschen Volkswirtschaftslehre, 1921; Konjunkturschwankungen, 1910) выдвигает на первый план увеличение населения.

Этот фактор еще менее может служить об'яснением периодических кризисов, чем «цикл урожаев», выдвинутый Генрихом Дитцелем в 1910 г. и повторяющий, в сущности, теорию физиократов о «чистом продукте» (produit net) сельского хозяйства (как видим, Зомбарт с его похвалой меркантилистам имеет здесь, в Дитцеле, своего антипода). Поле нашел также следующую новую диспропорциональность: расхождение во времени между образованием свободных ссудных капиталов и вложением их в производственные установки. «Когда накопленных свободных ссудных капиталов и сбереженных в текущем году капиталов оказывается недостаточно для оплаты товаров (Kapitalgüter), произведенных в этот период», возникает кризис. Но почему их оказалось недостаточно? [1]) И каким образом рост населения выравнивает этот недостаток при каждом переломе волны? При всем обилии писаний Поле, при всей его гелертерской путаности, он, в сущности, вертится вокруг самых элементарных проблем, не давая на них ответа. Впрочем, это можно сказать обо всех буржуазных теоретиках: они вертятся вокруг да около проблемы кризисов, wie die Katz um's Brei, словно кошка вокруг каши... Отметим еще один пункт у этого автора: ссудные капиталы у него уменьшаются отчасти вследствие того, что растут доходы низших классов! Уж не говоря о неправдоподобности этой конструкции, казалось бы, что «рост доходов низших классов», напротив, должен был бы противодействовать кризисам, в частности, поскольку последние вытекают из недопотребления!

Кассель (Theoretische Sozialökonomie, 1918), как известно, тоже, как и Шумпетер, строит свою теорию экономики без понятия стоимости, при чем получается ворох путаницы и ряд курьезов. Во главу угла Кассель ставит цены, при чем они определяются не только «редкостью» (Knappheit), но и такими факторами, как изменение возрастного и полового состава населения! Эти «внешние факторы», действуя на отношения цен, вызывают, по Касселю, волнообразные движения кон'юнктуры и кризисы! Впрочем, в одном месте (стр. 470) Кассель признает, что «смена периодов под'ема и упадка является по своей внутренней природе вариацией в производстве основного (fest)

[1]) В конце концов, ссудный капитал ведь тоже предполагает в своей основе реальные товары.

капитала, но не находится ни в какой связи с прочим производством». Амонн, а также Циммерман критикуют это место у Касселя, находят его темных и уязвимым. Амонн считает не ясным, делает ли Кассель ударение на изменении абсолютной цифры производства основного капитала или на отношении его к прочему производству [1]).

Проф. Э. Ледерер (Konjunktur und Krise. Grundriss der Sozialökonomik. IV. 1925) стоит на почве трудовой теории ценности, но считает диспропорцию в области производства не причиной, а сопутствующим симптомом волнообразного движения хозяйства. Он подчеркивает, что отсутствие планомерности в производстве само по себе никак не может об'яснить ритмическую смену кон'юнктурных фаз. Кроме того, он указывает на эластичность народного хозяйства, на его быструю приспособляемость во время войны, на возможность употреблять одно и то же сырье на различные цели. Ледерер придает больше значения не диспропорциональности производства, а недостаточному потреблению, как основе кризиса, разделяет моменты, связанные у Маркса. Момент Unterkonsumtion (недопотребления) он распространяет не только на средства потребления, но и на средства производства, при чем придумывает для тех и других новую терминологию; для первых—«неэластические группы цен» (Preisgruppen), сюда входят не только товарные цены, но и заработная плата, твердые оклады и пр., для вторых—эластические группы. А так как повышательное движение цен резче всего проявляется в эластических группах (машины и т. д.), то Ледерер не видит оснований считать теорию недопотребления обязательно пессимистической.

Ментор Буниатиан (Studien zur Theorie und Geschichte der Wirtschaftskrisen in England, 1908; Les crises économiques, 1922) проводит следующее деление: 1. Кризисы общего характера. 2. Кризисы специального характера: а) кризисы обращения (денежные, кредитные); б) торговые кризисы (товарные, биржевые); в) кризисы производственные (промышленные, аграрные). Это—чисто описательная классификация. Она не об'ясняет проблемы кризисов вообще. Труд Буниатиана дает хронику английских кризисов, начиная от 1640 г. (!) и до 1840 г.; он столь же загроможден деталями, как уже цитированная книга Жюглара, которая в сущности дает только историю балансов банков, преимущественно эмиссионных. Как теоретик Буниатиан рьяный последователь австрийской школы предельной полезности; в последнее время он выступил с неудачной попыткой ее «углубления» («Закон изменения стоимости и общие движения цен», 1927 г., на франц. яз.). Его об'яснение кризисов, поскольку вообще может здесь итти речь об'яснении, крайне недостаточно и туманно. Кризисы происходят на почве «революции цен»; чтобы подчеркнуть отличие от производства, Буниатиан говорит о кризисах на почве «распределения». Кризисы на почве воспроизводства он считает весьма редким явлением. «Чистые кризисы сбыта», экзогенные кризисы распределения, т.-е. кризисы на почве переворота в ценах, вызванного внешними причинами; «кризисы капитала»—тоже происходят на почве переворота в области цен, но переворот этот на сей раз вызван внутренними причинами, это—эндогенные кризисы. Отчасти эти последние приближаются к толкованию у Зомбарта. Буниатиан орудует с понятиями «декапитализации» и «сверхкапитализации», смысла которых не легко добиться; декапитализация является коррективом к кризису, переводя путем падения цен «часть общественного капитала в потребление», сверхкапитализация очевидно то же, что перепроизводство или недопотребление.

Афталион (Les crises périodiques de surproduction, 1913), возражая против того, что кризисы возникают на почве диспропорциональности производства, рассуждает следующим образом: перепроизводство на одной стороне равносильно в то же время недопроизводству на другой стороне, другими словами в момент нарушения равновесия индустрия с недопроизводством должна иметь hausse, фазу повышения цен, а индустрия с перепроизводством baisse и кризис; следовательно, оба процесса взаимно уничтожаются. Афталион ополчается против приоритета в теории индустрий, производящих средства производства, подчеркивает, что индустрии, производящие средства потребления, тоже имеют свой «динамический ритм», свое волнообразное движение.

[1]) У Касселя имеется беглая попытка об'яснить кризисы толчками в производстве основного капитала.

Ф. Капелюш.

«Die Kreditwirtschaft». Erster Teil. Vorträge von Fritz Beckmann, Karl Diehle, Bruno Kuske, Alfred Müller, Joseph Schumpeter.

Факультет Социальных и Экономических наук Кельнского университета в зимний семестр 1926—27 г. организовал цикл докладов по истории и теории кредита и кредитной политике. В качестве докладчиков были приглашены лучшие немецкие теоретики, как Диль и Шумпетер, в силу чего сборник этих докладов представляет несомненный интерес.

Сборник открывается большой статьей кельнского профессора Бруно Куске, посвященной проблеме «Возникновения кредитного хозяйства и капитального оборота». Доклад Куске написан с чисто-немецкой обстоятельностью и пунктуальностью: использована богатая литература по истории хозяйственной жизни, и в том числе оригинальные документы; не остается не документированным ни одно, хотя бы принципиально не столь важное, положение докладчика; налицо, несомненно, богатая эрудиция автора в вопросах экономической истории.

Предметом анализа автора служат различные формы кредитных отношений в средние века: 1) потребительский, 2) промысловый (Erwerbskredit) и 3) государственный кредит. Вооружаясь многочисленными фактами, автор пытается доказать, что до сих пор роль и значение кредита в системе средневекового хозяйства недооценивались.

В отношении потребительского кредита (Verbrauchskredit) автор, указывая, что хотя очень часто этот вид кредита не может быть строго отделен от промыслового кредита, считает все же необходимым анализировать особо этот вид кредита, что, конечно, вполне правильно. Основными формами потребительского кредита автор считает получение ссуд (Darlehnsentnáhme) и потребительские покупки в долг (Verbraucherkaufs auf Borg).

Далее автор анализирует «рынок» потребительского кредита, давая социальную характеристику групп «спрашивающих» и «предлагающих» кредит, т.-е. заемщиков и заимодавцев. В отношении первых Куске подчеркивает, что в качестве «берущих кредит» (Kreditnehmer) в средние века выступали не только дворяне (что, как известно, общепризнано), которые большей частью совершенно непроизводительно использовали ссуды, но и городское население, на что указывает ряд документов по истории борьбы против «долговой системы» (Borgsystem) в средние века. К группе заемщиков принадлежали также духовные и церковные учреждения.

В качестве заимодавцев выступали евреи и ломбардцы. (У Карла IV евреи организовали и руководили финансовым управлением, вооружали граждан и снабжали войска!) И здесь автор отмечает один новый момент: ломбардцы в большинстве случаев были также и крупными торговцами, и именно этим они отличались от евреев в период позднего средневековья.

В общем анализ потребительного кредита в эпоху средневековья не вносит ничего принципиально нового. То, что ломбардцы в отличие от евреев были также и купцами, конечно, не находится ни в какой связи с национально-психологическими чертами тех и других. Сам автор указывает, что развитие деятельности ломбардцев в качестве купцов-банкиров относится к позднему средневековью, т.-е. фактически к периоду его разложения. С точки зрения марксистской схемы ступеней экономической эволюции этот вопрос вполне ясен: в отличие от евреев как представителей чисто денежно-ростовщического капитала, специфичного для средневековой системы, ломбардцы как купцы-банкиры являются носителями денежно-торгового капитала, который уже не только высасывает соки из феодальной знати, но и подчиняет себе ремесленный труд в городах, разлагает цеховую систему и на ряду с другими факторами ведет к зарождению промышленно-капиталистической системы.

Однако мы, к сожалению, не находим у автора анализа деятельности купцов-банкиров именно в этой связи: автор не идет дальше голой констатации фактов.

Наиболее интересной частью статьи следует признать анализ промыслового кредита. Здесь автор устанавливает основное общее положение: «Это было,—говорит автор,—основным положением в средние века, что производитель располагает сырьем, а купец товарами, покупаемыми для перепродажи, и благодаря этому получают прибыль прежде, чем они уплачивают за купленное... Представление, что производитель должен работать, пользуясь авансом, было широко распространено» (стр. 25). На основе этого автор пытается представить кредит, как всеобщую хозяйственную форму в средние века. Нечего и говорить, что автор, несомненно, переоценил роль кредита в средние века, и этим совершенно исказил историческую перспективу. Собранные автором факты кредитных сделок в средние века в общем не увязаны с экономической системой феодализма, ее основной структурой и принципами. Прекрасной иллюстрацией тому может служить анализ автором основных отраслей хозяйства, поскольку последние обслуживались промысловым кредитом.

Так, автор считает, что средневековое сельское хозяйство производило, авансируясь, при чем он указывает на замаскированную форму кредитования сельского хозяйства в виде широко распространенной практики запродажи хлеба на корню. И сам автор отмечает, что крестьяне вынуждались на такие запродажи, которые, несомненно, носили кабальный характер, и тем самым служили лишь одной из форм того пресса, который в лице феодальной системы давил на средневековое сельское хозяйство. Этот вид кредита не содействовал укреплению хозяйственных элементов, но разлагал их, являлся ростовщическим кредитом, аналогично потребительскому кредиту. И по мере распространения этого, как и других видов кредитования сельского хозяйства (ссуды под скот, кожу и даже шерсть на живом скоту), и в связи с общим процессом экономической эволюции феодальная система разлагалась, расчищая путь для возникновения капиталистической системы. Вот почему следует считать широкое распространение «промыслового кредита» характерным не для собственно феодализма, но для переходной эпохи его разложения, т.-е. торгового капитализма.

И это, в сущности, подтверждает тот материал относительно кредитования городских промыслов, которым пользуется автор. Он приводит ряд иллюстраций широкого развития системы авансирования

в горшечном, кузнечном и горном промыслах, которые относятся не к XI—XIII векам, но к XV, XVI векам и даже более позднему времени!

И все эти примеры, конечно, являются прекрасной иллюстрацией, но не для феодализма, а для эпохи торгового капитализма.

Между тем автор и при анализе форм кредитования торговли всячески пытается навязать средневековой системе черты подлинного капиталистического хозяйства, даже его наиболее развитых форм, и именно в этой плоскости полемизирует с Зомбартом по вопросу о наличном или кредитном характере средневекового хозяйства. Так, например, автор даже открывает... систему стандартизации (!) в средневековой торговле, ссылаясь на нидерландскую хлебную торговлю в XV веке.

Нет ничего удивительного, что, пользуясь подобными «открытиями», автор приходит к выводу, что феодализм — это не только денежное хозяйство, но и кредитное, т.-е.... финансовый капитализм! «В средние века,—утверждает автор,—как кредитное и меновое хозяйство, так и кредитное и денежное хозяйство должны были быть тесно связаны друг с другом» (стр. 36). Конечно, никто не отрицает наличия денежных и кредитных отношений в средние века, но отнюдь не ими характеризуется строй феодального хозяйства. Вообще всякая экономическая система включает элементы — предшествующей и последующей системы, но нельзя на этом основании сваливать в одну кучу все системы и представлять феодализм, как финансовый капитализм.

Характерно, что и в отношении кредитования торговли автор также приводит иллюстрации широкого распространения кредитно-капиталистических отношений на ярмарках и аукционах, которые относятся к середине XVII века (Голландия). Таким образом автор все время говорит об эпохе торгового капитализма (но не феодальной системе), при чем, систематизируя массу ценных фактов, автор не вскрыл закономерностей исторического развития, в частности закономерности развития кредита. Между тем эти закономерности прекрасно выяснены еще Марксом, который указал, что кредит «создает вообще на ряду с купеческим капиталом самостоятельную денежную собственность, во-вторых, присваивает себе условия труда, т.-е. разоряет владельцев старых условий труда» и поэтому «является мощным рычагом в процессе образования предпосылок для промышленного капитализма» («Капитал», т. III, ч. 2, стр. 151). 36 глава 2 части III тома «Капитала» («Докапиталистические отношения») дает основную принципиальную оценку докапиталистических кредитных отношений, и в свете этого анализа все приведенные Куске иллюстрации приобретают совершенно иную принципиальную значимость.

Центральными в сборнике являются статьи Шумпетера и Диля. Шумпетер, автор «Theorie der wirtschaftichen Entwicklung», является, несомненно, одним из оригинальнейших современных буржуазных экономистов. Его статья носит характерное название: «Die goldene Bremze an der Kreditmaschine» («Золотая повязка на кредитной машине»).

В этой статье Шумпетер несколько уточняет свои положения о роли кредита в хозяйственной динамике, высказанные им в «Теории хозяйственного развития», и связывает эти положения с конкретными вопросами организации и политики кредитно-денежной системы.

В этой статье отчетливо вырисовываются две недостаточно увязанные друг с другом части: абстрактно-теоретическая и конкретно-практическая. В первой части автор по существу не делает принципиальных отступлений от своей теории, ибо и здесь считает кредит движущим фак-

тором хозяйственного развития, и видит необходимую форму последнего в создании банками покупательской силы ad hoc для финансирования нового производства, или, как он выражается, для создания «новых производственных комбинаций».

Однако автор дает явную осечку на вопросе о границах создания покупательской силы банками, необходимом об'еме последнего для нормального под'ема. Попытку автора представить механизм саморегулирования этого процесса нужно признать неудавшейся [1]). Фактически эта возможность создания банками ad hoc покупательной силы оказывается безграничной, и та хроническая инфляция, которая вытекает из мастерски нарисованного автором процесса, конечно, неизбежно должна привести к кризису, порождаемому не имманентными капитализму факторами, но внешней причиной, именно банковской инфляцией.

Собственно этого не может отрицать в своей конкретно-практической части статьи сам Шумпетер. И здесь он для того, чтобы парализовать те потрясения, которые вытекают из свободы банков создавать кредит-покупательские средства, рекомендует связать кредитную машину золотыми цепями!

Конечно, при этой «повязке» избыточные платежные средства будут возвращаться в банки для обмена на наличное золото, но именно этим отрицается та роль, которую придавал Шумпетер кредитной экспансии в теоретической части настоящей статьи и в «Теории хозяйственного развития».

Если из абстрактной теории Шумпетера вытекает безграничная инфляция, то в конкретной части мы находим совершенно противоположный вывод: весьма умеренная, связанная строгими рамками размена кредитная эмиссия. Нечего и говорить, что это в корне меняет вопрос о роли кредитной экспансии в хозяйственной динамике.

Вслед за докладом Шумпетера как представителя так называемой «новой теории кредита» в сборнике следует доклад Карла Диля, сторонника старой «классической» теории кредита, при чем в этом докладе дана только критика «новых кредитных теорий в свете учения Маклеода» (статья Диля называется «Uber neuere Kredittheorien im Lichte der Lehre von Macleod»), но не позитивное изложение теории кредита.

Карл Диль, автор известных «Комментариев к Рикардо», об'емистого курса политической экономии и других трудов, является теоретиком «вообще», но не узким специалистом в каком-нибудь вопросе. Свои взгляды на основные проблемы кредита Диль изложил в III томе «Theoretische Nationalökonomie», вышедшем в 1927 году. Эти взгляды вполне увязаны с той строго металлистической теорией денег, которую Диль развил в своей работе «Золото и валюта» и более подробно в III томе своего курса. Нужно сказать, что как теория денег, так и теория кредита Диля не являются ни новыми, ни оригинальными. Особенно это относится к кредиту. Диль не идет дальше поверхностного анализа кредитных явлений, их классификации и т. д.

Ни сущности кредита, ни его роли в капиталистической системе Диль не удалось вскрыть, ибо тот метод, которым вообще пользуется в теории Диль, а именно об'ективный или социально-правовой метод мало помогает ему и в теории кредита. В кредите Диль видит не более, чем «правовую форму безденежного товарного оборота» («Theoretische Nationalökonomie», III T., S. 537), и за кредитно-правовой формой вскрывает ее

[1]) Анализ этого механизма мы дадим в статье, посвященной роли кредита и границам кредитной экспансии.

«материальное содержание» — передачу одним лицом другому лицу конкретных благ.

Именно с этой точки зрения Диль и подходит к критике теории Маклеода и ее новейших эпигонов — Гана, Шумпетера, Зомбарта и англо-американцев: Кейнса, Митчеля, Ирвинга, Фишера и других.

Несомненно, в критике Диля есть ряд верных замечаний, но именно замечаний и не больше: осилить теорию Маклеода-Гана-Шумпетера Диль не в состоянии именно потому, что он прочно стоит на почве натуралистической теории кредита, которую он лишь механически дополняет своим собственным правовым привеском.

Излагая теорию Маклеода, Диль с полным основанием приходит к выводу, что все так называемые «новые идеи» (о роли кредита в кон'юнктуре, «кредитном контроле» и пр.) вполне отчетливо и остроумно формулированы Маклеодом. Критикуя теорию Маклеода, Диль в сущности не дает критики ее «внутренней логики», но просто противопоставляет свои взгляды маклеодовским.

Источник всех ошибок Маклеода Диль видит в его понимании хозяйственного блага, как всякого об'екта купли-продажи, независимо от его материального содержания. Причисляя абстрактные права, и в числе последних кредит, к народному богатству, Маклеод тем самым смешивал частно-хозяйственную точку зрения с народно-хозяйственной. Мы же считаем, что основная ошибка Маклеода в фетишизме, следовательно, не в том, что он за формой ценности («хозяйственным благом») не вскрыл конкретных материальных благ, но в том, что не понимал тех производственных отношений, которые скрываются за формой ценности, и которые в ценности лишь овеществляются и фетишизируются.

Однако Диль в своей критике идет именно по пути «материи», конкретной вещи, которая, де, скрывается за экономическими феноменами, и в числе последних за правовой формой кредита. Вот почему его критика отождествления Маклеодом кредита с деньгами и капиталом не может быть плодотворной. Диль, несомненно, не справился с имеющей кардинальное значение маклеодовской теорией создания капитала благодаря кредиту. «Кредит,—говорит Диль, — не есть «производительный капитал», но «правовой титул на уже имеющиеся капиталы» (стр. 121).

Но это совершенно недостаточно, а потому и неверно. Правда, что кредитные документы (а не кредит вообще, как у Диля) являются лишь правовым титулом собственности на капитал. Однако мы знаем, что эти правовые титулы выполняют исключительно важную экономическую функцию, а именно средства обращения, и поэтому являются экономической, а не только правовой формой промышленного капитала.

Маклеод не понимает сущности капитала и не различает форм его кругооборота, ибо он целиком во власти вульгарно-фетишистической теории, но за то и Диль становится на столь же ложную натуралистическую точку зрения.

Далее, рассматривая ту об'ективную историческую действительность, которая породила маклеодовские иллюзии, а именно расцвет сельского хозяйства в Шотландии и широкое строительство каналов в Англии в 1776—1796 гг., Диль, в противоположность взгляду Маклеода, утверждает, что не кредиту, но имевшемуся в наличии капиталу обязаны Англия и Шотландия своим экономическим расцветом.

Конечно, кредит сам по себе не мог ничего создать, но в сущности и Маклеод не утверждает обратного. Однако то, что только благодаря кредиту и возможна была аккумуляция таких крупных капиталов, которые были необходимы для строительства каналов — это, конечно, несомненно. Поэтому если и маклеодовская теория, поскольку в ней перевернуты, фетишизированы действительные отношения, в корне неверна, то опять-таки ошибочны и взгляды Диля, который считает кредит чем-то индиферентным для развития производительных сил в капиталистическую эпоху. Если у Маклеода переоценка роли кредита в развитии производительных сил, то у Диля — несомненная недооценка.

Если Дилю не удалось справиться с маклеодовской теорией, то также недостаточна его критика того рецидива маклеодовской теории, который мы имеем в лице Гана, Шумпетера и др. И здесь Диль не критикует, но просто противопоставляет свои взгляды гановским.

Более основательна его критика гановского представления о доверии как об'екте кредитных сделок. Повторяя старое возражение Коможинского и других о том, что доверие необходимо при всякой меновой сделке (и даже в меньшей мере при кредитной сделке, поскольку кредитор требует вещного обеспечения), Диль кроме того указывает, что психологический момент доверия должен иметь какое-нибудь реальное основание (realen Hintergrund) в об'ективных средствах или твердо-ограниченных состояниях; только на этой основе и можно «создавать» кредит, т.-е. пользоваться кредитом-доверием. Однако это вполне правильное положение Диль не связал с критикой учения Гана о приоритете активных операций, в то время как именно на основе этого положения может быть опровергнут основной, столь нашумевший в литературе тезис Гана.

Критикуя далее взгляды Гана на кредит, как на «возбудитель кон'юнктуры» (Konjunturreger), благодаря возможности создавать через кредит деньги и этим уменьшать и увеличивать денежный спрос в народном хозяйстве, Диль отвергает возможность регулирования кон'юнктуры и устранения кризисов двумя методами, предлагаемыми Ганом — дисконтной политикой и кредитным контролем.

Конечно, идеи Гана о возможности поддерживать «вечно высокую кон'юнктуру» благодаря кредиту и помощи фиска, который должен устранять кризисы сбыта кредитными закупками товаров (!), являются чистейшими иллюзиями, равно как и очень близкие к Гану идеи англо-американских кон'юнктуристов.

Критикуя эти идеи, Диль говорит: «Основная ошибка этой (т.-е. Гана.—*З. А.*), как и многих других, появившихся в новейшее время кон'юнктурных теорий, заключается в том, что они ищут последние причинные факторы кризисов в сфере обращения вместо того, чтобы искать их там, где они действительно имеются, а именно в сфере производства» (стр. 140).

В общем это правильно, но из этого отнюдь не следует, что причины кризисов нужно искать только в сфере производства как такового, ибо и производство мы мыслим лишь при определенной системе обращения, распределения и потребления, т.-е. как необходимое единство всех этих моментов. Поэтому, хотя причины капиталистических кризисов не в сфере денежного обращения и кредита, но и не в производстве вообще, а в капиталистическом воспроизводстве, следовательно, в самой капиталистической системе с присущим ей противоречием между общественным характером производства и частным присвоением.

Но нельзя не согласиться с Дилем в том, что «бескон'юнктурное капиталистическое хозяйство есть contradiktio in adjecto». Также совершенно правильно возражение Диля о кредитном контроле, как методе регулирования кон'юнктуры. Диль считает, что кредитный контроль лишь постольку будет эффективно-действующим, поскольку он примет характер контроля над всей хозяйственной системой, а такой «контроль» и есть ничто иное, как «социализация хозяйственной жизни и конец свободной конкуренции» (стр. 143).

Наконец, Диль кратко останавливается на взглядах Шумпетера, Зомбарта, Ирвинга, Фишера, Митчеля и др., поскольку в их трудах защищаются «новые идеи» кредитной теории. Мы позволим себе лишь одно замечание по поводу отношения теорий Гана и Шумпетера. С одной стороны, Ган указывал, что именно теория Шумпетера привела его к развитию некоторых основных своих воззрений на проблемы кредита; с другой стороны, сам Шумпетер превозносит Гана и, считая его теорию прекрасным развитием некоторых своих положений, солидаризируется с концепцией Гана (см. 2-е изд. «Theorie der wirtchaftlichen Entwicklung»).

Однако более чем оргинально то, что Диль не согласен с оценкой Шумпетером его собственной теории, т.-е. Диль таким образом оспаривает более глубокое понимание теории Шумпетера у самого Шумпетера! Он считает, что, вопреки заявлению Шумпетера, между его (Шумпетера) кредитной теорией и теорией Гана, связь только терминологическая, но не по существу ее принципиального содержания (стр. 143). Мы считаем это очень смелое заявление Диля скорее курьезом, чем действительным выводом из анализа теорий Шумпетера и Гана.

Шумпетер не случайно солидаризируется с основными принципами теории Гана: и у Гана и Шумпетера, действительно, единые взгляды на природу кредита, его роль в экономической жизни и основную форму проявления кредита (создание банками покупательской силы). Оба автора считают кредит важнейшим фактором хозяйственной динамики, и основное расхождение между ними не в абстрактной теории, но в вопросах кредитной политики (у Гана—дисконтная политика и кредитный контроль, у Шумпетера—золотая повязка). Однако нами выше уже было отмечено, что вся концепция Шумпетера страдает внутренней противоречивостью абстрактной теории и конкретной политики: кредитно-политические выводы Шумпетера противоречат не только абстрактной теории Гана, но и теории самого Шумпетера. Что же касается этой последней, то между ней и гановской теорией налицо несомненная общность основных принципиальных взглядов.

Следующая статья Альфреда Мюллера посвящена «Формам кредитной экспансии и кредитной политике («Formen der Kreditexpansion und der Kreditpolitik»), в которой автор пытается с точки зрения «новой теории кредита» (Ган) проследить роль и формы кредитной экспансии в кон'юнктурном процессе. Автор как раз и находится во власти тех иллюзий, о которых мы выше говорили: предлагая свой принцип дисконтной политики, автор надеется устранить этим кризисы. И именно к этой теории вполне приложимо то возражение Диля, которое мы выше привели: как бы остроумны ни были те или иные методы дисконтной политики, они не могут быть более, чем паллиативами, ибо бескризисное капиталистическое хозяйство есть nonsens. Кризисы,—это не «случайная» возможность, но необходимость для капиталистической системы, единственно мыслимая форма ее динамического процесса.

Статьей Фритца Бекмана, посвященной специальному вопросу о «кредитной политике и задолженности немецкого сельского хозяйства с момента стабилизации валюты», исчерпывается содержание сборника.

Сборник в целом представляет двоякую ценность: с одной стороны, в сжатой форме он знакомит читателя с основной контроверзой буржуазной теории кредита и показывает, что современные кредитные теории лишь расширенно воспроизводят тот спор, который в свое время вел Маклеод с Сэем, и что буржуазная экономия не в состоянии решить этой основной контроверзы; с другой стороны, благодаря дискуссионному характеру сборника положительные и отрицательные стороны обоих направлений заострены, и это дает возможность марксисту преодолеть отчетливо выявленные односторонности и ошибки обоих направлений. Ознакомление со сборником необходимо для всякого марксиста, работающего в области теории кредита, воспроизводства и кризисов, а также для интересующихся вопросами общей теории в эпоху финансового капитала.

З. Атлас.

О законе убывающей доходности. Сборник статей английских, американских и немецких авторов. Перевел и составил Я. А. Мирошхин. С предисловием составителя. Изд. Кооп. издательства студентов Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. «Новый Агроном». Москва 1927 г.

«В русской экономической литературе, — пишет т. Я. А. Мирошхин в своей вводной статье-предисловии, — имеется слишком мало материала по вопросу о законе падающего плодородия почвы, несмотря на то, что о нем пытаются говорить очень многие. Отсутствие материала для самой критики и лучшего ознакомления с этим вопросом в трудах основоположников англо-американской школы и их продолжателей, и цель сообщить все то новое, что приобретено экономической мыслью в этом отношении и что сказано ею по трактуемому вопросу,—все это и привело нас, в настоящее время, к мысли издать настоящий сборник» (28 стр.). Мысль очень удачная. Поэтому остается только приветствовать и самую идею выпуска подобного сборника, а также и план выполнения этого задания. Особо следует подчеркнуть своевременность подобного сборника; хотя, собственно говоря, его давно уже надо было бы выпустить.

Данная работа представляет собой сборник шести отрывков или отдельных статей ряда современных буржуазных экономистов, посвященных вопросу о «законе убывающей доходности». В первой части, трактующей данный «закон» в более общей формулировке—как универсальный закон всякого хозяйствования, представлены Маршаль, Кларк и Р. Штюккен; вторая часть, касающаяся действия данного закона только в сельском хозяйстве, заключает в себе работы Эсслена, Ланга и Шпильмана. Сборник снабжен статьей-предисловием общего методологического характера т. Я. А. Мирошхина.

Вопрос о существовании «закона убывающей доходности» или «закона убывающего плодородия почвы» вызывает даже в марксистской школе известные разногласия; по крайней мере, можно привести пример и марксистов, которые кладут этот закон в основу теории земельной ренты (Варга). Правда, с другой стороны, мы имеем категорическое отрицание данного закона,— со стороны Ленина и Каутского (его работы «Размножение и развитие в природе и обществе», «Аграрный вопрос»). Однако сфера признания данного закона гораздо шире, наибольшую роль играет он в буржуазной политической экономии. Мало того, что он выставляется там в качестве истины, почти не требующей доказательства, но он, вдобавок, еще и универсализируется: «закон убывающей доходности» распространяется не только на сельское

хозяйство, не только на почву, но и на промышленность и даже на другие отрасли, например, транспорт, торговля. Но работ таких ярых буржуазных приверженцев этого закона на русском языке почти нет. Поэтому издание их, хотя бы в отрывках, повторяем, можно только приветствовать. Русский читатель сможет познакомиться с аргументами, приводимыми обычно его защитниками, можно сказать, из первоисточника и притом—и это, пожалуй, самое главное—в законченной, и вместе с тем в законченно-буржуазной формулировке. При этих же условиях абсурдность этого закона бьет прямо в глаза. Приведем только один яркий пример. Р. Штюккен в своей статье, фигурирующей в рецензируемом сборнике, «Существует ли одинаковый закон доходообразования во всех областях хозяйства?», всячески старается доказать универсальное значение «закона убывающей доходности». Правда, это ему плохо удается; но худо ли, хорошо ли, в конце концов он все же приходит к положительному ответу по вопросу о всеобщности действия «закона», и тут буквально огорашивает читателя заявлением, что во всех своих рассуждениях он отвлекался от... изменения и развития техники. Но это отнюдь не помешало ему все время говорить о дополнительных затратах капитала и труда. Как-будто бы можно вкладывать в предприятие капитал вообще, пихать этот капитал туда, напр., в виде банкнот по произволу и ad infinitum!

Имея перед глазами подобного рода рассуждения, читатель гораздо легче сможет разобраться и в той путанице, которая напутана вокруг этого вопроса и которая дает себя знать даже и в марксистской экономии. Один из авторов (И. Эсслен) прямо жалуется на это обстоятельство: он говорит о «бесчисленных недоразумениях, которыми переполнено, больше всех остальных, все догматико-историческое развитие знаний в этой области» (106—107 стр.). Он ищет причину этого в недоговоренности относительно смысла употребляемых понятий; наивное об'яснение,—причина лежит глубже, данные недоразумения вытекают просто из определенных методологических установок. Пример Маршаля, Карвера и др. отчетливо доказывает это; все дело в том, что при этом упускается из виду такая самая простая—простая, конечно, для марксиста—вещь, как различение двойственного характера труда. Но, ведь, по собственным словам Маркса, на «теории о двойственном характере труда покоится все понимание фактов». Немудрено, что если мы отбросим такой «пустяк», как это различение двойственности труда, то и «закон» убывающего плодородия или убывающей доходности превращается если не в «необ'яснимую вещь», то во всяком случае в источник, начинается такая путаница, из которой, повидимому, нет никакого выхода. Мы упомянали о предисловии т. Мирошхина; в нем он ставит вопрос об этом пресловутом «законе» методологически совершенно правильно, а именно: он подходит к нему под углом зрения двойственного характера труда и в связи с этим двойственного характера самого процесса капиталистического производства. В этом, между прочим, и заключается большая ценность вводной статьи. Недостатком ее можно разве считать то, что данная постановка вопроса не подчеркнута еще резче,—в этом отношении трудно перегнуть палку.

Действительно, и «закон убывающего плодородия» тесно связан с проблемой двойственного характера труда; на это указывает хотя бы двойственность его формулировки: с одной стороны, говорят об «убывающей доходности», а с другой—об «убывающем плодородии почвы». Но это далеко не одно и то же, всякое отождествление этих двух понятий только и может привести к пошлейшей теоретической неразберихе.

В самом деле, представим себе такие, совсем простые, случаи: мы затратили на какой-либо участок земли 100 руб. и собрали 100 пуд. хлеба, который и продали по цене 1 р. 10 к. за пуд. Дальше, в следующем,

например, году мы затрачиваем, пусть на другом участке, также 100 руб., собираем 90 пуд., но рыночная цена хлеба за это время поднялась, и мы продаем собранный урожай по 1 р. 30 коп. за пуд. А теперь спросим: какой участок является более плодородным, и переход от первого участка ко второму будет ли означать убывающее или возрастающее плодородие и доходность? Очевидно, будет иметь место убывающее плодородие, но возрастающая доходность. И такой двойственный результат вполне естественен, если мы учтем двойственный характер труда.

Или другой пример: вы затратили на обработку какого-либо участка земли 100 р. и собрали 80 пуд. пшеницы, затем на другом участке затрачиваете такие же 100 руб., но сеете клевер и собираете 220 пуд. клеверного сена. Что же, переход от первого участка ко второму, или, наоборот, будет означать:—убывающее или возрастающее плодородие? Маршаль, в приведенном отрывке из его работы, как раз и спотыкается в этом месте, и фактором п л о д о р о д и я п о ч в ы у него становится высота рыночной цены. «Само плодородие различных почв,—говорит Маршаль,—подвержено изменениям и зависит от методов обработки и почв и о т ц е н н о с т и различных возделываемых на них растений» (44 стр., подчеркнуто мной). Поэтому нелепо говорить о законе убывающего плодородия как об э к о н о м и ч е с к о м законе; подобный закон, буде мы его признаем—лежал бы в плоскости взаимоотношений между человеком и природой, т.-е. в плоскости процесса труда как такового. Но может ли данный технический факт—убывающее плодородие почвы—явиться основанием и для э к о н о м и ч е с к о г о «закона» убывающей доходности? А в этом и заключается центр тяжести всей проблемы. Проблески правильного понимания этого обстоятельства и сущности данной проблемы мы находим у Штюккена. Он утверждает универсальное значение «закона»; единственное различие, которое можно, по его мнению, провести между промышленностью и сельским хозяйством, заключается в том, что граница, за которой начинается это «убывание» в сельском хозяйстве, лежит ближе, чем в индустрии. А кроме того «в индустриальном производстве подобное обстоятельство дела (т.-е. действие этого закона.—В. П.)ясно не дано (стр. 91). Что «закон» действует и тут—это для него несомненно. Этот же тезис о «неясности» понадобился ему потому, что «опыт учит, что в любом предприятии, при остающейся неизменной технике, добавочные приложения средств производства в сельском хозяйстве, и собственно в земледелии, доставляют падающий доход; но что это не относится к городской промышленности, т.-е. индустрии» (стр. 90). И Штюккен в поисках выхода из этого затруднительного положения—ведь опыт, видимо, не подтверждает его теории—ощупью приходит к совершенно правильному ответу: «Но тут дело идет, очевидно, о с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й проблеме, успешное разрешение которой требует применения м е т о д о в, свойственных, именно, с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м у з н а н и ю. Следовательно, это явление, о котором мы так много говорили, существует лишь в связи с определенными экономическими данными, рассмотрением которых мы сейчас и займемся» (стр. 91; подчеркнуто мной). В этом все и дело. Однако апелляция к двойственному характеру процесса производства—мы видим, что, с одной стороны, Штюккен говорит о социально-экономической проблеме, а, с другой стороны, говорит о естественно-техническом процессе, эта апелляция, к которой прибегает Штюккен «в минуту жизни трудную», в дальнейшем остается у него совершенно без всякого употребления.

Конечно, если брать естественно-техническую сторону, то в сфере сельского хозяйства мы встречаемся с подобным фактом «убывания плодородия» (при данных технических и общественных условиях); при увеличении затраты труда (живого и мертвого) сперва получается непропорционально значительное возрастание продукции, но за известным пределом она начинает падать, или, добавим от себя, этот рост может и вовсе исчезнуть Однако с подобным фактом мы встречаемся и в сфере промышленности; вся разница между ними заключается разве в том, что в промышленности эта граница лежит ближе и действует еще резче. Попробуйте приставить к станку двух рабочих, если на этом станке технически вполне достаточна работа одного рабочего; новая затрата труда окажется совершенно непроизводительной, и никакого увеличения продукта не произойдет. Тут и встает очень существенный вопрос: почему же убывающее плодородие в земледелии влечет за собой появление определенных экономических категорий—той же земельной ренты, тогда как тот же факт убывания «плодородия» в промышленности никакого влияния в том отношении не оказывает?—Просто потому, что это в лучшем (для наличности этого «убывания») случае есть просто технический факт и только, который сам по себе еще недостаточен для оказания того или иного экономического эффекта.

Но и такая постановка вопроса наводит на ряд сомнений по части всеобщности действия этого закона Ибо, если бы данный закон, даже и в качестве технического факта—был бы верен и имел бы универсальное значение, это значило бы, что возрастающая масса продукции сельского хозяйства требовала бы все большей (относительно большей) затраты труда; иными словами, сельскохозяйственное население с ходом прогресса человеческого общества, а вместе с тем с все прогрессирующим падением плодородия, должна расти относительно быстрее промышленного населения. Но статистика, если и свидетельствует о чем-либо, то как раз о факте обратного порядка. И мы полагаем, что Я. Мирошхину следовало бы привести и этого рода доказательства от статистики.

В общем, сборник представляет ценный вклад в нашу, небогатую по этому вопросу, литературу и заполняет весьма существенный пробел. Думаем, что данная книга должна найти место в библиотеке всякого интересующегося вопросами политической экономии.

В заключение приходится отметить весьма тяжелый язык как статьи, так и переводов.

В. Позняков.

И. ЛАПИДУС и К. ОСТРОВИТЯНОВ. Политическая экономия в связи с теорией советского хозяйства. Госиздат. 1928. Стр. 413.

Ф. И. МИХАЛЕВСКИЙ. Политическая экономия. Изд. «Московский Рабочий». 1928. Стр. 400.

З. Я. БРЕГЕЛЬ и Р. М. КАБО. Основы политической экономии. Изд. «Книга». Стр. 496.

Новый учебный год обогатился тремя вышеуказанными пособиями по политической экономии. Вот как характеризует общую цель своего учебника первые авторы: «Прохождение курса политической экономии в совпартшколах, на рабочих факультетах и в вузах до сих пор в значительной степени тормозится отсутствием пособий, приспособленных к программе этих учебных заведений». «До сих пор по отдельным частям курса, а также и по отдельным вопросам приходится обращаться то к одному, то к другому пособию. По целому же ряду вопросов, в особенности касающихся советской экономики, иногда вообще невозможно указать какие-либо пособия». Эти пробелы и хотели заполнить наши авторы.

В общем и целом цель авторов оправдана. Книга написана живым, ясным языком, хорошо систематизирована, хорошо увязаны отдельные части между собой. Но все-таки в ней имеются некоторые, хотя и небольшие дефекты, на которых следовало бы остановиться.

Уже одна попытка дать единую книгу, удовлетворяющую одновременно трем учебным заведениям разного типа, является весьма трудно выполнимой. И в самом деле: ведь нельзя приравнять требования, пред'являемые рабфакам, к запросам вузов, и тем более в последнее время, когда мы держим курс на повышение квалификации учащегося.

Мы считаем, что на рабфаках следует дать не только определение предмета политической экономии, но и сущность марксистского метода в популярном изложении. Если мы не можем рабфаковцу и учащемуся совпартшколы дать диалектический метод в развернутом виде, то необходимо все же указать на своеобразие изучения капиталистического хозяйства, на восхождение от конкретного через абстрактное к конкретному и на трудность изучения капиталистического строя, благодаря затемнению содержания формой, т.-е. благодаря тому, что видимость явлений и сущность не совпадают. Если бы учащийся предварительно об этом был бы предупрежден, то ему ясней была бы и вся система учебника и значительно легче было бы воспринять и разобраться в роли противоречий капиталистического хозяйства. Отсутствие этих элементов во введении к книге Лапидуса и Островитянова мы считаем основным ее недостатком.

Неправилен, по нашему мнению, также и подход к стоимости через издержки производства—«стоимость раком» (стр. 19—21). Такой круговой маршрут лишь затемняет вопрос. Учащийся скорее склонен видеть во всех этих этапах, рисуемых авторами, сочетание природы с трудом и не сможет выделить самостоятельно труд, как основу цены. Гораздо проще было бы подойти к стоимости через производительность труда.

Недостаточно также оттенена в этой главе и меновая стоимость (стр. 22): она не противопоставляется потребительной, вследствие чего исчезает одно из основных противоречий товара, весьма важное для выяснения диалектического метода Маркса. Тут следует обратить внимание на то, что Маркс все время подчеркивает и противопоставляет потребительную стоимость меновой и лишь тогда, когда достаточно выявлено их различие, Маркс указывает, что меновая стоимость и есть форма проявления стоимости. Отсутствие ясного представления о меновой стоимости, затемняющей противоречие товара, тормозит и дальнейшее понимание прибавочной стоимости, как развертывание марксистского метода, как восхождение от противоречия любого товара к противоречию своеобразного товара—рабочей силы, ведущему к классовому антагонизму. Недостаточно выявлена роль стоимости, как регулятора, т.-е. не выявлен процесс регулирования, хотя косвенно и указано в некоторых местах, что стоимость вызывает распределение труда, что функции ее—установление равновесия,—но четко выявленного процесса перед нами нет (стр. 22—23).

Мелким пробелом является и следующий lapsus: авторы говорят о простом товарном хозяйстве и подчеркивают это (стр. 14), а вместе с тем у них фигурирует рабфаковец, как покупатель, и Резинотрест, как продавец (стр. 16). Приходится признать, что рабфаковец и Резинотрест в простом товарном хозяйстве «социально не подходящие элементы».

В разделе «Деньги» не выявлена достаточно роль монеты (стр. 45), потому и затемнена связь металлических неполноценных денег с бумажными. Перенесение же обзора бумажных и кредитных денег после разбора функций банков мы считаем вполне правильным.

В разделе «Прибавочная стоимость» неправильно помещен тэйлоризм: его место в зарплате. Ведь диференциальная плата Тэйлора и есть сочетание сдельщины с премией; брать же тэйлоризм лишь как иллюстрацию эксплоатации—недостаточно. Мы считаем также педагогически неправильным дать лишь общие, расплывчатые указания на конвейер и т. д. Такие поверх-

ностные ознакомления «мимоходом» приучают учащихся «коснуться до всего слегка».

Имеет свои отрицательные стороны слабо разработанный отдел заработной платы. В нем отсутствует четкость перспектив борьбы за зарплату. Мало выявлена роль профсоюзов и их конкретное значение. Не освещено экономическое различие интересов квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы и тенденций их развития. Не раз'яснены важнейшие современные проблемы, связанные с зарплатой: НОТ, рационализация, тэйлоризм и фордизм.

Что касается дополнительных отделов теории хозяйства СССР, то мы считаем их вполне удовлетворительными. Польза их несомненна: они хорошо оттеняют категории капиталистического хозяйства, дают представление об экономике переходной эпохи и приходят на помощь преподавателям в выяснении целого ряда вопросов, возникающих у слушателей при сравнении нашего хозяйства с капиталистическим.

Недурно разработан и лабораторный материал, но, к сожалению, на нем мы останавливаться не можем. Это потребовало бы особого обзора, возможного после проверки материала на опыте.

В общем и целом, несмотря на вышеуказанные, сравнительно небольшие, дефекты, данный учебник для совпартшкол и рабфаков является вполне удачным. Однако для вузов он недостаточен. Особенно слабы отделы стоимости и зарплаты. Всего более чувствуется в учебнике указанный выше дефект: отсутствие выяснения основ марксистской методологии. Для вузовцев следовало бы дать также экономические теории буржуазных ученых, особенно австрийской школы. Противопоставление буржуазных экономистов марксистской политэкономии дало бы возможность углубления последней. Материалы, указываемые как дополнительное чтение, могли быть значительно расширены для вузов.

Книжка тов. Михалевского «Политическая экономия» представляет собой основательную переработку его первоначального курса. Переработано свыше 50 проц. самого курса: внесено много нового и ценного. Детализированы и лучше разработаны некоторые отделы, как цена производства, кругооборот капитала и др. Введены экономические теории буржуазных ученых по вопросам стоимости, деньгам, прибыли и указана неправильность их воззрений. Немного освещена и теория Розы Люксембург и указаны ее ошибки. В книжке также имеет место преломление капиталистических категорий в хозяйстве СССР. Лучше систематизирована вся книга (в сравнении с одиннадцатым изданием 1927 г.). Например, зарплата дана перед ценой производства и т. д. Упразднены тезисы, введены задачи. В такой, новой форме книга имеет гораздо больше преимуществ, чем прежде. Во введении в элементарной форме даны элементы диалектического развития противоречий между производительными силами и производственными отношениями; намечены их тенденции, ведущие к гибели капитализма. Остается пожалеть, что здесь недостаточно подчеркнут об'ективизм марксистского метода. Это, в свою очередь, не дает возможности как следует подвергнуть критике метод буржуазных ученых, Бем-Баверка и др. Имеется в книге целый ряд указаний и на различие видимости и сущности явлений (стр. 144, 164).

При всех упомянутых достоинствах книги, в ней наблюдается, однако, целый ряд дефектов. Преобладающим из них является частое нарушение системы. Например, на стр. 32 мы читаем: «Стихия обмена там неизвестна (в замкнутом хозяйстве.—С. Г.), следовательно, для стихийно действующего закона трудовой стоимости там нет места». Но до сих пор т. Михалевский ничего о самом законе стоимости и о его стихийности еще не говорил. Не-

уместным мы считаем также желание об'яснить действие закона трудовой стоимости при капитализме до прибавочной стоимости (стр. 82—84). Он гораздо больше уместен и более понятен после цены производства.

Неправильно также отнесение профсоюзов к разделу прибавочной стоимости; их место в разделе зарплаты. Вообще мы полагаем, что надо четко разграничить эти две теории: прибавочной стоимости и зарплату. Первая должна выяснить процесс возникновения прибавочной стоимости и способы ее увеличения; вторая же должна осветить попытки капиталистов затемнять классовое сознание рабочих, увеличивая эксплоатацию, и вместе с тем разобрать приемы и перспективы борьбы пролетариата с буржуазией на базе зарплаты. При таком четком подразделении место профсоюзов ясно само собой. В разделе зарплаты имеются те же дефекты, что и в учебнике Лапидуса и Островитянова. В отделе торговой прибыли не указано влияние торгового капитала на общую норму прибыли. Концентрацию капитала т. Михалевский дает до расширенного воспроизводства,—это с системой не увязывается.

Неуместна также рента в разделе «докапиталистическое, внекапиталистическое в капиталистической системе» (раздел 4). Несмотря на то, что рента является пережитком феодализма, она до того преобразовывается капиталистическими производственными отношениями, что в ней до внекапиталистического остается очень мало.

Недостаточно разработана и абсолютная рента. Она дана в сравнении с диференциальной без всякого выявления ее специфической части, которая лишь отчасти раз'ясняется после сравнения. Метод предварительного определения без достаточного выяснения мы считаем неправильным, так как это ведет к догматическому усвоению.

Вообще весь отдел ренты слабо разработан и ясного представления дать учащимся не может.

Застойные тенденции капитализма, проведенные т. Михалевским в зарплаты, также не на месте. Они более характерны для эпохи монополистического капитализма. Точно также нельзя согласиться с т. Михалевским, что «невозможно прочно поставить в условиях капитализма стандартизацию и типизацию, поскольку для этого требуется иной регулирующий процесс». Мы думаем, что жизнь доказала противоположное, и залог победы Форда заключается именно в его стандаризации и типизации. Если же т. Михалевский подразумевает всеобщую стандартизацию, то о ней вообще ничего не сказано в данном разделе (стр. 143).

Акционерные общества также были бы более уместны в отделе финансового капитала, чем в разделе кредита. Они лучше бы там гармонировали с общим значением банков, с проблемой монополии, так как новая роль банков без них значительно затушевывается (см. стр. 349). Неизвестно, почему выпала система дочерних обществ, которая играет немаловажную роль в организации акционерных обществ и концентрации капитала. Не подчеркнута связь вывоза капиталов с образованием рантье и с загниванием капитализма. Говоря о колониальной политике, т. Михалевский приводит пример убыточности некоторых колоний (стр. 340). Этот единичный пример звучит дисгармонично с общей тенденцией завоевательной политики империализма и кажется нам совершенно излишним. Преломление категорий капиталистического хозяйства в хозяйстве СССР, как и раздел «Экономика переходного времени», весьма ценны. Эти отделы у т. Михалевского, однако, не так детально разработаны, как в предыдущем рецензируемом нами учебнике.

На ряду с вышеуказанными недостатками, мы хотели бы отметить еще некоторые, более мелкие.

Так, на стр. 303, мы находим не совсем удачное описание действия закона стоимости относительно горшечников и бочаров. Имеются некоторые

оплошности и в области сравнений. «Стоимость средств производства, подобно проглоченной ребенком медной пуговице, выходит из процесса производства такой же, как она в него вошла». Или: «Ее (раб. силу.—С. Г.) капиталист тащит на место потребления вместе с продавцом-рабочим совершенно так же, как он в свою детскую тащит купленное для его ребенка женское молоко вместе с продавщицей молока—кормилицей» (стр. 91). То и другое реально, но не совсем художественно.

Нет надобности путем сравнения доказывать то, что и без того понятно учащемуся, как неотделимость рабочей силы от рабочего.

Спору нет, что художественно-образные сравнения облегчают восприятие и содействуют запоминанию. Но что может дать рабочему «образ» «героического пути» проглоченной медной пуговицы?..

Немного странно звучит и следующее: «Захват колоний похож на питье морской воды—чем больше пьешь, тем сильнее мучит жажда». А скажите, т. Михалевский, кто пьет морскую воду?

Задачи, приложенные к каждому отделу, могут оказать известную пользу.

Не лишне было бы обратить внимание и на рисунки. Под многими из них не хватает надписи их содержания. Надписи значительно облегчили бы их понимание не только учащимся, но и преподавателям, а, может быть, пробудили бы и художественный вкус.

Книга тов. Михалевского имеет определенную цель—дать учебник совпартшколе и, как таковая, она вполне соответствует своему назначению.

Книга Э. Я. Брегеля и Р. М. Кабо представляет собою нечто своеобразное. Это, собственно, не учебник, а хрестоматия. «Предлагаемая книжка «Основы полит. экономии», — пишут авторы, — представляет собою хрестоматию, составленную из отрывков и извлечений. Но, в отличие от хрестоматии обычного типа, наша книга дает непрерывное изложение каждой проблемы, так что сможет одновременно служить не только рабочей книгой, но и учебником» (стр. 3; курсив составителей). «Мы полагаем, что она может служить учебной книгой для учащегося, начинающего изучать полит. экономию» (стр. 5).

Мы не согласны с заявлением составителей, что одно «непрерывное изложение каждой проблемы» может превратить хрестоматию в учебник. Здесь необходим принципиальный подход к выяснению запросов учебника. Наши основные требования к нему заключаются не в одной непрерывности; он должен обладать сжатостью формулировок, ясностью и краткостью изложения, логической и органической связью отдельных его частей и строгой систематизированностью. А этого ни в коем случае не может дать хрестоматийная мозаика. Мы считаем, что безрезультатны всякие попытки механическим путем соединить то, что органически не соединимо.

И в самом деле. Мы здесь также имеем дело с видимостью и сущностью явлений. Вначале может казаться, что составители обладают всем нужным для превращения хрестоматии в учебник: они прекрасно вооружены как острыми ножницами, так и не менее острым проникающим взором в то, что хорошо изложено у тех и других авторов, составители являются и знатоками своего дела, и кажется, что им ничего не стоит выкроить так, чтобы действительно получилось нечто цельное, систематическое. В сущности, это не так. «Реквизируемые авторы невидимо властвуют над составителями, и для того, чтобы выкроить и систематизировать готовый материал, необходимо часто повторяться, делать излишние выводы, возвращаться назад, словом, лавировать во-всю. А это, в свою очередь, вызывает излишнее обилие материала: этим и об'ясняется чрезмерное разбухание книги Брегеля и Кабо.

Чтобы не быть голословными, мы иллюстрируем правильность нашего взгляда следующими фактами. На стр. 50 мы читаем: «Итак, предметом нашего исследования является сейчас простое товарное хозяйство» (курсив наш.—С. Г.). Запомним. Теперь проверим пути реализации этой проблемы. На стр. 55 мы имеем отрывок из Р. Люксембург, озаглавленный: «Общая характеристика планового и товарного хозяйства». Но со свойственным этому автору размахом, она выходит далеко за пределы простого товарного хозяйства, врываясь в хаос капиталистического хозяйства (стр. 57). В следующем извлечении «Предпосылки обмена» приходится уже вернуться немножко назад. На стр. 65 мы имеем цитату из Дашковского, который также трактует не о простом товарном хозяйстве, а заглядывает в капиталистическое. Кстати, это место представляет собою наилучший образчик мозаики: тов. Дашковский раскачивает цены на капиталистическом рынке, а Маркс подает точку равновесия, и это сочетается у составителей в один гармонический аккорд. А на стр. 66 мы снова возвращаемся к выдержке из Энгельса, рисующей примитивное простое товарное хозяйство. Такая скачкообразность и повторяемость далеко не простая случайность. Они являются органической необходимостью при всякой вивисекции и при желании искусственным путем систематизировать то, что не так легко удается.

Выбранные нами места также не являются случайными. С подобного рода явлениями мы встречаемся по всей книге в целом ряде тем.

Трудно также сказать, насколько экономными были составители в выборе тех или других цитат, так как, к сожалению, при указании мест допущена одна небольшая оплошность: авторы не указывают точно страницы той книги, из которой взята данная цитата.

На основании всего сказанного мы можем рассматривать и расценивать эту книгу не как учебник, а только как хрестоматию. Как таковая она обладает очень многими достоинствами.

К книге приложено введение, в котором авторы дают прекрасное определение как самого предмета, так и общие методологические указания. Они заранее предупреждают учащихся как о роли абстракции при изучении полит. экономии, так и о необходимости разбираться в видимости и сущности явлений (стр. 14—16). Вместе с тем, эта же вводная статья систематизирует и весь дальнейший ход разбора экономических проблем.

Каждый отдел сопровождается вводной статьей, намечающей и раз'ясняющей основные проблемы данной темы. Материал тщательно подобран и, по возможности, хорошо систематизирован, при чем в нем чередуется практика с теорией. Временами даются и весьма полезные исторические справки, заимствованные из экономической жизни как Европы, так и России (см. гл. 4, стр. 120, 130 и 198—204, 262—266).

На ряду с вышеуказанными достоинствами хрестоматия имеет и некоторые дефекты. Не все вводные статьи обладают одинаковыми достоинствами. Например, введение к цене производства весьма слабо, несмотря на то, что это одна из самых сложнейших проблем полит. экономии. Ничего существенного фактически здесь составители не говорят, и учащийся от этой статьи никакой пользы не извлечет (стр. 309—310).

В разделе «Деньги» недостаточно выяснены бумажные и кредитные деньги; при чем из всех банковых операций взята только одна эмиссионная. В целях лучшего уяснения вопроса, составители привели затем отрывок из Трахтенберга о различии между бумажными деньгами и банкнотами. Мы полагаем, что этот прием педагогически неправилен. Выяснение различий допускается лишь тогда, когда учащийся основательно усвоил сам материал, без чего различия не могут быть им основательно поняты. Вообще, нам кажется неправильным дать бумажные и кредитные деньги в разделах, трак-

тующих о простом товарном хозяйстве. Ведь функции банков проявляются лишь в капиталистическом хозяйстве.

Проблемы инфляции, устойчивости и упадка бумажных денег тоже более характерны для капиталистического хозяйства. А отрывочные сведения ничего дать не могут, кроме путаницы.

Такой же прием (выявление различия без предварительного надлежащего раз'яснения) мы встречаем у составителей и в разделе о ренте. Абсолютная рента далеко ещё не выяснена, а составители уже прибегают к отрывку о различии между диференциальной и абсолютной земельной рентой. В этом отделе также не дано отличия ренты от аренды.

На ряду с этим, в хрестоматии имеются и некоторые непонятные места, например: «Таким образом, если, с одной стороны, нашей задачей является понять капиталистическое хозяйство в его особенностях, то, с другой стороны, в ходе самого анализа мы должны выходить из тех положений, которые уже были прежде развиты по отношению к товарному хозяйству, рассматривая, как под влиянием отсутствовавших ранее тенденций усложняется и видоизменяется их действие» (стр. 248).

Трудно понять, как отсутствующая тенденция усложняет какое-нибудь действие.

Составители сопроводили каждый отдел не только вступительными статьями, но и тезисами и вопросами, помещенными в конце каждого отдела. Тезисы имеют и положительные, и отрицательные стороны. Постольку, поскольку они вкратце суммируют материал и облегчают запоминание, они полезны, но, с другой стороны, «смышленный малый» из 2-й ступени легко сообразит, что тезисами можно пользоваться для ответов на вопросы, не читая текста. А это может привести к механическому усвоению тезисов. Чтобы это предупредить, вопросы должны быть так составлены, чтобы тезисы не давали на них прямого ответа. В этом отношении у составителей не все благополучно (см. «Вопросы и тезисы», стр. 83—85, 129—130 и др.).

Общие выводы наши таковы: как хрестоматия, данная книга весьма полезна, но как учебник «Основы» лишены всяких основ, а потому они могут лишь дополнять учебник [1]). К этому нужно прибавить, что хрестоматия невероятно дорога (3 р. 50 коп.) для учащегося. Трудно определить причину такой дороговизны.

* * *

Разобранные нами три книги свидетельствуют о совершающемся в нашей экономической учебно-популярной литературе сдвиге к улучшению методологического подхода и методических приемов. Но в них нет еще четкого и гармонического сочетания этих элементов.

Перед нами встает дальнейшая проблема увязки методологии марксистской полит. экономии с новейшими запросами ее методики.

На ряду с этим, выдвигается необходимость обзора и чисто методологической литературы, а также разбор системы «Капитала» и ее преломление в учебно-популярной литературе. Но это может быть предметом отдельной статьи.

С. Гурвич.

---

[1]) Для большей убедительности рекомендуем читателям сравнить раздел «Цена производства» в учебнике тов. Михалевского (стр. 162—183) с разделом «Регулятор капиталистического хозяйства» (стр. 309—326) разбираемой хрестоматии, а также раздел «Рента» в учебнике тт. Лапидуса и Островитянова (стр. 207—250) с соответствующей разработкой темы в хрестоматии (стр. 349—367). Читатель тогда получит ясное представление о том, что́ цельнее и понятнее для учащихся второй ступени.

Н. ВАНАГ и С. ТОМСИНСКИЙ. Экономическое развитие России. Изд. 3-е, переработанное. Вып. 1-й: Эпоха промышленного капитала. Стр. 366. Цена 3 руб. Выпуск 2-й: Эпоха финансового капитала. Стр. 388. Цена 2 руб. 75 коп.

Хрестоматия тт. Ванага и Томсинского за короткое сравнительно время выходит третьим изданием. Об'ясняется это тем, что рецензируемая работа представляет собой одно из лучших учебных пособий, главным образом в комвузах и совпартшколах (третье издание допущено подсекцией работы со взрослыми научно-политической секции ГУС'а). При отсутствии (по крайней мере до последнего времени) сколько-нибудь удовлетворяющего целям современного преподавания учебника хрестоматия в значительной мере выполняет свое назначение. Но значение хрестоматии гораздо серьезнее и шире, чем служить «суррогатом» учебника, как может показаться с поверхностного взгляда. Особенности преподавания, построенного на лабораторном плане, состоят в развитии самостоятельной работы слушателей. Самостоятельная проработка слушателями учебного материала, это — основа современного преподавания. В свою очередь это выдвигает соответствующие требования и к характеру учебного материала.

Значение и сущность самостоятельной работы учащегося состоит в том, чтобы сознательно овладеть имеющимся по данному вопросу фактическим материалом, критически проработать различные взгляды, сопоставить различные точки зрения и т. д., и на основе всего этого прийти к определенным выводам и обобщениям. А это требует использования разнообразного материала. Хрестоматия и дает такую возможность. Материалы, которые в противном случае пришлось бы искать с большой затратой времени и энергии по разным источникам, хрестоматия дает в собранном виде и более или менее систематизированными. Хрестоматии, составленные по разным принципам, можно свести к двум основным типам: 1) хрестоматии — сборники документов и 2) хрестоматии — сборники статей. Работа Ванага и Томсинского принадлежит скорее к последнему типу хрестоматий и в новом значительно переработанном издании еще в большей мере отвечает задачам преподавания.

Особенности нового издания по сравнению с предыдущим состоят прежде всего в том, что в нем введен отдел о промышленности в пореформенные годы, выброшен отдел о влиянии революции 1905—1907 гг. на сельское хозяйство и отдел о влиянии войны 1914—1917 гг. разбит на два отдела. Затем каждый отдел значительно дополнен статейным материалом, снабжен вводными очерками, а в конце каждого отдела даны ценные статистические таблицы (имевшиеся раньше только в некоторых отделах) и библиография. Наконец, в конце книги (часть вторая) приложен ряд диаграмм и картограммы.

Что касается содержания отделов, то некоторые из них перестроены почти совершенно заново. Так, например, в старом издании отдел «Промышленная депрессия 1906—1909 годов» состоял из одной статьи Меерсона и нескольких таблиц. В новом издании он представлен гораздо богаче: кроме отрывков из статьи Меерсона, здесь имеются отрывки из Туган-Барановского, Гусева, Циперовича, Кафенгауза и т. д.

Кроме статей, как в этом отделе, так и в ряде других приведены некоторые документы, характеризующие отдельные стороны экономической политики царизма и отношение к основным экономическим вопросам данной эпохи буржуазных группировок (таковы письма Коковцева и Вернейля, записка Родзянко, записки военно-промышленных комитетов и т. д.).

Из новых материалов обращают на себя далее внимание статьи, посвященные экономике на окраинах — крестьянская реформа и аграрная политика Столыпина в Польше, Прибалтике и на Кавказе, хотя в этом отношении использовано далеко не все, что было бы полезно в хрестоматии (например, нет материалов о политике по отношению к Сибири).

Таким образом, в хрестоматии мы имеем материалы не только о состоянии промышленности и сельского хозяйства, но и об экономической политике.

Кроме названных выше статей, во второй части дан обзор аграрной политики временного правительства, характеристика аграрной программы к.-д., с.-р-ов, меньшевиков, выдержки из крестьянских наказов. В отделе о разложении капиталистической промышленности подробно изложена политика военно-промышленных комитетов и скрытый конфликт их с царским правительством.

Но поскольку авторы хрестоматии вынуждены были коснуться в ряде пунктов вопросов общеполитического характера, надо бы пойти в этом отношении несколько дальше.

Так, в отделе о крестьянской реформе 1861 г. следовало бы привести материалы, характеризующие крестьянские восстания накануне реформы, а также и отношение к реформе демократических группировок (Чернышевского и др.). В отделе о столыпинской реформе было бы полезно привести материал, который подвойл бы общие итоги революции (приведенных статей Ленина в этом отношении недостаточно).

В методическом отношении большое значение имеют вводные очерки. Хрестоматия представляет собой сборник различного материала. Более или менее систематизированный в пределах «отдела» материал неизбежно остается разрозненным, статьи друг с другом не связаны. Эту связующую, обобщающую функцию и должны выполнить вводные очерки. К сожалению, эти очерки страдают рядом недостатков. Основной из них — краткая скатость, конспективность изложения. До некоторой степени очерки вводят в курс проблемы, дают общее представление о группе вопросов, которым посвящен данный отдел. Очерки следовало бы сделать более подробными, шире развернуть затронутые вопросы и не ограничиваться исключительно экономическим анализом: в хрестоматии по экономике весьма полезно в вводных очерках дать общий анализ соц.-политической обстановки, — тогда было бы выполнено основное методологическое требование — рассматривать явления в их связи и взаимодействии.

Однако, поскольку книга преследует учебные цели, нельзя ограничиться одними вводными очерками, хотя бы и с теми дополнениями, о которых только-что сказано. В таком виде вводный очерк дает некоторую установку, но этим и исчерпывается его значение. Между тем хрестоматия должна представлять собой своего рода рабочую книгу. Для этого в дополнение к очеркам социально-экономического содержания следовало бы дать чисто методические очерки. Именно — пояснения о том, как пользоваться книгой, в какой мере придерживаться при проработке хрестоматийного материала той последовательности, которая дана расположением материала, в каких случаях и какие именно следует сделать отступления и т. д. Кроме того, некоторые материалы нуждаются просто в пояснениях справочного порядка; и не бесполезно было бы, например, снабдить краткими комментариями некоторые из приведенных документов; поскольку не во всех материалах дается одинаковая оценка одних и тех же явлений, следовало бы отметить, какое мнение является более верным; в некоторых материалах приводятся взгляды, не вполне совпадающие с другими авторитетными источниками, на что также следует обратить внимание в пояснительных примечаниях.

Н. ВАНАГ и С. ТОМСИНСКИЙ. Экономическое развитие России. Изд. 3-е, переработанное. Вып. 1-й: Эпоха промышленного капитала. Стр. 366. Цена 3 руб. Выпуск 2-й: Эпоха финансового капитала. Стр. 388. Цена 2 руб. 75 коп.

Хрестоматия тт. Ванага и Томсинского за короткое сравнительно время выходит третьим изданием. Об'ясняется это тем, что рецензируемая работа представляет собой одно из лучших учебных пособий, главным образом в комвузах и совпартшколах (третье издание допущено подсекцией работы со взрослыми научно-политической секции ГУС'а). При отсутствии (по крайней мере до последнего времени) сколько-нибудь удовлетворяющего целям современного преподавания учебника хрестоматия в значительной мере выполняет свое назначение. Но значение хрестоматии гораздо серьезнее и шире, чем служить «суррогатом» учебника, как может показаться с поверхностного взгляда. Особенности преподавания, построенного на лабораторном плане, состоят в развитии самостоятельной работы слушателей. Самостоятельная проработка слушателями учебного материала это — основа современного преподавания. В свою очередь это выдвигает соответствующие требования и к характеру учебного материала.

Значение и сущность самостоятельной работы учащегося состоит в том, чтобы сознательно овладеть имеющимся по данному вопросу фактическим материалом, критически проработать различные взгляды, сопоставить различные точки зрения и т. д., и на основе всего этого прийти к определенным выводам и обобщениям. А это требует использования разнообразного материала. Хрестоматия и дает такую возможность. Материалы, которые в противном случае пришлось бы искать с большой затратой времени и энергии по разным источникам, хрестоматия дает в собранном виде и более или менее систематизированными. Хрестоматии, составленные по разным принципам, можно свести к двум основным типам: 1) хрестоматии — сборники документов и 2) хрестоматии — сборники статей. Работа Ванага и Томсинского принадлежит скорее к последнему типу хрестоматий и в новом значительно переработанном издании еще в большей мере отвечает задачам преподавания.

Особенности нового издания по сравнению с предыдущим состоят прежде всего в том, что в нем введен отдел о промышленности в порефор менные годы, выброшен отдел о влиянии революции 1905—1907 гг. и сельское хозяйство и отдел о влиянии войны 1914—1917 гг. разбит на два отдела. Затем каждый отдел значительно дополнен статейным материалом, снабжен вводными очерками, а в конце каждого отдела даны ценные статистические таблицы (имевшиеся раньше только в некоторых отделах) и библиография. Наконец, в конце книги (часть вторая) приложен ряд диаграмм и картограммы.

Что касается содержания отделов, то некоторые из них перестроены почти совершенно заново. Так, например, в старом издании отдел «Промышленная депрессия 1906—1909 годов» состоял из одной статьи Меерсона и нескольких таблиц. В новом издании он представлен гораздо богаче, кроме отрывков из статьи Меерсона, здесь имеются отрывки из Туган-Барановского, Гусева, Циперовича, Кафенгауза и т. д.

Кроме статей, как в этом отделе, так и в ряде других приведены некоторые документы, характеризующие отдельные стороны экономической политики царизма и отношение к основным экономическим вопросам данной эпохи буржуазных группировок (таковы письма Коковцева и Витте нейля, записка Родзянко, записки военно-промышленных комитетов и т. д.).

Из новых материалов обращают на себя далее внимание статьи, посвященные экономике на окраинах — крестьянская реформа и аграрная

политика Столыпина в Польше, Прибалтике и на Кавказе, хотя в этом отношении использовано далеко не все, что было бы полезно в хрестоматии (например, нет материалов о политике по отношению к Сибири).

Таким образом, в хрестоматии мы имеем материалы не только о состоянии промышленности и сельского хозяйства, но и об экономической политике.

Кроме названных выше статей, во второй части дан обзор аграрной политики временного правительства, характеристика аграрной программы к.-д., с.-р-ов, меньшевиков, выдержки из крестьянских наказов. В отделе о разложении капиталистической промышленности подробно изложена политика военно-промышленных комитетов и скрытый конфликт их с царским правительством.

Но поскольку авторы хрестоматии вынуждены были коснуться в ряде пунктов вопросов общеполитического характера, надо бы пойти в этом отношении несколько дальше.

Так, в отделе о крестьянской реформе 1861 г. следовало бы привести материалы, характеризующие крестьянские восстания накануне реформы, а также и отношение к реформе демократических группировок (Чернышевского и др.). В отделе о столыпинской реформе было бы полезно привести материал, который подводил бы общие итоги революции (приведенных статей Ленина в этом отношении недостаточно).

В методическом отношении большое значение имеют вводные очерки. Хрестоматия представляет собой сборник различного материала. Более или менее систематизированный в пределах «отдела» материал неизбежно остается разрозненным, статьи друг с другом не связаны. Эту связующую, обобщающую функцию и должны выполнить вводные очерки. К сожалению, эти очерки страдают рядом недостатков. Основной из них — краткая сжатость, конспективность изложения. До некоторой степени очерки вводят в курс проблемы, дают общее представление о группе вопросов, которым посвящен данный отдел. Очерки следовало бы сделать более подробными, шире развернуть затронутые вопросы и не ограничиваться исключительно экономическим анализом: в хрестоматии по экономике весьма полезно в вводных очерках дать общий анализ соц.-политической обстановки,— тогда было бы выполнено основное методологическое требование — рассматривать явления в их связи и взаимодействии.

Однако, поскольку книга преследует учебные цели, нельзя ограничиться одними вводными очерками, хотя бы и с теми дополнениями, о которых только-что сказано. В таком виде вводный очерк дает некоторую установку, но этим и исчерпывается его значение. Между тем хрестоматия должна представлять собой своего рода рабочую книгу. Для этого в дополнение к очеркам социально-экономического содержания следовало бы дать чисто методические очерки. Именно — пояснения о том, как пользоваться книгой, в какой мере придерживаться при проработке хрестоматийного материала той последовательности, которая дана расположением материала, в каких случаях и какие именно следует сделать отступления и т. д. Кроме того, некоторые материалы нуждаются просто в пояснениях справочного порядка; и не бесполезно было бы, например, снабдить краткими комментариями некоторые из приведенных документов; поскольку не во всех материалах дается одинаковая оценка одних и тех же явлений, следовало бы отметить, какое мнение является более верным; в некоторых материалах приводятся взгляды, не вполне совпадающие с другими авторитетными источниками, на что также следует обратить внимание в пояснительных примечаниях.

Как некоторую попытку методической проработки материала мож рассматривать разбивку статей на подзаголовки. Дальнейшим в том ж направлении, кроме пояснений, о которых говорилось выше, было бы сост вление вопросников к каждому отделу. Богатство и разнообразие матери в хрестоматии позволяют разработать вопросник таким образом, чтобы не только был схемой, облегчающей усвоению «прочитанного», но служ бы нитью для взвешивания, для продумывания материала, — вопросы долж носить контрольный характер и содействовать углублению самостоятель работы.

С той же стороны необходимо подойти и к библиографическ указаниям: надо дать более подробную оценку приведенной литерату и указания о способе ее использования (кстати, в названиях литерату встречаются технические недочеты, которые затрудняют ее использова нередко отсутствует название издательства, год издания и пр.; указ источник, из которого взят тот или иной отрывок, составители часто обозначают стран и пр., и это затрудняет проверку).

В заключение отметим, что, несмотря на указанные недочеты, хрес матия заслуживает самого широкого распространения. Она может б использована не только в школьном порядке, но и для самообразова хотя в том виде, как она есть, заменить учебник она, понятно, не может.

Изданы обе части удовлетворительно, но цена слишком высока.

А. Р.

Государств. Центральная Б... МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИГООБМЕН... ПАЛАТА

ОПЕЧАТКИ.

Напечатано:	Должно быть:
№ 12 1927 г.,	
Стр. 80 строки 5—7 снизу:	
зарплата, входящая в издержки производства—превращенная	зарплата, входящая в издержки прои ства, — превращенная форма стоимост бочей силы. Издержки производства— вращенная
Стр. 113 строка 3 снизу:	
значит, он допуская мысль	значит, он допускал мысль
Стр. 128 строка 22 сверху:	
принимать за самое	принимать его за самое
Стр. 130 строка 19 снизу:	
методических примерах Вебера	методических приемах Вебера

Ответственный редактор **А. М. Деборин.**

Редакционная коллегия: **А. А. Максимов, М. Н. Покровский, Я. Э. А. К. Тимирязев, А. Я. Троицкий.**